

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XI

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1962

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Вокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов,
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), М. В. Панов, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции), А. С. Чихобава*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

В. В. ВИНОГРАДОВ

О ТЕОРИИ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Вопросы и задачи, относящиеся к лингвистическому исследованию разных типов словесно-художественных структур и к определению специфических признаков художественной или поэтической речи, до сих пор еще остаются неопределенными, во многих отношениях нерасчлененными и недостаточно ясными. Основные понятия, критерии и принципы соответствующего цикла наук не раскрыты и не объяснены. Прежде всего не может считаться точно определенным самое понятие поэтической или художественной речи. В настоящее время едва ли может кого-нибудь удовлетворить такое определение поэтической функции языка, содержащееся в напечатанной на английском и польском языках работе проф. Р. О. Якобсона «Лингвистика и поэтика» и восходящее к теории так называемого русского формализма 20-х годов текущего столетия: «Направленность на сообщение, как таковое, сосредоточение на сообщении ради него самого — это и есть поэтическая функция языка»¹.

Вместе с тем общие философско-эстетические описания и характеристики поэтической речи как средства художественного мышления — в отличие от мышления научного — представляются недостаточно тесно и непосредственно связанными с определением ее конкретных структурно-языковых признаков. С давних пор подчеркивается, что несмотря на единую или однородную направленность художественного и научного мышления как способов познания действительности — в органической взаимосвязи всех форм общественного познания — в характере этих способов наблюдаются резкие функциональные различия. Функция научного мышления — осознание мира через логическое освоение его путем понимания, путем превращения фактов познания в смысловые (логические) категории, понятия, лишенные экспрессивных красок и эмоциональной нагрузки; функция художественного мышления — осознание мира через освоение его путем творческого воссоздания.

В научном мышлении творческая фантазия дает толчок движению мысли, направляя ее, прокладывая ее путь к образованию понятий, выраженных абстрактно, в формулах всеобщности. В художественном мышлении творческая фантазия является мощным двигателем в процессе созидания художественного целого, она ведет к формированию образов и символов — конкретных и вместе с тем многозначных. Естественно, что с этими функциональными различиями научного и художественного (или — в нашем случае: словесно-художественного) мышления связаны разные средства и формы речевого выражения.

Язык науки, будучи орудием создания понятий, формул, раскрывающих законы существования, развития, связей, взаимодействий и соотношений разных предметов, явлений мира и т. д., тяготеет к речевым средствам, лишенным индивидуальной экспрессии, к знакам, обладающим признаками и свойствами всеобщей научно-логической принудительности, системной взаимосвязанности и абстрактной условности. Язык словесного искусства, словесно-художественного творчества пользуется речевыми

¹ R. Jakobson, *Linguistics and poetics*, New York, 1959, стр. 12.

средствами индивидуализированными, экспрессивными, многообразно и творчески организованными, эффективно воздействующими на весь комплекс духовной человеческой восприимчивости сознания, чувства, эмоций и воли.

Однако все эти соображения, очень важные для изучения внутреннего существа и функциональных своеобразий поэтической речи — соотносительно с другими видами речевой деятельности, — еще не раскрывают специфики ее структурных качеств. Наиболее благодарным и наглядным материалом для освещения или объяснения своеобразия поэтической речи чаще всего признается сфера стихового творчества (сюда часто присоединяется орнаментальная или ритмическая проза). Это предубеждение отчасти связано с непосредственной очевидностью резких внешних, а также и внутренних качеств и примет, которые отличают стихотворную и близкую к ней речь от других видов речевой деятельности (эвфония, «звукообразы», ритм, звуковые и смысловые повторы, грамматические и лексико-семантические параллелизмы и контрасты словесных рядов, звуковые и «грамматические фигуры», метр как образ, метрические формы, рифма, многообразие симметрического построения, сложная техника и семантика перераспределения элементов в структуре поэтического слова, особенности синтагматических связей и синтаксического членения и т. п.). В стихотворной речи различия между разными редакциями поэтического произведения, между разными его поэтическими вариантами могут создаваться не столько изменениями его образного, лексико-фразеологического, композиционно-синтаксического состава или строя, сколько изменениями его ритмической структуры. Иллюстрацией может служить стихотворение Тютчева «Silentium». В 1833 г. оно было впервые напечатано в «Молве». Текст «Молвы» сплошь читается в обыкновенном четырехстопном ямбе. Второй редакцией этого стихотворения является перепечатка его в пушкинском «Современнике» 1836 г. Здесь вся пьеса получает иную, более сложную, но очень стройную ритмическую композицию (с измененным метром 4 и 5-й строк первой строфы и строки 5-й в третьей строфе). Центральная строка — «Мысль изреченная есть ложь», падающая как раз на середину пьесы и сгущающая в себе всю ее ритмовую изобразительность, — оказывается заключенной в рамки начальной и конечной строф, построенных по совершенно аналогичным, с точки зрения школьной метрики, неправильным линиям ритмов. «Образная выразительность пьесы в этой второй редакции достигает предельной степени»².

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне,
Безмолвно как звезды в ночи:
Любуйся ими — и молчи.

.....
Лишь жить в себе самом умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушил наружный шум,
Дневные разгонят лучи:
Внимай их пенью и молчи.

В тургеневском издании стихотворений Тютчева в 1854 г. оказались выправленными строки с «неправильным» метром (4-я и 5-я первой строфы и 5-я третьей) и внесено легкое изменение в 4-ю строку третьей строфы, можно думать, вызванное стремлением заменить несколько резкий с

² Д. Благый, Тургенев — редактор Тютчева, сб. «Тургенев и его время», Г. М.—Б. г., 1923, стр. 154.

точки зрения «поэтического» языка глагол *оглушил*. Измененные строки звучат: в первой строфе

Пускай в душевной глубине
И *встают и зайдут* оне,
Как *звезды ясные* в ночи...

и в четвертой

Их *заглушит* наружный шум,
Дневные *ослепят* лучи.

Очень интересные и ценные соображения о ритме как «основной силе, основной энергии стиха» высказаны В. Маяковским в статье «Как делать стихи?». Ритм, писал Маяковский, «основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом»³. «Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: А то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймается? и т. д.), словами, контролируемые высшим тактом, способностями, талантом»⁴.

Ритмообразующие формы и факторы как существенный признак поэтической речи дают себя знать и в прозе. К. Паустовский пишет о словесно-художественном творчестве И. А. Бунина:

«Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен „найти звук“. „Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой“. Что это значит — „найти звук“? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд. „Найти звук“ — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и как музыка. Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка. Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому „Руслану“ кругообразное легкое движение стихов („ворожбу из кругообразных непрестанных движений“):

И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом»⁵.

Несомненно также наличие специфических свойств в структуре и типологии стихового словоупотребления, стихотворных образов. Об этом очень остро писал Л. Толстой. Недаром степень «поэтичности» прозы в отдельные эпохи развития литературы определялась характером звучания стихового «соловьиного голоса» (Державин о Карамзине: «И в прозе глас слышен соловьи»). Структурные свойства стиха, естественно, легче поддаются математической и статистической интерпретации. Однако, само собой разумеется, стих не отделен непроходимой пропастью от прозы, и роды их связей многообразны и многочисленны. Показательно суждение Б. Пастернака о шекспировском стихе в трагедии «Ромео и Джульетта»: «Как все произведения Шекспира, большая часть трагедии написана белым стихом. В этой форме объясняются герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет своим самолюбованием бездонно скромного содержания. Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда пропитывают простота и свежесть прозы»⁶. И далее в заметке «О начале трагического и комического у Шекспира»: «В трагическом и комическом Шекспир видел не только возвышенное и общежитейское, идеальное и реальное. Он смотрел на них, как на нечто подобное мажору и минору в музыке. Располагая материал драмы в желательном порядке, он пользовался сменой поэзии и прозы и их переходами, как музыкальными ладами»⁷.

³ В. В. Маяковский, Полн. собр. соч. в 12 томах, 10, М., 1941, стр. 231

⁴ Там же, стр. 232.

⁵ К. Паустовский, Иван Бунин, [Предисловие к кн.:] И. А. Бунин, Повести. Рассказы. Воспоминания, [М.], 1961, стр. 12.

⁶ Б. Пастернак, Заметки к переводам шекспировских трагедий сб. «Литературная Москва», М., 1956, стр. 798

⁷ Там же, стр. 807.

К. Паустовский писал о слиянии поэзии и прозы в «Жизни Арсеньева» И. Бунина:

«„Жизнь Арсеньева“ — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. И великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской. В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, неразрывно, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское. В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать. Достаточно прочесть несколько строк о матерн, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение. Эти строки нельзя читать без душевного потрясения, без внутренней дрожи. „В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?“»⁸.

Таким образом, области стиха и прозы различны по принципам своей речевой организации, по своей структуре, но они соотносительны. Они взаимосвязаны. Их взаимоотношение и переходные формы мало исследованы. Естественно, что при стремлении объединить их структурно-художественные свойства в общей лингвистической категории поэзии или поэтической речи явилась потребность, наряду с структурными дифференциальными признаками стиха и художественной прозы, выдвинуть их общие существенные словесно-творческие черты. Общие типические качества поэзии, поэтической речи искали в ее образности («художник мыслит образами»). Анализ структуры словесных образов связывался с понятием «внутренней формы» слова, «внутренней формы» литературно-художественного произведения. Но тут, естественно, возникло противоречие между структурными признаками образности слова и «образностью» словесно-художественного произведения в целом вследствие отсутствия дифференцированного определения словесного или поэтического образа. В самом деле, действительность, созданная средствами словесного искусства, и замкнутая в рамки цельного произведения, представляет собой структурное единство. В этом единстве обладает образной, обобщенно-художественной значимостью не только то, что выражено словом, но и то, что читается между строк, но остается не высказанным. Об этом хорошо сказал Э. Хемингуэй: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды»⁹.

Так в теории образности поэтической речи возникли непреодолимые противоречия. Эти противоречия особенно остро выступили в той концепции, которая стремилась или пыталась отождествить со стороны внутренней структуры поэтическое слово и цельное словесно-художественное произведение. Но в этом случае исчезали из поля зрения и почти не находили себе места проблемы композиции как системы динамического развертывания словесных рядов в сложном словесно-художественном единстве, тесно связанные с ними вопросы синтаксического строения поэтического произведения (вопросы «поэзии грамматики и грамматики поэзии», по выражению проф. Р. О. Jakobsona), вопросы образной функции вспомогательных слов в поэтическом контексте, а также вообще проблемы функциональных различий в семантике поэтического слова в зависимости от контекста целого и даже от контекста более широких сфер близкого или окружающего литературного творчества. Быть может,

⁸ К. Паустовский, указ. соч., стр. 14.

⁹ Р. Орлова, После смерти Хемингуэя, «Новый мир», 1961, 9, стр. 177.

в этой связи особенно выразительными могут быть примеры образной трансформации так называемых вспомогательных или указательных слов, например местоимений.

В «Мелочах архиерейской жизни (Картинки с натуры)» Н. С. Лескова рисуется такая сцена встречи пензенского архиерея Варлаама с англичанином А. Я. Шкоттом.

«Преосвященный все супился и, раздавая всем по рукам благословение, спрашивал каждого: „чей такой?“ или „чья ты?“ и, раздав эти благословения, на низкий поклон и привет матушки ответил:

— Ступай, готовься, — приду.

И затем он вдруг неожиданно обратился к нам, смиренно стоявшим на левом клиросе, и громко крикнул:

— А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старик?

Англичанин мой замотал головою, что у него обыкновенно бывало признаком неудовольствия, и неожиданно для всех ответил:

— А ты чего кричишь, старик?

Архиерей даже покачнулся и вскрикнул:

— Как? *Что* ты такое?

— *А ты что такое?*

Шумливый епископ как будто совсем потерялся и, ткнув по направлению к нам пальцем, крикнул священнику:

— Говори: кто этот грубец? (sic)

— Грубец, да не глупец, — отвечал Шкотт, предупредив ответ растерявшегося священника.

Архиерей покраснел, как рак, и, зацелкав по палке ногтями, уже не проговорил, а прохрипел:

— Сейчас мне доложить, *что это такое?*

Ему доложили, что это А. Я. Шкотт, главноуправляющий имениями графов П(еров)ских.

Архиерей сразу стих и спросил:

— А для чего он в таком уборе? — но, не дождавшись на это никакого ответа, направился прямо на дядю.

Момент был самый решительный, но окончился тем, что архиерей протянул Шкотту руку и сказал:

— Я очень уважаю английскую нацию.

— Благодарю.

— Характерная нация.

— Ничего: хороша, — отвечал Шкотт.

— А что здесь случилось, прошу покорно, пусть остается между нас.

— Пусть остается.

— Теперь же прошу к священнику: откусать вместе моего дорожного чаю.

— Отчего не так? — отвечал дядя, — я люблю чай.

— Значит, обрусел?

— Нет, — значит — чай люблю.

Преосвященный хлопнул дядю по-товарищески по плечу и еще раз воскликнул:

— Ишь, какая характерная нация! Полно злиться!»¹⁰

В этом диалоге очень интересно экспрессивно-образное использование для выражения гнева и презрения к лицу таких местоимений, которые обычно служат для обозначения вещи, — в такой прогрессии:

— Как? *Что ты такое?*

— *А ты что такое?*

« — Сейчас мне доложить, *что это такое?*

Ему доложили, что это А. Я. Шкотт...»

Можно в этой же связи вспомнить образно-характеристическую функцию местоимения среднего рода *оно* в речи капитана Сливы в применении к Ромашову в «Поединке» Куприна:

«Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира.

— В-вся рота идет, к-как один ч-человек — ать! ать! ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь, — *а оно одно*, точно на смех — о! о! —

¹⁰ Н. С. Лесков. Собр. соч., VI, М., 1957, стр. 422—423

как тот козел. — Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх»¹¹.

Если в речи капитана Сливки отражаются специфические народно-украинские тенденции употребления формы местоимения *оно* (*воно*), то иной принцип и иные формы местоименно-образной трансформации категории лица наблюдаются в том же «Поединке» Куприна при изображении избитого, затравленного и приготовившегося к самоубийству солдата Хлебникова (в параллель с Ромашовым):

«Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним.

Вот *оно* перешло через рельсы. Кажется — солдат? — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. — Во всяком случае, это человек. Но так странно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу начала медленно подыматься круглая стриженная голова без шапки...

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны»¹².

Образы Ромашова («оно») и Хлебникова («что-то», «оно») соотнесены не только в семантическом, но и в грамматическом плане. Вместе с тем очевидно, что поэтический образ — будет ли он фонетическим, грамматическим или лексико-семантическим — включает в себя в потенции динамику своего синтаксико-композиционного развития.

Яркой иллюстрацией могут служить формы грамматико-семантического развертывания образа Горя в народной песне «А и горе, горе, горе-ваньице».

Сначала горе изображается как состояние:

А и в горе жить — некручинну быть.

Затем горе олицетворяется, становится субъектом действия в рамках своего грамматического рода:

*А и лыком горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны.*

Дальше оно преобразуется в деятеля мужского рода — пола:

*А я от горя в темны леса —
А горе прежде — век зашел;
А я от горя в почестный пир, —
А горе зашел, впереди сидит...*

Как я наг-то стал, насмехался он.

Таким образом, «образность» поэтической речи, поэтического слова не может быть приравнена к рассматриваемой статически образной структуре словесно-художественного произведения в целом или отождествлена с ней. Между тем именно таким путем, путем отождествления образной структуры поэтического слова и словесно-художественного произведения, пошел, например, А. А. Потебня. Но и он вынужден был признать необходимость наряду с общей наукой о поэзии как особой форме речи и мышления — науки о речи литературно-художественных произведений. Ведь только в таких условиях можно выяснить глубокие качественные различия в структуре разных типов словесных образов. Так, по словам Потебни, «образ, заключенный в басне, по отношению к объясняемому, есть нечто гораздо более простое и ясное, чем это объясняемое...»¹³. Но возможности его

¹¹ А. И. Куприн, Собр. соч., III, М., 1958, стр. 479.

¹² Там же, стр. 484—485.

¹³ А. А. Потебня, Из лекций по теории словесности, Харьков, 1894, стр. 37.

обобщения почти безграничны. «Обобщение частного случая может идти без помехи до высочайших ступеней. Басня отдельно от применения в этом отношении похожа на точку, через которую можно провести бесконечное число линий», — писал А. А. Потебня¹⁴. Любопытно, что в строке басни Потебня увидел тесную связь и прямое соотношение двух частей — поэтической, образной и прозаической, морально-дидактической: «... образ (или ряд действий, образов), рассказанный в басне — это поэзия; а обобщение, которое прилагается к ней баснописцем — это проза»¹⁵.

Само собою разумеется, что структура лирических образов (например, стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье» — см. анализы мой и акад. А. И. Белецкого) или образов лиро-эпических (например, «Кавказского пленника» Пушкина) — совсем иная.

В статье «Поэтика контраста в поэзии Александра Блока» Л. И. Тимофеев характеризует богатство «конкретных словесных, сюжетных, композиционных, интонационных, ритмических форм восприятия и передачи контрастности жизненного процесса» в лирическом творчестве Блока. Он доказывает, что от этого зависит «выразительность, значимость и художественная полновесность образной структуры» произведений Блока в целом. «Все это и позволяет, — по словам Л. И. Тимофеева, — говорить не только о месте и значении контраста в поэзии Блока, но именно о поэтике контраста, т. е. о сложной и разнообразной системе художественных средств, воплощающей это контрастное восприятие поэтом действительности и превращающей его в художественно полновесную поэтическую систему»¹⁶.

Вот некоторые иллюстрации этого поэтического приема:

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

(«Скифы»)

Черный вечер.

Белый снег.

(«Двенадцать»)

Уж он — не голос, только — стон.

(«Жизнь моего приятеля»)

Невозможное было возможно,

Но возможное — было мечтой.

(«Заклятие огнем и мраком»)

Храню я к людям на безлюдьи

Неразделенную любовь.

(«Земное сердце стынет вновь...»)

Он, утверждая, отрицал

И утверждал он, отрицая.

(«Возмездие»)

Не понять Золотого Глагола

Изнуренной железом мечте.

(«О легендах, о сказках, о тайнах»)

Нам казалось: мы кратко блуждали.

Нет, мы прожили долгие жизни...

(«Моей матери»)

Л. И. Тимофеев склонен видеть в этих разных формах и приемах контраста специфическую черту блоковского поэтического стиля, склонного к романтизму. Но — и это, конечно, правильно — вопрос ему же представляется гораздо сложнее. Л. И. Тимофеев пишет: «Горький заметил как-то в одном из своих писем (М. А. Россовскому, сентябрь 1933 года): „Контраст светотени в словесной живописи так же необходим, как и в масля-

¹⁴ Е го же, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 320.

¹⁵ Е го же, Из лекций по теории словесности, стр. 58.

¹⁶ Л. И. Тимофеев, Поэтика контраста в поэзии Александра Блока, «Русская литература», 1961, 2, стр. 99.

ной". Контраст в понимании Горького, таким образом, не прикреплен к определенному направлению в искусстве. И это вполне справедливо. Суть вопроса заключена не в контрасте как таковом, а в самом качестве этого контраста»¹⁷.

Разнообразные формы словесных контрастов составляют сложную систему средств поэтической речи. Здесь могут причудливо сочетаться и переплетаться реалистические и романтические начала искусства. Кроме того, в структуре поэтических контрастов, наряду с лексико-фразеологическими формами, играют огромную роль фонетические и грамматические средства.

Не лишено значения, хотя и очень ограничено в применении, такое наблюдение проф. Р. О. Якобсона, сделанное в докладе «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», прочитанном на Варшавской конференции по поэтике и стилистике: «Поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип построения сочетаний. Симметрическая повторность и контраст грамматических значений становятся здесь художественными приемами» (стр. 6).

В статье «Лингвистика и поэтика» та же мысль выражена несколько иначе: «Поэтическая функция переводит принцип эквивалентности из оси селекции в ось комбинации»¹⁸.

Проблема типологии словесных образов отчасти соприкасается и с вопросом о структурном различии литературных жанров. Теория поэтической или художественной речи в этом случае так или иначе тесно соприкасается и даже связывается с теорией литературы и народного словесного творчества или поэтикой. Так как структурные различия между словесными образами обнаруживаются в зависимости не только от категорий стиха и прозы и не только от жанровой дифференциации форм литературного творчества, но и от семантики того или иного языка, от объема и законов построения его речевых единств, то, естественно, изучение форм, видов и типов образов в художественной речи не может быть целиком оторвано от общей семасиологии и семасиологии соответствующего национального языка. В этой связи нельзя не вспомнить замечание Анатоля Франса: «О, ведь слова — это образы, а словарь — это целый мир в алфавитном порядке»¹⁹. «Что такое образ? Это сравнение. А сравнивать можно все со всем: луну с сыром и разбитое сердце с треснутым горшком. Поэтому образы доставляют почти безграничное количество слов и рифм»²⁰. Однако и это определение поэтического образа не может считаться полным и подходящим для всех типов словесных образов. Исчерпывающего анализа и типологической характеристики разных словесно-образных структур до сих пор не создано. Образ, запечатленный в одном слове или одном предложении, иногда определяет всю композицию литературного произведения, выступая как его художественный синтез или обобщающий символ.

В рассказе Скитальца «Сквозь строй» интересен прием превращения заглавия в индивидуально-художественный образ трагической жизни отца-рассказчика:

«Солдатская служба была такая, что волосы дыбом становятся, как вспомнишь! Я бы непременно в белгие попал, а белгих тогда „сквозь строй“ прогоняли: поставят роту солдат в два ряда, каждому палку дадут, а беглому руки к ружью привяжут и за ружье ведут, и бьют его с двух сторон в голую спину палкой изо всей силы, так что, когда до тебя, бывало, дойдет очередь бить, то уж не по спине бьешь, а по кровавой говядине, говядина-то клочьями висит, а в ней от палок запозы. Упадет он — его водой отольют, поднимут и опять дальше сквозь строй ведут! Случалось, что так и не дойдет до конца: помрет под палками. Тихо-то ударить нельзя: сзади строя ундера идут и мел-

¹⁷ Там же, стр. 105—106.

¹⁸ R. O. J a k o b s o n, Linguistics and poetics, стр. 15.

¹⁹ А. Ф р а н с, Слова, Полн. собр. соч., XX — Литература и жизнь, М.—Л., 1934, стр. 361—362.

²⁰ «Беседы А. Франса, собранные П. Гзеллем», Пг.—М., 1923, стр. 119.

ком на спине крестик ставят тем, которые не изо всей мочи ударили. Кончится „сквозь строй“, тут начнут этих „меченых“ пороть: только и слышно кругом „ува! ува!“ — как младенцы, под розгами визжат!..

Я слушал эти рассказы, и сердце мое замирало от жалости и ужаса. И вся жизнь моего отца представлялась мне таким длинным-длинным „сквозь строем“ из розог, плетей, палок, дубин, горьких обид, нескончаемых несчастий, несправедливых унижений и попираний человека!.. И какого человека. Даровитого, талантливого, умного...»²¹

Выражение «сквозь строй» превращается в процессе формирования обобщенного образа в единое сложное имя существительное: кончится «сквозь строй», а далее от него образуются формы склонения: «жизнь моего отца представляется мне таким длинным-длинным „сквозь строем“ из розог, плетей» и т. п.

Если в соответствии с «Логикой» Гегеля рассматривать форму как «закон» предмета или, вернее, как закон его строения, то не может не возникнуть вопроса о формах образов и законах их внутреннего развития. Об этом не раз свидетельствовали художники слова. В. Г. Короленко говорил, что если «художественная идея» нашла свой образ, то этот художественный образ-идея «движется дальше по собственным законам», «обладая чем-то вроде собственной органической жизни»²². Л. Толстой, когда его упрекали в трагическом развитии образа Анны Карениной, ответил так: «Это мнение напоминает мне случай, бывший с Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: „Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она — замуж вышла! Этого я никак не ожидал от нее“. То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется»²³.

Структура образа персонажа основана на сложных приемах сказовой или диалогической речевой характеристики, на разнообразных способах и формах связей и отношений речи этого персонажа со стилем автора и с речами других персонажей, на динамике смысловых превращений и изменений текста и контекста, а также ситуаций действия в литературном произведении, в его композиционном развитии, в развертывании его сюжета.

Структура разных форм и типов поэтических образов зависит и от индивидуальной специфики строя речи. В. Сомерсет Моэм писал: «Я поставил себе недостижимую цель — вовсе не употреблять прилагательных. Мне казалось, что, если найти правильное слово, можно обойтись без эпитета. Книга моя представлялась мне в виде длинной телеграммы, в которой экономии ради опущены все слова, не абсолютно необходимые для передачи смысла»²⁴. Ср. также заявление этого писателя: «Диалог должен быть чем-то вроде устной стенографии. Нужно сокращать и сокращать, пока не будет достигнута максимальная концентрация»²⁵.

Как только теория поэтического образа доходит до проблемы законов сочетаемости образов, распространения образов, соединения простых образов в сложные, до вопросов о структуре и разновидностях сложных образов, то возникает вопрос о приемах и принципах строения образной ткани художественной речи. В интересной книге Э. Паперного «Поэтический образ у Маяковского»²⁶ выдвинут вопрос о разных типах или

²¹ С к и т а л е ц, Избр. произведения, М., 1955, стр. 112.¹

²² В. Г. Короленко, Трагедия великого юмориста, Собр. соч., 8, М., 1955, стр. 176.

²³ Г. А. Русанов, Поездка в Ясную Поляну, сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», 1, 2-е изд., [М.], 1960, стр. 296.

²⁴ В. Сомерсет Моэм, Подводя итоги, М., 1957, стр. 32.

²⁵ Там же, стр. 99.

²⁶ Э. Паперный, Поэтический образ у Маяковского, М., 1961, стр. 13

видах связей образов в художественной речи. С одной стороны, иногда образы эти «цепью связываются» между собой. Ср. у Лермонтова:

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой...²⁷
(«Русская мелодия»)

С другой стороны, возможны такие виды и формы соотношений образов, когда они беспорядочно «толпятся». Как писал Вадим Шершеневич в своем манифесте имажинизма, из этой толпы образов «без ущерба может быть вынут один образ или вставлено еще десять»²⁸. В этом случае нет ни подчинения, ни соподчинения образов. Не следует думать, что эти два типа связей и соотношений образов особенно типичны. В действительности законы сцеплений, связей и соотношений образов в поэтической речи очень сложны и разнородны. Поэтический образ может по-разному формироваться звуковыми комбинациями, сопоставлениями и противопоставлениями, ритмико-мелодическими способами, словообразовательными смещениями и новыми морфологическими делениями, всем разнообразием грамматических и словесно-семантических средств речи. Вместе с тем образ структурно входит в систему соотношений, составляющих единство целого.

Актер А. А. Нильский рассказывал о сценической речи М. С. Щепкина.

Щепкин на репетиции «вдруг прерывает одного из них [актеров] и говорит: — Я ведь не понимаю, как ты играть будешь. Ты, пожалуйста, дай мне ногу.

Актер недоумевающе всматривается в Михаила Семеновича и робко спрашивает: — Ноту? Какую ноту? Для чего?

— Как для чего? Для аккорда.

В простом разговорном языке, во время сценического действия, Щепкин желал достигнуть музыкальной прелести ансамбля»²⁹.

Понять и раскрыть «рассеянное единство» образов в структуре художественного целого возможно лишь на основе исследования законов художественной композиции. Но в этом случае приходится выходить далеко за пределы того понимания словесных образов, которое развивалось В. Гумбольдтом, А. Потебней, К. Фосслером, Л. Шпитцером и многими другими лингвистами и филологами, а также разными школами символистской эстетики слова.

Ю. Н. Тынянов писал в предисловии к своей книге «Проблема стихотворного языка»: «Самым значущим вопросом в области изучения поэтического стиля является вопрос о значении и смысле поэтического слова. А. А. Потебня надолго определил пути разработки этого вопроса теорией образа. Кризис этой теории вызван отсутствием разграничения, спецификации образа. Если образом в одинаковой мере являлись и повседневное разговорное выражение и целая глава „Евгения Онегина“, — возникает вопрос: в чем же специфичность последнего? И этот вопрос заменяет и отодвигает вопросы, выдвигаемые теорией образа»³⁰. Так вопросы структуры поэтической речи (в сфере как стиха, так и прозы), законов ее звукового (в том числе и метрического, ритмического, интонационно-мелодического), грамматического и семантического построения оттеснили теорию образа.

Впрочем к этой же цели вел и абстракционизм. Следует различать абстрактную (т. е. отвлеченную) манеру представления или воспроизведения образа и абстракционизм. О современных художниках абстракцио-

²⁷ М. Ю. Лермонтов, Соч., I, М.—Л., 1954, стр. 34.

²⁸ В. Шершеневич, $2 \times 2 = 5$. Листы имажиниста, М., 1920, стр. 15.

²⁹ А. А. Нильский, Закулисная хроника, 2-е изд., СПб., 1900, стр. 294.

³⁰ Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Л., 1924, стр. 6.

низма хорошо сказал Л. М. Леонов: «Искусство должно реализовать закрома людской памяти, чтобы идти вровень с душевным опытом. Интенсивность ощущений и загрузка людской памяти настолько повысились, что старыми средствами их трудно и даже невозможно выразить. Квадратный сантиметр полезной площади прежнего искусства не выдерживает давления величайших событий нашего века. В замешательстве перед этим обстоятельством некоторые художники прибегают к абстракционизму — они пытаются идти в обход задачи, вместо образа вывести логарифм. Они думают, что при помощи условных знаков, не имеющих исторической преемственности, не имеющих хотя бы относительной привычности в глазах потребителя, они могут передать общее настроение, которое удовлетворит зрительские и читательские требования. Ночью, в тумане каждый видит свое. При конкретности образа каждый видит то, что дает ему художник. В абстрактном искусстве каждый лишь угадывает что-то в каше ощущений...

...Настоящее искусство, создающее образ, — попадание в мишень, а абстрактное искусство, отказывающееся от образа, бьет мимо мишени»⁸¹.

Естественно, что в абстракционистском словесном искусстве, в литературно-художественных течениях абстракционизма и связанных с ними концепциях поэтической речи центр тяжести в сфере изучения поэзии переносится на геометрические каноны «грамматических фигур», определяющих структуру модернистской литературной продукции. В этом отношении представляют большой интерес декларации проф. Р. О. Якобсона в его докладе «Поэзия грамматики и грамматика поэзии»: «По словам В. Вересаева, ему иногда казалось, что „образ — только суррогат настоящей поэзии“. Так называемая „безобразная поэзия“ или „поэзия мысли“ широко применяет „грамматическую фигуру“ взамен подаваемого тропа. И боевой хорал гуситов и у Пушкина „Я вас любил“ — наглядные образчики монополии грамматических приемов, тогда как примером сложного соучастия обеих стихий могут послужить... особенно насыщенные тропами стансы (Пушкина) „Что в имени тебе моем“, контрастирующие в этом отношении со стихами „Я вас любил“, хотя оба послания были написаны в том же году и, по-видимому, оба были одинаково посвящены Каролине Собаньской.

Принудительный характер грамматических значений заставляет поэта считаться с ними: он либо стремится к симметрии и придерживается этих простых, повторных, четких схем, построенных на бинарном принципе, либо он отталкивается от них в поисках „органического хаоса“. Если мы говорим, что у поэта принцип рифмовки либо грамматичен, либо антиграмматичен, но никогда не аграмматичен, то это положение может быть распространено и на общий подход поэта к грамматике. Здесь наблюдается глубокая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной композицией, базирующейся на явном или скрытом геометрическом порядке или на отпоре против геометричности. Если в принципах геометрии таится „прекрасная необходимость“ для живописи и прочих изобразительных искусств, согласно убедительным выкладкам искусствоведов, то схожую „обязательность“ для словесной деятельности лингвисты находят в грамматических значениях. Сравнение между обеими сферами завоевывает себе место в опыте синтеза, написанном в 1941 г., незадолго до смерти, проникновенным языковедом В. Л. Уорфом: противопоставив общие абстрактные „схемы структуры предложений“ индивидуальным предложениям и словарю как „несколько рудиментарной и несамостоятельной части“ языкового строя, он выдвигает идею „геометрии формальных принципов, лежащих в основе каждого языка“. — Подобное сравнение, но в более развернутой и настойчивой форме дано было Сталиным в его замечаниях 1950 г. об отвлеченном характере грамматики: „Отличитель-

⁸¹ Е. Старикова, Леонид Леонов о писательском труде, «Знамя», 1961, 4, стр. 177—178.

ная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетаний слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы... В этом отношении грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишенные всякой конкретности". — Абстрагирующая работа человеческого мышления, лежащая, с точки зрения обоих цитируемых авторов, в основе геометрии и грамматики, налагает простые геометрические и грамматические фигуры поверх живописного мира частных предметов и поверх конкретной лексической „утвари" словесного искусства» (стр. 8—9). Следовательно, борьба с реалистическими принципами искусства и с теорией образности поэтической речи, диалектического единства формы и содержания приводит к учению о примате „геометрических и грамматических фигур" в искусстве.

Неизбежно по контрасту складывается другая теория поэтической образности и другое, более сложное и глубокое ее понимание. Согласно этой теории, поэтическая образность состоит не в тропах и фигурах, а в самом внутреннем существе поэтической речи как своеобразной системы воплощения воображаемого или эстетически отражаемого мира и в функциональной специфике ее структуры. Поэтическая функция языка опирается на коммуникативную, исходит из нее, но воздвигает над ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений.

Некогда Леонардо да Винчи говорил о науке поэзии (или художественной литературы): «Разве ты не видишь, что в твоей науке нет пропорциональности, созданной в мгновение; наоборот, одна часть родится от другой последовательно, и последующая не рождается, если предыдущая не умирает?»³². Между тем «в картине живописца прекраснейшие части, собранные одновременно все вместе, доставляют ни с чем не сравнимое наслаждение своей божественной пропорцией»³³. Но проблема, несомненно, сложнее, и во многом прав советский поэт М. Светлов, который сказал: «Смешно говорить, что стихотворение пишется с начала; можно ли сказать, что ребенок начинает создаваться с головы? Стихотворение создается сразу все»³⁴.

Еще выразительнее и настойчивее говорил о связи любого элемента художественного произведения, протекающего во времени и развертывающегося «сукцессивно», великий русский артист М. А. Чехов в своей книге «Путь актера»: «Когда мне предстояло сыграть какую-нибудь роль или, как это бывало в детстве, выкинуть какую-нибудь более или менее эффектную шутку, меня властно охватывало это чувство *п р е д с т о я щ е г о ц е л о г о*, и в полном *д о в е р и и* к нему, без малейших колебаний, начинал я выполнять то, что занимало в это время мое внимание. Из *ц е л о г о* сами собой возникали детали и объективно представляли передо мной. Я никогда не выдумывал деталей и всегда был только наблюдателем по отношению к тому, что выявлялось само-собой из *о щ у*

³² Леонардо да Винчи, Избранное, М., 1952, стр. 48.

³³ См. там же, стр. 49.

³⁴ См. Ю. Либединский, Как я работал над «Неделями», «Литературная учеба», 1930, 2, стр. 111.

щения целого. Это будущее целое, из которого рождались все частности и детали, не иссякало и не угасало, как бы долго ни протекал процесс выявления. Я не могу сравнить его ни с чем, кроме зерна растения, зерна, в котором чудесным образом содержится все будущее растение»³⁵.

Вместе с тем у нас есть множество свидетельств, говорящих о тех приращениях и преобразованиях смысла, которые приобретают слова и цепи слов в поэтическом контексте. Поэт Н. С. Тихонов писал о лирике: «Как обходится дело с лирическим стихом, где слова далеко могут выходить за обычный бытовой смысл, выражая многозначительные вещи? Лирический порядок движет чистые горы эмоциональности, где могут витать образы громадного объема, самые простые слова могут стать богатырями смысловых дружин!»³⁶.

В рассказе Чехова «Гриша» так рисуется образная картина мира в представлении мальчика, которому всего два года и восемь месяцев:

«До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом — нянькин сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красивые кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа — личность в высшей степени загадочная. Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...»³⁷

То, что в теории поэтического языка, развивавшейся у нас в конце 10-х и в 20-х годах этого столетия, называлось «остраннением», — это всего лишь одна из многочисленных разновидностей словесной образности поэтической речи. На фоне этих рассуждений приобретает особенную силу неоднократно высказывавшееся разными поэтами и учеными — филологами, лингвистами (у нас, например, проф. А. М. Пешковским, проф. Г. О. Винокуром) положение об общей образности словесно-художественного текста или поэтической речи. Существо поэтической речи определяется не количеством и даже не качеством метафор, сравнений и других видов тропов, а общей направленностью на словесное эмоционально-образное выражение и воспроизведение действительности в свете тех или иных эстетических задач и требований. При таком подходе к поэтической речи — в связи с коренными изменениями в самом понимании поэтического образа — поэтическая речь прежде всего и характеризуется как речь образная. Об этом хорошо и просто сказал проф. Г. О. Винокур: «Художественное слово образно вовсе не в том только отношении, будто оно непременно метафорично. Сколько угодно можно привести неметафорических поэтических слов, выражений и даже целых произведений. Но действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле»³⁸. Само собой разумеется, что нельзя оставлять в стороне и без рассмотрения специфические структурные признаки и свойства поэтической речи (фонетические, грамматические, композиционно-синтаксические, ритмико-мелодические и др. под.), создающие ее образность или содействующие ей.

³⁵ М. И. Х. Чехов, *Путь актера*, Л., 1928, стр. 31.

³⁶ Н. Тихонов, *Как я работаю*, «Литературная учеба», 1930, 5, стр. 101.

³⁷ А. П. Чехов, *Собр. соч.*, М.—Л., 1961, 4, стр. 107—108.

³⁸ Г. О. Винокур, *Избр. работы по русскому языку*, М., 1959, стр. 390. Ср. также: В. Виноградов, *К спорам о слове и образе*, «Вопросы литературы», 1960, 5, стр. 89—94.

Кроме того, если «поэзия», «поэтическая речь» понимается не в духе и смысле В. Гумбольдта, А. Потебни, Б. Кроче, К. Фосслера и др., а рассматривается лишь как специфическая функция языка или как особая разновидность речи — с присущими ей функциями и качествами, то было бы странно видеть во всякой метафоре (хотя бы и не «стершейся», не превратившейся в речевое клише или шаблон) признак «поэтичности», эмоциональный ореол поэтической речи. Представляют большой интерес наблюдения над метафорой проф. Т. Виану³⁹. В трудах проф. Т. Виану поэтическая метафора характеризуется как глубокая и бесконечная, т. е. неограниченная, семантическая структура с разными пластами значений или смысловыми оболочками. Диффузная и безграничная глубина поэтической метафоры приводит к тому, что ее использование не может быть исчерпано подстановкой какого-нибудь другого выражения (по принципу «идентификации»). Скрытая, затаенная основа поэтической метафоры является диффузной, распыленной и переменчивой. Одна и та же метафора получает разные смыслы в зависимости от контекста.

Так, в стихотворении С. Есенина «Колокольчик хохочет до слез» метафорический образ колокольчика на шее лошади, колокольчика, хохочущего до слез, появляется вначале как выражение быстрой, сумасшедшей езды по степи:

В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Та же метафора в конце стихотворения выражает жестокий, иронический хохот судьбы над протекавшими событиями человеческой жизни:

Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

При подлинно структурном подходе к поэтической речи, в центре науки о ней, — рядом с описанием и определением поэтических функций метафор и других тропов, разных типов и видов словесных образов, — становятся вопросы динамического развертывания художественно-речевой ткани, вопросы ее эфонического и вообще фонического строения и построения, вопросы ее ритмико-мелодического движения, ее синтаксического и синтагматического развития, вопросы соотношения, параллелизма, повторяемости и контрастов элементов поэтической речи и ее крупных композиционных единств или единиц, вопросы связей, взаимодействий и противопоставлений образов, их грамматического оформления, эквивалентности разноструктурных речевых единств в разных типах поэтической речи и т. д.

Наука о поэтической речи легко может обойтись без понятия стиля⁴⁰. Теория поэтической речи и стилистика имеют — каждая — свои объекты исследования, свои методы и пользуются разными понятиями и категориями, хотя и могут вступать в некоторую связь и в состояние взаимопомощи. Вопрос о соотношениях теории (и истории) поэтической речи и теории (и истории) стилей литературы — задача, нуждающаяся в специальном разностороннем исследовании и освещении. При разрешении этого вопроса нельзя отстранять также вопрос о связях и соотношениях стилистики художественной литературы со стилистикой языка и стилистикой речи.

*

Вместе с тем едва ли целесообразно учение о поэтической функции языка сливать, смешивать и отождествлять с поэтикой, как это было принято у нас в 20—30-е годы текущего столетия и как после этого привилось в зарубежной науке. Дело в том, что поэтика как наука о формах, видах, средствах и способах словесно-художественного творчества,

³⁹ См. Т. В и а н у, Вопросы метафоры и другие заметки по стилистике, Бухарест, 1957, а также прочитанный в 1959 г. в Варшаве доклад «К вопросу о поэтической метафоре».

⁴⁰ См., например, различия и противоречия во взглядах на стиль у разных авторов в кн.: «Style in language» ed. by Th. A. Sebeok, New York — London, 1960.

о структурных типах и жанрах литературных сочинений стремится охватить не только явления поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений литературы и устной народной словесности. Вопросы о мотивах (ср. исследования типа «Мотив и слово» Г. Шпербера и Л. Шпитцера и т. п.) и сюжетах, о разных приемах и принципах развертывания или развития сюжета, о художественном времени как категории построения и движения действий в литературном произведении, о законах сюжетологии, о композиции как системе сочетания, взаимодействия, движения и объединения речевого, функционально-стилистического и идейно-тематического планов словесно-художественного произведения, вопросы о средствах и приемах речевой характеристики персонажей в разных жанрах литературы, о жанровых и структурных различиях в соотношениях и связях монологической и диалогической речи, о влиянии идейного замысла и тематического плана произведения на его стилистически-речевой строй и многие другие проблемы словесно-поэтического творчества выйдут далеко за границы учения о поэтической или художественной функции языка или науки о поэтической речи.

Представляется особенно наглядным и ясным, что изучение речевого строя художественной прозы — структуры новеллы, повести, романа, хроники и т. п. — никак не может быть исчерпано категориями и понятиями науки о поэтической речи. Впрочем сложные синтезирующие тенденции характерны и для стиха (ср., например, стихотворные рассуждения Ломоносова, публицистический стиховой стиль Некрасова и т. п.). Дело в том, что речь прозаических литературных произведений (в качестве примера можно взять хотя бы творчество Бальзака, Стендаля, Достоевского, Л. Толстого, Горького и многих других художников слова, не говоря уже о таких, как Герцен, Салтыков-Щедрин и т. п.) по-своему, но непосредственно и остро синтезирует и поэтические, и риторические, т. е. агитационно убеждающие, и публицистические, и деловые, научно-теоретические и иные функции. Поэтому истолковать и понять, например, «Бесы» Достоевского, «Войну и мир» и «Воскресение» Л. Толстого, «Былое и думы» Герцена и т. д. в аспекте выразительных средств и категорий поэтической речи невозможно. Так как это синтезирование и в количественном и качественном отношении, не говоря уже о различиях самого речевого материала, приводило в разных случаях и в разные эпохи к разным результатам, поэтика в силу этого — наука не только теоретическая, но и историческая. Она не может не быть исторической уже потому, что она имеет дело с продуктами речевой человеческой деятельности, а все продукты творческой деятельности человека — историчны по самой своей природе. Теория поэтической речи также исторична, но только в том аспекте, в каком историчен сам язык. Исключить весь этот сложный и пестрый по своему составу круг проблем из теории построения словесно-художественных произведений, из поэтики литературного творчества не только не целесообразно, но и логически ни с чем не соотносимо.

Итак, необходимо и различать, и строить самостоятельно на основе точно разграниченных и определенных объектов исследования и свойственных им методов анализа и обобщения соответствующих явлений две научные дисциплины: 1) теорию и историю поэтической речи и 2) теоретическую и историческую поэтику. Между ними тесная связь и глубокое взаимоотношение. Однако поэтика, отпавляясь от теории поэтической речи и отчасти базируясь на ней, не может ограничиться приемами и принципами лингвистического анализа, не может замкнуться в категориях и формах, относящихся к языку и речи в разных их функциях. Она обогащается понятиями и обобщениями искусствоведения и теории литературы. Само собой разумеется, что этот очень сложный и полный глубокого познавательного значения комплекс проблем нуждается в особом рассмотрении и исследовании.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. ГАРИБЯН

ЕЩЕ РАЗ ОБ АРМЯНСКОМ КОНСОНАНТИЗМЕ *

Диалекты армянского языка в отношении консонантизма обладают поразительной особенностью: системы смычных в этих диалектах, как правильно подчеркнул французский ученый Ж. Фурке¹, противопоставляются друг другу наподобие этих систем в самостоятельных языках (например, кельтских, индо-арийских, германских и др.). Эта особенность заставила нас попытаться классифицировать их на основе системы смычных, опираясь, с одной стороны, на данные армянской диалектологии, а с другой — на наши собственные наблюдения, которые подтвердили и дополнили эти качества армянских диалектов².

Выяснилось, что первое полное передвижение индоевропейских смычных в армянском языке, о котором сложилось традиционное представление в науке, не исчерпывает большого многообразия консонантных систем армянских диалектов; в связи с этим в своей статье «Об армянском консонантизме»³ мы попытались дать объективное освещение всего многообразия звуковых особенностей армянских диалектов. При этом мы стремились показать не обособленные моменты отражения индоевропейских смычных в армянском языке, а системный характер образования консонантных групп армянских диалектов. С этой целью не были приняты во внимание позиционные изменения взрывных внутри слова⁴ и армянская палатализация, которой мы занимались особо⁵, но которая не противоречит системному характеру армянского отражения индоевропейских взрывных согласных. Мы рассматриваем смычные лишь в начале слова, так как, по нашему убеждению, в этой позиции они исторически были менее подвержены посторонним или ассимилятивным влияниям и представляют самое древнее состояние системы взрывных согласных армянского языка и его диалектов.

В этой связи мы даже не оговорились относительно перехода и.-е. *p* в арм. *h* через *ph* (как это мы делали в предыдущих статьях⁶), так как этот факт не противоречит общей закономерности, а подтверждает ее.

Мы не говорили и не считали нужным говорить о том, что древнеармянский язык, армянские диалекты и два варианта современного армянско-

* От редакции. Редакция предоставляет еще раз слово А. С. Гарибяну как инициатору дискуссии по армянскому консонантизму (ВЯ, 1959, 5). В одном из последующих номеров будет опубликована статья, подводящая итоги этой дискуссии.

¹ См. Ж а н Ф у р к е, Генезис системы согласных в армянском языке, ВЯ, 1959, 6.

² А. Г а р и б я н, К вопросу о классификации армянских наречий, «Научн. труды [Ереванск. гос. ун-та]», XIX, 1941.

³ ВЯ, 1959, 5.

⁴ Во второй группе мы рассматривали положение чистых звонких и внутри слова, так как это явление также носит системный характер и присуще лишь этой группе. Однако мы считаем, что этим нарушается наш принцип классификации, поэтому мы и исключаем этот ряд, внося эту поправку в нашу классификацию.

⁵ См. А. С. Г а р и б я н, Из сравнительной фонетики армянского и славянских языков. «Уч. зап. [Ереванск. гос. русск. пед. ин-та им. А. А. Жданова]», V, 1955.

⁶ А. Г а р и б я н, Индоевропейский консонантизм в отражении армянских диалектов, ИАН Арм. ССР. Общественные науки, 1956, 2.

го литературного языка объединены значительным количеством общих закономерностей, в том числе и фонетических изменений. Мы считаем нужным говорить об этом, так как на этом зиждется наше понятие об армянском языке как об едином и общем, проявляющемся в различных конкретных вариантах, диалектах. Мы берем только то, что отличает один вариант от другого, и, если эти закономерности носят системный характер, на их основе производим классификацию указанных вариантов. Общеизвестно, что индоевропейский чистый глухой p в начале слова отражается в армянском языке через h (в середине слова — через w) или через p (если ему предшествует s , который не выпадает), а в конце слова после r — через ph (ср. и.-е. * trp > арм. $tharph$).

Но если начальный s , предшествующий и.-е. p , выпадает, то и.-е. p переходит в ph в армянском языке. Например: и.-е. * $(s)pino$ > арм. $phin$ ⁷ «человеческие внутренности, нечистоты»; и.-е. * $speut$ > арм. $phoyth$ «забота». Таким же образом и в индоевропейском сочетании st при сохранении s и.-е. t сохраняется (и.-е. * $stel$ > арм. $stel-n$), а при выпадении s тот же t переходит в th [и.-е. * $(s)tob$ > арм. $thop-él$], что подтверждает аналогичное правило об и.-е. p .

Эти два правила подтверждают и наше понимание перехода индоевропейского сочетания sk^1 в арм. $ç$ (глухую придыхательную свистящую аффрикату, которую правильно было бы передать через чистую глухую свистящую аффрикату s плюс h — ch). В сочетании sk^1 , когда выпадает s , k^1 переходит в палатальную аффрикату $ç$ (глухую придыхательную свистящую аффрикату ch). Например:

и.-е. * sk^1el	> арм. $çel/çel$	«род»
и.-е. * sk^1ulu	> арм. $çowl$	«бычок» и т. д., при
и.-е. * k^1yino	> арм. $çin$	«ястреб»

Переход k^1 в арм. s , по нашему мнению, произошел через $ç$ ($k^1 > ç > s$) аналогично $p > ph > h$. Все эти закономерности возникли и завершились в глубочайшей древности и едины во всех диалектах и в древнеармянском языке. То же самое относится и к и.-е. t в середине слова перед и.-е. e ; в этих случаях и.-е. t переходит в арм. y во всех вариантах армянского языка. Но наряду со всем этим известны и другие закономерности: в начале слова и.-е. t переходит в арм. th , и.-е. k^2 переходит в арм. kh . Если подытожить вышесказанное, то получим систему:

и.-е. p	> арм. ph ;	и.-е. k^1	> арм. ch ($ç$);
и.-е. t	> арм. th ;	и.-е. k^2	> арм. kh

Таким образом, налицо закономерный переход чистых глухих в глухие придыхательные или аспирация индоевропейских чистых глухих.

Наши оппоненты (Э. Б. Агаян, Г. Джаукян, Л. Заброцкий)⁸, указывая на то, что в первой статье мы не нашли нужным при фонологической классификации армянских диалектов затронуть ряд вопросов давно известных частных изменений индоевропейской фонетики в армянском языке, попытались поставить под сомнение правильность самой классификации, отраженной в таблице консонантных групп армянского языка и его диалектов⁹. Как видно из сказанного, мы имели на это право, когда вопрос касался фонологической системы смычных армянских диалектов. Что же касается вопроса позиционных изменений, которым мы пренебрегли, то тут приходится отметить, что наши оппоненты слишком преувеличивают эту сторону вопроса.

⁷ Здесь и дальше примеры приведены из «Этимологического коренного словаря» Р. А. Ачаряна, I—VII, Ереван, 1926—1932 [на арм. яз.].

⁸ См.: Э. Б. Агаян, О генезисе армянского консонантизма, ВЯ, 1960, 4; Г. Б. Джаукян, К вопросу о происхождении консонантизма армянских диалектов, ВЯ, 1960, 6; Л. Заброцкий, Замечания о развитии армянского консонантизма, ВЯ, 1961, 5.

⁹ См. А. С. Гарибян, указ. соч.

Арменистам, близко знающим армянские диалекты, должно быть известно, что все армянские диалекты либо всюду сохраняют качество смычных в ненадлежащей позиции, либо меняют его одинаково и в одном направлении. Так, например, вместо чистых звонких древнеармянского языка, соотносительных с индоевропейскими звонкими придыхательными, во всех диалектах в ненадлежащей позиции имеем глухие придыхательные [и.-е. *bh dh g^h g^{2h}*: др.-арм. *b d g j ĵ*: арм. диал. в ненадлежащей позиции *ph th kh ç (ch) ċ (ċh)*]. Исключение составляют лишь агулисский и мегринский диалекты, где в ряде случаев сохраняется звонкость. В отношении чистых глухих, соотносительных с индоевропейскими чистыми звонкими, исключение составляют также некоторые диалекты II группы (Мущ, Карин), сохраняющие звонкость в ненадлежащей позиции. Все остальные позиционные изменения почти одинаковы во всех диалектах.

Как видим, при фонологической классификации армянских диалектов учет позиционных изменений ничего нового не дает и не вносит никаких более или менее существенных изменений в нашу таблицу, отражающую классификацию армянских диалектов.

В ходе дискуссии проф. Ж. Фурке интересовался армянскими палатальными смычными, аффрикатами. Но, как мы видели выше, эти звуки в одинаковой мере подвергнутся тем же изменениям, что и лабиальные, дентальные и заднеязычные смычные, а именно:

Свистящие: <i>j^h (dzh)</i>	<i>j (dz)</i>	<i>c (ts) ç (tsh)</i>
Шипящие: <i>ĵ^h (džh)</i>	<i>ĵ (dž)</i>	<i>č (tš) ċ (tšh)</i>

В своей статье Я. Отрембский спрашивал относительно произношения местоимения «ты» во всех диалектных группах. Хотя ответ на этот вопрос ничего не решает, но я могу сообщить, что это местоимение произносится в разных группах диалектов соответственно их системе смычных: *dhu, du, tu, thu*.

Спорным продолжает оставаться вопрос о происхождении и времени происхождения основных армянских диалектов: являются ли они продуктом распада или внутреннего перерождения древнеармянского языка V в. н. э. в последующие эпохи (в основном после X—XI вв., как считают мои оппоненты) или они в большинстве своем или частью сосуществовали с древнеармянским языком до V в. н. э., происходя от армянского языка или «армянских наречий и языков»¹⁰ более древних эпох?

1. Против нашего допущения о происхождении армянских диалектов в древнейшие эпохи и, следовательно, о длительном сосуществовании систем древнеармянского языка и армянских диалектов Э. Б. Агаяном был выдвинут тезис, согласно которому фонетическая структура заимствованных слов из пехлевийского, сирийского и других языков, проникших в армянский язык в первые века до и после нашей эры, якобы не подтверждает существования армянских диалектов в те эпохи.

После поправок тезисов Э. Б. Агаяна об иранских заимствованиях, сделанных Э. Бенвенистом¹¹, нам остается лишь сказать, что аргумент, опирающийся на заимствования, чересчур шаток и ничего не может доказать. Во-первых, нам точно неизвестны качества смычных пехлевийского, сирийского и других языков, а также древнеармянского языка. Следовательно, определить их соответствия возможно лишь приблизительно, настолько приблизительно, что ими аргументировать не следовало бы. Заимствования не могут ничего доказать и по следующей причине. Если, как мы предполагаем, системы смычных древнеармянского языка и армянских диалектов сосуществовали, то последние каждое заимствование, непосредственно из источника или через древнеармянский язык, приспособили бы к системе своего произношения, воспроизводя в нем фонологиче-

¹⁰ М. Хоренаци, История Армении (критическое издание), Тифлис, 1913, стр. 46 [на др.-арм. языке].

¹¹ См. Э. Бенвенист, Проблемы армянского консонантизма, ВЯ, 1961, 3.

ские противопоставления в том виде, какие имеются в исконных словах. Так, например, пехлевийское слово *bazuk* «рука», перешедшее в древнеармянский язык в виде *bazuk*, в сосуществующих с древнеармянским языком армянских диалектах получило бы оформление в виде: *bhazug*, *bazuk(g)*, *razuk*, *phazuk*. И, действительно, оно сохранилось в современных армянских диалектах в тех же оформлениях. Следовательно, аргументом, опирающимся на данные заимствований, вполне можно пренебречь, что мы и сделали.

2. В ходе дискуссии выяснилось, что Э. Бенвенист и Г. Фогт объясняют происхождение консонантных групп армянских диалектов на основе системы древнеармянских смычных, считая, что эта система обладала рядом звонких придыхательных на месте чистых звонких, постулируемых до сих пор¹². Эту заманчивую и плодотворную идею оба ученых высказали независимо друг от друга¹³.

Сравнивая представляемую Э. Бенвенистом и Г. Фогтом систему смычных древнеармянского языка с нашей таблицей, мы видим ее полное совпадение со II группой, из которой мы (вполне правомерно) исключили ряд звонких (см. выше). Во вторую группу входят диалекты Каринской, Мухской и Айратской областей, т. е. центральных областей исторической Армении.

Смычные древнеармянского языка

(По Э. Бенвенисту и Г. Фогту)	II группа совр. арм. диал. по нашей таблице (ряд звонких правомерно исключен).
<i>bh — p ph</i>	<i>bh — b ph</i>
<i>dh — t th</i>	<i>dh — d th</i>
<i>gh — k kh</i>	<i>gh — k kh</i>
<i>jh — c ch (ç)</i>	<i>jh — c ch (ç)</i>
<i>jh — č čh (č)</i>	<i>jh — č čh (č)</i>

Здесь мы имеем полное совпадение.

Напомним, что письменность древнеармянского языка была создана в центре II диалектной группы, в столице древней Армении Вогаршпате (ныне Эчмидзин). Следовательно, это совпадение совершенно не случайно.

Итак, о системе смычных древнеармянского языка к такому заключению пришли оба ученых независимо друг от друга, исходя из факта существования в системе смычных части современных армянских диалектов ряда звонких придыхательных, обнаруженных другими учеными до меня и до них.

Из этого можно сделать два вывода.

а) Э. Бенвенист и Г. Фогт, выдвигая идею о том, что древнеармянский язык вместо предполагаемых чистых звонких обладал рядом звонких придыхательных, тем самым допускают, что существующий ныне в живых армянских диалектах ряд звонких придыхательных является наследием индоевропейского языка-основы, как утверждаем и мы, начиная с 1953 г.¹⁴, а не инновацией, как пытаются доказать наши оппоненты.

б) Если смычные II группы современных армянских диалектов сохранили буквальное сходство с системой смычных древнеармянского языка V в. н. э., не изменив в них ничего в течение полутора тысяч лет, то тем самым доказывается древность происхождения этой системы смычных.

¹² См.: Э. Бенвенист, указ. соч.; Г. Фогт, Заметки по армянскому консонантизму, ВЯ, 1961, 3.

¹³ Н. Vogt, Les occlusives en arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958 (не будучи знакомым с живой диалектной речью армян, в ряде случаев автор дает неточную передачу некоторых смычных и их географии); E. Benveniste, Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien classique, BSLP, 54, 1, 1959.

¹⁴ А. Гарибян, Армянская диалектология. Фонетика и морфология, Ереван, 1953, стр. 445 [на арм. яз.].

В связи с этим напрашивается мысль о том, что система смычных древнеармянского языка и, значит, II группы современных армянских диалектов намного древнее V в. н. э. и, следовательно, сложилась намного ранее V в. н. э., а ряд звонких придыхательных восходят непосредственно к индоевропейскому языку-основе. Отсюда вывод, что не все уровни или плоскости армянского языка претерпели глубокие изменения сравнительно с языком-основой. Система смычных древнеармянского языка и ряда армянских диалектов намного консервативнее многих индоевропейских языков и сближается с индо-арийскими языками. Если это верно в отношении диалектов Центральных областей исторической Армении, то это тем более верно в отношении диалектов Малой Армении и ряда других областей. Тем самым доказывается наш тезис о том, что консонантная система основных армянских диалектов — древнейшего происхождения и частью восходит к языку-основе, частью к периоду образования древнеобщearмянского языка, частью ко времени, близкому к V в. н. э.

Мы это утверждаем, так как наш древний предок — анонимный грамматик VII в. — свидетельствует о том, что в разных диалектах (по его выражению, «видах речи») смычные произносились по-разному и приводит пример: *bazuk, razuk, phazuk*¹⁵.

Принимая во внимание тезис Э. Бенвениста и Г. Фогта относительно звонких смычных древнеармянского языка¹⁶ и то, что создатель армянской письменности четко не различал (как не различаем все мы, говорящие на современном армянском литературном языке восточной ветви) звонкие придыхательные от чистых звонких и изобрел для обоих рядов одни и те же буквы: *բ ղ Զ Զ* нам представляется возможным допустить, что примеры Анонима представляют общую схему смычных армянских диалектов, сохранившихся с того времени (VII в.) без изменений:

I и II группы III и VI группы IV и VII группы V группа
bh(azug) b(azug//k) p(azuk) ph(azuk)

Так наш анонимный предок неожиданно подтвердил наш тезис о том, что система смычных армянских диалектов — древнейшего происхождения.

Мы хотели бы обратить внимание исследователей, интересующихся армянским консонантизмом, на одно важное обстоятельство, а именно: консонантные группы армянских диалектов складываются главным образом благодаря тому, что индоевропейские звонкие придыхательные в армянском языке претерпевают многочисленные изменения, как это подметил грамматист VII в.

Так, сохранение звонких придыхательных с оглушением чистых звонких во II группе ведет к образованию особого типа системы смычных:

I *bh ʙ — ph*
 II *bh — ʙ ph*

В III группе переход звонких придыхательных в звонкие (дезаспирация) создает новый тип:

I *bh ʙ — ph*
 III *— ʙ — ph*

¹⁵ Н. А д о н ц, Дионисий Фракийский и армянские толкователи, Пг., 1915, стр. 149 [тексты на др.-арм. языке].

¹⁶ В этой связи нелишне заметить, что в письменной речи современного армянского литературного языка отражена система полного передвижения индоевропейских смычных (*b p ph*). Однако в живой литературной речи, в устной литературной речи представителей разных диалектов можно уловить отраженную консонантную систему разных групп диалектов, как-то: *bh — p ph* (у представителей мушского, каринского и айратского диалектов), *p ph* (у части представителей карабахского, хойского и урмийского диалектов), *b — ph* (у значительной части представителей западных диалектов и западиоармянского литературного языка) и т. д.

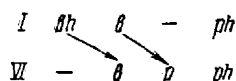
В IV группе переход звонких придыхательных в глухие (дезаспирация и оглушение) также привел к созданию нового типа:



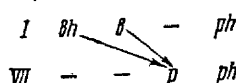
В V группе переход звонких придыхательных в глухие придыхательные (оглушение) дает новый тип:



В VI группе дезаспирация звонких придыхательных вместе с оглушениями звонких также дает новый тип (как и в германских языках):



В VII группе дезаспирация и оглушение звонких придыхательных вместе с оглушением чистых звонких дает последний тип:



Ряд глухих смычных на месте индоевропейских чистых звонких лишь в трех случаях (II, VI и VII) способствует созданию нового типа системы смычных, тогда как в создании всех типов неизменно участвуют звонкие придыхательные и их изменения. Это означает, что в создании систем смычных армянских диалектов важнейшую роль сыграло состояние звонких придыхательных в диалектном произношении. Этот ряд не свойствен тем языкам, которые существовали в Малой Азии, а также тем языкам, которые в настоящее время являются соседними по отношению к армянскому языку. Естественно, что умением или неумением произносить этот ряд звуков или соответствующей его адаптацией определялась система смычных складывающегося диалекта армянского языка в эпоху, когда армянский язык становился общим языком как пришлых индоевропейских племен, так и аборигенов исторической Армении¹⁷. Именно поэтому в отношении происхождения армянских диалектов мы поддерживаем весьма плодотворную теорию В. Пизани¹⁸.

В настоящей статье мы не затронули структуралистический анализ армянских смычных Л. Заброцкого, а также интересные суждения Э. А. Макаева о них¹⁹, но думаем, что они были бы более плодотворными, если бы авторы уделили больше внимания истории и географии армянских диалектов. Очень полезно было также участие в дискуссии ученых Ж. Фурке, В. Георгиева, В. Пизани, Ф. Фейди, У. Ф. Лемана и др. Для армянской же диалектологии проведенная дискуссия была очень плодотворной.

В ходе дискуссии выяснилось, что диалектологи Армении в долгу перед мировой научной общественностью: необходимо тщательно исследовать все лингвистические богатства армянских диалектов, интерес к которым высоко поднялся и у нас, и за рубежом. С другой стороны, в итоге дискуссии новый армянский материал стал достоянием широкой лингвистической общественности; надо полагать, что он будет учтен в последующих трудах лингвистов-компаративистов.

¹⁷ «Strabonis Geographica», Lipsiae, 1866, XI, 44, 5.

¹⁸ См. В. Пизани, Об армянских отражениях индоевропейских взрывных, ВЯ, 1961, 4.

¹⁹ См.: Л. Заброцкий, указ. соч.; Э. А. Макаев, Передвижение согласных в армянском языке, ВЯ, 1961, 6.

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

Вопрос № 11. «Какой должна быть густота сетки населенных пунктов при сборе материала для атласа? По какому принципу и на каких территориях она должна быть сгущена или разрежена?»

Для славянского лингвистического атласа целесообразнее установить сравнительно редкую сетку пунктов с неодинаковой плотностью в отдельных частях исследуемой территории. Решающим фактором при установлении относительной густоты сетки должна быть степень языковой дифференциации данной территории. Отсюда вытекает необходимость более густой сетки на западной и южной окраине славянской территории, в восточнославянской же области, наоборот, можно пользоваться сеткой несколько более редкой ¹.

В случае редкой сетки грозит, однако, опасность, что в заданном пункте не будут отмечены важные явления, которые в общем представлены в данном диалектном типе (возможно, они имеются даже в непосредственно прилегающих местах). Это могло бы повести к искажению фактического лингво-географического положения. Поэтому выбор отдельных пунктов сетки надо тщательно обдумывать с тем, чтобы они давали действительную характеристику данного диалектного типа. Наряду с этим надо в качестве пунктов сетки выбирать места с древним населением.

Из всего сказанного вытекает, что густота сетки и ее реализация не должны определяться априорно, лишь на основе математических вычислений. Ее необходимо устанавливать эмпирическим путем, исходя из полученных сведений о языковой дифференциации отдельных частей славянской территории и об особенно подходящих местностях.

С вопросом о сетке для атласа тесно связан также вопрос о т и п е к а р т о г р а ф и ч е с к о й п р о е к ц и и. Надо выбирать такой тип проекции, который не увеличивал бы на карте наименее дифференцированные обширные пространства на северо-востоке и позволил бы получить в известной степени увеличенное изображение сильно дифференцированных областей на южной и западной окраине славянской территории. Максимально возможного (и вместе с тем допустимого) увеличения изображения на карте в пользу юго-западной окраины — приблизительно 15—20% — можно достичь путем применения, например, цилиндрической проекции, при которой окружность касания цилиндра проходит в направлении от северо-запада к юго-востоку на восточной окраине картографируемой территории.

*Чехословацкая диалектологическая
комиссия (Прага)*

Принимая во внимание диахроническую и историческую концепцию атласа, можно сразу сказать, что сеть пунктов не должна быть слишком густой и частой, а их количество по отдельным языкам — слишком большим. Последнее не нужно хотя бы по тем соображениям, что исторические рефлексy праславянской фонологической системы в пределах отдельных

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

¹ Аналогичные соображения были высказаны на IV Международном съезде славистов в докладах: Р. И. А в а н е с о в, С. Б. Б е р н ш т е й н, Лингвистическая география и структура языка (О принципах общеславянского лингвистического атласа), М., 1958, стр. 28—29; Z. S t i e b e r, O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego, «Славянская филология. Сб. статей», I, М., 1958, стр. 130—131.

языков дифференцируются мало, поскольку именно они составляют основу выделения отдельных языков, но не диалектов в пределах одного языка. При таком понимании напрашивается вывод, что и размещение пунктов по отдельным языкам, а также по диалектам данного языка не может быть одинаковым. Здесь важно так представить обследуемые местности, чтобы были отражены сильно раздробленные диалекты — там сеть пунктов должна быть более густой (например, в кашубских или словенских говорах).

По-другому должно выглядеть размещение пунктов в говорах с незначительной раздробленностью, например в чешских. Конечно, определить сейчас число пунктов для отдельных языков очень трудно. Для обследования, например, всей территории польского языка, включая кашубские говоры, вполне было бы достаточно 50 неравномерно размещенных пунктов. Конечно, здесь имеются в виду только те пункты, которые впоследствии будут занесены на карты атласа; на вступительной же фазе исследований не будет лишним материал, собранный по гораздо более обширной и густой сети пунктов (около 100—120), чтобы позднее можно было произвести его селекцию и для картографирования отобрать только лучшее всего обработанные и наиболее характерные данные. Особенно внимательно следует, например, обследовать пункты на границах с другими славянскими языками.

В отношении польской территории придется разрешить еще один вопрос, который может иметь и более общее значение, а именно: проблему так называемого словинского языка или диалектов, которые перестали практически существовать как живые диалекты совсем недавно и остатки лексики которых еще и сегодня можно встретить у онемеченного населения в районе Слупска. Как расценивать эти диалекты и надо ли заполнять на этой территории вопросники общего лингвистического атласа? Занять здесь правильную и обоснованную позицию очень трудно. И не менее трудно, кажется, отказаться от учета этих говоров, хотя для некоторых явлений, уже чуждых живой речи, пришлось бы воспользоваться данными из лингвистической литературы.

Следующая важная проблема касается так называемых новых диалектов (с переселенным населением), с которыми мы встречаемся на многих славянских территориях, например в Польше и Чехословакии. Эти диалекты характеризуются очень специфической языковой ситуацией. С одной стороны, большинство из них не представляет из себя ничего однородного и единого; иногда такой диалект является суммой многих гетерогенных диалектных слоев. С другой стороны, с точки зрения эволюционной, они являют собой живой пример смешения диалектов, инновацию, интересную как для славянской диалектологии, так и для общего языкознания. Поэтому отказ от изучения таких говоров, видимо, не имеет оправданий, хотя разработка эффективных методов сбора их материала и не является легкой задачей. Для общеславянского лингвистического атласа существенна и общая трактовка этих диалектов.

Последняя проблема не малой важности: будет ли зависеть установление количества пунктов и их распределение от того, какой раздел языка является предметом исследования. Едва ли здесь надо стремиться к какой-то унификации. Для фонетических вопросов, вероятно, следует установить одну сеть пунктов, для лексических — другую, наконец, особо следует подойти к вопросам по синтаксису. Такая точка зрения напрашивается сама собой; тем не менее обязательны более подробное рассмотрение и анализ этого вопроса. Во всяком случае полное однообразие в этой области было бы ненужным и обременительным.

М. Карась (Краков)

Сеть населенных пунктов должна определяться специалистами по диалектологии каждого славянского (и неславянского) языка, при учете дан-

ных уже существующих национальных атласов. Однако она должна быть более или менее однообразной, чтобы обеспечить выявление какого-нибудь неизвестного до сих пор факта или какой-нибудь изоглоссы, о которой до сих пор не было точного представления. Таким образом, следует учитывать опыт прошлого, но нельзя и исходить из предвзятого мнения, что в таких-то пунктах не будет новых, интересных фактов. Если их не будет по фонетике, то они возможны по лексике и т. п. Безусловно, сеть пунктов должна быть сгущена на переходных территориях, на территориях, где имелись в прошлом большие передвижения, и, конечно, в густонаселенных местностях.

А. Росетти (Бухарест)

Проблема густоты сетки исследуемых пунктов представляет известные трудности для атласов отдельных славянских языков, если принять во внимание диалектную дифференциацию и диалектные смешения (в особенности микродиалектные явления сербскохорватских диалектов). Для общеславянского атласа проблема менее сложна и решается в соответствии с географическими данными славянских языков и их основных диалектов, в которых представлены результаты процессов, начатых в славянской языковой общности.

М. Павлович (Белград)

Густота сети пунктов обследования не должна быть слишком большой (в общей сложности не больше 600—700 пунктов). Общеславянский атлас не является заменителем национальных атласов и не должен поэтому давать ответы на все вопросы, связанные с диалектным членением каждого славянского языка. Достаточной следует признать такую густоту сетки, при которой не будет пропущено ни одного явления, важного с точки зрения судеб праславянского наследия или с точки зрения современной языковой системы. В связи с этим густота сетки должна быть очень различной в соответствии с диалектным делением языковой территории. Если бы общеславянский атлас охватил слишком большое число пунктов, то работа над ним задержала бы окончание национальных атласов в тех славянских странах, где число диалектологических кадров невелико.

П. Ивич (Новый Сад)

Вопрос № 12. «Какой должна быть общая транскрипция для всех славянских диалектов (какую транскрипцию следует взять за основу; в каких пределах следует пользоваться фонетической транскрипцией, в каких фонематической)?»

Система транскрипции в славянском лингвистическом атласе должна основываться на фонологическом принципе с учетом позиционных вариантов и фонетической реализации фонем в случаях, имеющих значение для территориальной дифференциации (тип *barka* в отличие от *banka* на польской территории, ярко закрытое *e* в диалектах словенских и серболужицких, польское *ś*, *ź* в противоположность украинскому палатализованному *s'*, *z'* и т. п.). Некоторые явления, так же, как, например, различная фонетическая реализация *y* в польских диалектах или оттенки вторичного *ê* в ганацких диалектах, будут приводиться в крайнем случае только в комментариях к соответствующим картам.

В основу транскрипции лучше положить латинский алфавит с обычными диакритическими знаками; диакритиками будет обозначаться большое количество просодических особенностей (ударение, интонация, количество), а также целый ряд релевантных фонематических черт (назальность, палатализованность, открытость — закрытость), в связи с чем необходимо будет установить как можно более систематические и исчерпывающие правила транскрипции.

В тех случаях, когда нельзя будет обозначать некоторые фонемы в соответствии с указанными принципами (при помощи латинского алфавита

и диакритик), можно будет пользоваться знаками греческого алфавита (например, γ, κ, φ, α) или некоторыми особыми знаками, принятыми в существующих системах транскрипции (например, Λ для у в украинских карпатских говорах). Не рекомендуется, однако, комбинировать две буквы, надписывая одну над другой, как это принято в особенности в польской диалектологии при передаче тембра гласных; такой способ затрудняет употребление необходимых диакритик².

В заключение мы хотим подчеркнуть, что Чехословацкая диалектологическая комиссия полностью осознает всю сложность проблематики, которая связана с подготовкой славянского лингвистического атласа. Подготовительные работы показывают, однако, что все возникающие здесь проблемы могут найти свое решение, если будет ясен общий теоретический подход и если работа будет вестись в тесном сотрудничестве всех заинтересованных организаций в отдельных славянских странах. Мы уверены, что славянский лингвистический атлас может составить важный этап в дальнейшем развитии славянского языкознания.

Чехословацкая диалектологическая комиссия

Транскрипция для общеславянского лингвистического атласа должна быть разработана очень подробно и точно; те или иные отклонения от ее основных принципов представляются недопустимыми. Нельзя, чтобы отдельные наблюдатели или исследовательские центры вводили свои собственные способы записи. Здесь не должна иметь места произвольность, ибо в будущем это закрыло бы дорогу любым сравнениям, не говоря уже о серьезных технических трудностях, которые возникнут при картографировании таких материалов, особенно в области фонетики. За основу для всех разделов следует в принципе принять фонологическую систему, причем в фонетическом разделе в качестве равноправных можно допустить также и фонетические обозначения, а для морфологии и других разделов ее место может занять даже обычная литературная орфография. Конечно, это зависит прежде всего от того, насколько самостоятельны будут отдельные части атласа и в какой степени должны они обслуживать другие разделы (например, должна ли лексика информировать только о дифференциации словаря или также давать определенные фонетические сведения).

Приемлемость названных положений находится в зависимости от степени дифференцированности будущих фонетических наблюдений, от того, окажутся ли в поле зрения только системные явления или также явления индивидуальные и лексикализованные. Здесь мы встречаемся с самым принципом подхода к фонетическим явлениям. Имея в виду общие цели атласа, следует высказаться за умеренный фонетизм, выдвинув как главное записи фонологического типа, предусматривающие отражение системы данного диалекта, а также передачу факультативных и комбинаторных вариантов ее фонем. Нецелесообразной представляется регистрация рефлексов немотивированного характера, зависящих от различных внешних и случайных факторов, например возраста информаторов, их физических особенностей (отсутствие зубов, глухота), темпа речи. Сразу же оговоримся, что эти положения касаются материалов, которые впоследствии будут картографироваться. Сам же процесс собирания материалов должен быть нацелен на фиксацию даже минимальных отклонений, хотя на карты могут быть допущены лишь явления типичные, характерные для данного диалекта и лишенные каких бы то ни было индивидуальных черт; отсюда — постулат о двояком типе записи. Конечно, это требует серьезной подготовки исследователей, надлежащего подбора информаторов, а также тщательного предварительного анализа и внимательной оценки собранных материалов. Лишь при этом условии данные будущего атласа

² К настоящему времени проф. З. Штибер разработал проект транскрипции, который в новой своей редакции был предметом обсуждений на заседании Международной комиссии по славянскому лингвистическому атласу в Праге в июне 1961 г.

уже не будут только сырым материалом. Такое решение вопроса представляется неминуемым, хотя исследователи должны очень внимательно относиться к собираемому материалу, чтобы потом он не оказался абстракцией, далекой от языковой действительности.

Еще одно замечание. Представляется необходимым до начала систематического сбора материалов провести пробные обследования по всему вопроснику на территории различных языков, чтобы наряду с соответствующими теоретическими наблюдениями получить также некоторый практический опыт — выяснить лучший способ собирания материалов, их описания, состав вопросов, порядок исследования по отдельным разделам, не говоря уже о контроле над поставленными проблемами. Только после этого можно будет выработать окончательную редакцию вопросника и определить сроки исследований.

М. Карась

Общая транскрипция для всех славянских диалектов должна, по моему мнению, основываться на латинском алфавите, причем нужно опираться на транскрипционную систему Международной фонетической ассоциации, учитывая при этом славянские особенности. Исследователь при записывании ответов должен пользоваться только фонетической транскрипцией, иначе неизбежен субъективизм. При фонетической транскрипции есть по крайней мере уверенность, что хороший фонетист именно так услышал (конечно, и при таких условиях возможен разноречивый, но он может быть сведен до минимума, если число исследователей будет ограниченным, если они тщательно отобраны и их «слух» и система транскрипции согласованы путем работы над предварительными анкетами по разным языкам).

О фонематической транскрипции можно говорить лишь на втором этапе, т. е. на этапе интерпретирования материала (либо на картах данного атласа, либо в последующих исследованиях). Ибо атлас является не конечным пунктом, а началом более глубоких и детальных исследований.

А. Росетти

Вопрос об унификации транскрипции очень важен; хорошо, что основной проект ее уже разработан (З. Штибер) и разослан отдельным центрам. В основном транскрипция должна носить характер определенных знаков, употребляемых для выражения фонематических звуковых качеств. Для реализации транскрипции необходимо воспользоваться двумя принципами: транскрипция должна быть проста и должна строиться с учетом тех знаков, которые употребляются в отдельных славянских языках (например, обозначение носового качества гласных в польском литературном языке; это касается и специальных знаков для полугласных, аффрикат, мягкостей и т. д.).

М. Павлович

Наиболее удобную основу для транскрипции дает славянская латиница, в основном чехословацкого и югославского типа, дополненная достаточным количеством диакритических знаков, в том числе и для обозначения открытости и закрытости гласных, подобных тем, которые применяются в словенской научной практике. Для языков, обыкновенно на письме пользующихся кириллицей, можно было бы разработать кириллический вариант этой транскрипции, который во всех деталях был бы точно соотношен с латинским вариантом. Этим, очевидно, можно было бы облегчить записи на месте, с тем чтобы потом при непосредственном составлении атласа была проведена транслитерация.

Для атласа лучше употреблять только фонетическую, а не фонематическую транскрипцию. Фонологическая транскрипция, будучи примененной на последующей фазе работы, может привести к выявлению спорных частных моментов. Вообще говоря, фонологические изоглоссы можно давать на особых картах (ср. ответ на вопрос № 6).

П. Ивич

Б. Н. ГОЛОВИН

ЗАМЕТКИ О ГРАММАТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ

1. В философско-лингвистическом плане грамматическое значение — это особый тип «образов» или «отображений» действительности в сознании коллектива; «образы» этого типа характеризуются, во-первых, тем, что они соотнесены не с отдельными предметами и явлениями, а с теми или иными сторонами целых классов индивидуально различных предметов и явлений; во-вторых, «образы» этого типа выражены не совокупностью морфем одного отдельного слова, а совокупностью функционально тождественных (и не обязательно одинаковых формально-физически) показателей целого класса слов.

Если это так, то каждое грамматическое значение историко-генетически «мотивировано» теми или иными сторонами и отношениями реальной действительности; в этом смысле любое грамматическое значение реально. Однако, во-первых, «мотивированность» грамматического значения принципиально иная, нежели мотивированность значения слова *перчатки*, которым иллюстрирует свои размышления о грамматическом значении А. В. Исаченко¹. А во-вторых, далеко не каждое грамматическое значение, мотивированное действительностью историко-генетически, сохраняет эту мотивированность в живом функционировании языка наших дней. Грамматические значения, подобно лексическим, могут «размываться» и «стираться» историей языка. Примеры тому — значения рода, склонений и спряжений в русском языке. В отдельных случаях грамматическое значение отражает не общие признаки различных предметов, а общие признаки самих слов. Кроме того, грамматические значения могут возникать не только на основе языкового обобщения сторон и отношений действительности, но и на основе внутреннего развития, преобразования в самой системе и структуре языка. Так возникло внутреннее расчлененное значение прошедшего времени современного русского глагола, «сконденсировавшее» и, разумеется, преобразовавшее систему значений прошедшего времени древнерусского глагола. Нельзя, конечно, утверждать, что такое «внутреннее» развитие значений никак не мотивировано действительностью, однако именно в таких случаях и могут возникать большие или меньшие несоответствия между нашими логическими и грамматическими отображениями действительности. Логические «образы» действительности (понятия и представления) формируются на основе более или менее «прямого» ее отображения в мышлении и — шире — сознании человека; грамматические же «образы» (грамматические значения) — на основе отображения, опосредствованного уже сложившейся грамматической структурой и системой. Различны пути исторического развития тех и других «образов», различна их природа, различен характер и степень их мотивированности действительностью.

2. В собственно лингвистическом плане грамматические значения — это один из типов языковой семантики, связанный с другими типами ее (лексическим и словообразовательным значениями), но и противопоставленный им. Лингвистическое понимание грамматического значения требует, таким образом, ограничения его от других значений слова. Лексическое значение слова индивидуально: оно закреплено и выражено сово-

¹ А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1, стр. 31.

купностью формально-физических элементов данного слова и совокупностью его индивидуальных соотношений с другими словами внутри языка.

Значение словообразовательное, в сопоставлении с лексическим, окажется групповым: оно закреплено и выражено тождеством формально-семантических соотношений между производящей и производной основами в определенной группе слов (*чита-тель, сея-тель, писа-тель, учи-тель, строи-тель; за-читать-ся, за-смотреть-ся, за-играть-ся, за-спать-ся, за-сидеть-ся, за-думать-ся*); это значение присуще лишь тем словам, в структуре которых ясно осознается соотношение производящей и производной основ. Грамматическое значение принадлежит не одному слову и не группе их, а целому классу; оно закреплено и выражено прежде всего тождеством формально-семантических отношений между так называемыми «грамматическими формами слова», т. е. его разновидностями, тождественными лексически. Слово *печь* мало похоже формально-физически на слово *бежать*; и отдельные «грамматические формы» этих слов расходятся в своем внешне-формальном облике: *пек* и *бежал*, *печешь* и *бежишь*, *пекший* и *бежавший* и т. д. И тем не менее системы соотношений между формами одного слова и, соответственно, формами другого слова — тождественны.

Таким образом, лексические значения оказываются первой ступенью языкового отображения и обобщения действительности и материалом для языкового обобщения фактов самого языка. Словообразовательные значения — вторая ступень языкового отображения и обобщения действительности и первая ступень языкового обобщения фактов самого языка (лексики). Грамматические значения — третья ступень языкового отображения и обобщения действительности и вторая ступень языкового обобщения фактов самого языка (лексики и словообразования). Эта схема, по-видимому, в общем соответствует исторической последовательности выделения собственно лексики, словообразования и грамматики.

Примечательно и то, что различия трех типов значений по степени абстракции связаны и с различиями в степени определенности языковых средств формального выражения соответствующих значений. Для выражения лексического значения нужна индивидуальная словесная форма — звуковая словесная оболочка индивидуальной структуры. Для словообразовательного значения нужна повторяемость — в определенном кругу словесных оболочек — вполне определенных формальных признаков, обычно аффиксов. Для грамматического же значения нужна прежде всего типовая схема формальных соотношений между разновидностями слов, при которой формальное тождество одноименных разновидностей разных слов не является обязательным: род, падеж мн. числа выражается в современном русском языке, по крайней мере, пятью «формами» (*-ов, -ей, -ий, -ий, -ий*, нуль, отсутствие окончания в словах типа *кино, пальто*); «формы», выражающие одно и то же значение, должны быть тождественны функционально, но не обязательно физически.

3. Грамматическое значение, будучи принадлежностью целого класса слов, выражается и в каждом отдельном слове этого класса. Тождество грамматического значения во всех словах целого класса предполагает, казалось бы, и тождество формальных показателей этого значения в пределах всего класса. Однако, как известно, реальная картина соотношений между грамматическими значениями и формальными средствами выражения этих значений не столь ясна.

Возникает вопрос: выражается ли грамматическое значение слова всей совокупностью его формально-физических структурных частей и признаков или же лишь особыми, «грамматическими», формальными признаками? Второе предположение отводится по двум мотивам: а) сами по себе формальные средства грамматики (*-а, -ом, -ишь, -е, -о, -л, -ть*) «ничего не значат»; б) грамматическое значение — это отвлечение от лексических значений; выражаться и существовать в отрыве от них оно не может. Та-

ким образом, каждое грамматическое значение выражается всей совокупностью формальных признаков слова, необходимых и для выражения лексического его значения. Грамматическое значение слова *книга* выражено отнюдь не одним его окончанием. Однако не все формальные признаки слова специфичны для выражения грамматического значения как значения класса слов. Видимо, формальные признаки, меняющиеся от слова к слову в пределах класса (*ид-ешь*, *бер-ешь*, *вез-ешь*, *чита-ешь*, *работа-ешь*), неспецифичны для грамматического значения и участвуют в его выражении не прямо, а косвенно — в качестве специфических выразителей лексического значения. Прямо же выражают грамматическое значение и оказываются специфичными для него лишь те признаки, которые следуют за «своим» значением из слова в слово в пределах целого грамматического класса. Именно такие признаки наука традиционно и признает формальными показателями грамматических значений.

Здесь же возникает вопрос о «синонимии формальных показателей», или «синформии», в выражении одного и того же грамматического значения. Это явление распространено достаточно широко, чтобы привлечь к себе более пристальное, чем это есть, внимание. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что значение «процесса» (основное грамматическое значение глагола) передается в русском языке целой системой различных формальных показателей, если иметь в виду разные формы одного и того же глагола. Иной характер «синонимии формальных показателей» получает тогда, когда по-разному выражается одно и то же «частное», или «сопутствующее», грамматическое значение, например значение рода. падежа. Конечно, различие синонимии слов и «синонимии формальных показателей» по их природе очевидно: первая предполагает близость лексических значений, вторая — тождество грамматических.

Факты языка дают основание различать «собственные» для слова и «заимствованные» формальные показатели. Так, слова типа *пальто*, *кино*, *радио* не имеют собственных формальных показателей различных падежных значений и значений рода и числа. Эти значения выражаются благодаря заимствованию формальных показателей у слов-соседей: имена прилагательные, словопорядок и другие явления структуры словосочетания и предложения временно используются для выражения нужных значений. Все еще не вполне ясно, каковы типы и где пределы таких «заимствований». Невольно вспоминается очень смелая и динамичная мысль акад. Л. В. Щербы о том, что «внешними выразителями» грамматических значений (или категорий) могут быть изменяемость слов и аффиксы, интонация и словопорядок, вспомогательные слова и синтаксические связи, а также многие иные средства языка².

К тому же, строго говоря, грамматическое значение выражается не тем или иным формальным показателем, прямым или косвенным, «собственным» или «заимствованным». Такой формальный показатель необходим, но недостаточен. Всегда нужна определенная, исторически сформировавшаяся и функционирующая система грамматических форм, свойственных словам определенного класса, или «междуклассовая» система слов и их форм. Только на фоне такой системы и по связи с нею возникает и осознается то или иное грамматическое значение: *глубоко* (нареч.) — *глубоко* (прилаг.); *зрел* (гл.) — *зрел* (прилаг.); *рабочий* (сущ.) — *рабочий* (прилаг.) и т. д. Так, звуковой комплекс *зрел* мы осознаем либо как глагол, либо как прилагательное в зависимости от того, в какой системе соотношений его увидим или представим: *зрел* — *зрелы* — *зрелыми* и *зрел* — *зреет* — *будет зреть*.

4. Как бы прозрачны или запутанны ни были соотношения грамматических значений и их формальных показателей, в грамматике обязатель-

² Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 64.

но и то и другое (но отсюда еще далеко до оправдания принципа изоморфизма!). Это факт хорошо известный и не требующий доказательств. Практика исследования сделала соответствующие ему выводы: нужно изучать не грамматические значения сами по себе и не их формальные показатели сами по себе (хотя такое раздельное изучение иногда возможно и полезно), а реально существующие в языке единства тех и других. Именно за этими единствами практика исследования (не грамматическая теория!) и закрепила термин «грамматическая категория». Именно в этом смысле применяется этот термин в книге акад. В. В. Виноградова «Русский язык» и во множестве других работ по грамматике, больших и малых. Правда, между языковедами нет пока полного единства по вопросу о теоретическом определении грамматической категории³.

Недавно была обнародована новая попытка определить грамматическую категорию⁴, поддержанная А. В. Исаченко⁵. Вот предлагаемое Д. А. Штелиным определение: «Собственно грамматическую категорию можно определить как отношение, выраженное в грамматическом строе языка через противопоставление двух (и не более) взаимоисключающих друг друга по значению рядов (или групп) форм: это единство взаимоисключающих противоположностей»⁶. По мнению автора определения, в грамматической категории отражен, таким образом, основной закон человеческого мышления. Но сразу же возникает вопрос и возражение: как же быть с такими фактами грамматики, которые не хотят лечь в ложе нового понимания категории? Как быть, например, с падежами, системой времен древнерусского или современного английского языка, наклонениями (их в русском языке все-таки три) и многими другими фактами? Они, несомненно, тоже закрепляют и выражают деятельность человеческого мышления, выражают, разумеется, и его основной закон...

Допустим, что Д. А. Штелинг и А. В. Исаченко правы и что грамматическая категория есть только там, где налицо отношение, выражающее «противопоставление двух (и не более) взаимоисключающих друг друга по значению рядов (или групп) форм». Это означало бы произвольное сужение терминологического значения — перенесение его с рода (любое единство грамматического значения и средств его выражения) на вид (единство, характеризующее противопоставлением двух рядов форм). Но разве это решает проблему грамматической категории в традиционном понимании термина?

Однако, видимо, Д. А. Штелинг (и вместе с ним А. В. Исаченко) желал не просто перенести термин с рода на вид, а сказать, что явления, признаваемые им грамматическими категориями, принципиально, в существе своем, отличаются от явлений, именуемых грамматическими категориями по традиции. Например, число и падеж принципиально, по природе своей, разнородны.

Но так ли? Разве и вид, и время, и залог, и лицо, и падеж, и число, и род, и степени сравнения, и многие другие явления языка не выражают, каждое по-своему, определенных в языке, грамматических значений определенными формальными средствами? Разве эти явления не одной природы? И разве возможное типологическое деление таких явлений должно закрыть это очевидное единство их природы?

Видимо, элементарное и минимально-достаточное определение грамматической категории может гласить: это реально существующее в языке единство грамматического значения и формальных средств его выражения. Такое определение может быть признано слишком общим: оно отграничивает категории от языковых единиц, но не устанавливает различий между

³ Ср. Б. Н. Головин, К вопросу о сущности грамматической категории (на материале русского языка), ВЯ, 1955, 1.

⁴ Д. А. Штелинг, О неоднородности грамматических категорий, ВЯ, 1959.1.

⁵ А. В. Исаченко, указ. соч.

⁶ Д. А. Штелинг, указ. соч., стр. 56.

самими категориями. Поэтому оно может быть расширено и при этом конкретизировано: грамматическая категория — это определенное единство грамматического значения и средств его формального выражения, отождествляющее определенный ряд языковых единиц. Это может быть ряд слов (категории имени существительного, глагола, склонения и рода существительных, глагольных классов и т. д.); это может быть ряд словесных форм (категории падежа, числа, наклонения, времени, рода в именах прилагательных и т. д.); это может быть ряд «словесных позиций» в высказывании (категории подлежащего, сказуемого, дополнения, обособления, вводности, однородности, обращения и т. д.); это может быть и ряд словесных конструкций (категории предложения простого и сложного, односоставного и двусоставного, повествовательного и вопросительного, личного и безличного и т. д.). Таким образом, возникает проблема общей типологии грамматических категорий, подразделяемых прежде всего на категории слов, категорий словесных форм, категорий словесных позиций и категорий словесных конструкций; по-видимому, категории слов и словесных форм и образуют морфологию языка, категории же словесных позиций и словесных конструкций — синтаксис языка.

Как единства грамматического значения и формальных средств его выражения все грамматические категории однородны или однотипны. Но в других отношениях, по своему семантическому и структурно-формальному качеству, они, разумеется, разнородны и разнотипны, — и не только в тех отношениях, о которых уже сказано. Типологическое изучение грамматических категорий дает разграничение категорий основных и сопутствующих основным, самостоятельных и зависимых, реально-значимых и формализованных, двучленных и многочленных и т. д. Кроме того, в разных языках их история по-разному распределила категории между их типами, поэтому актуальна задача сравнительно-типологического и сопоставительно-типологического изучения категорий в родственных и неродственных языках. Такое изучение еще отчетливее показало бы структурное и системное многообразие грамматических категорий.

Д. А. Штелинг настаивает на том, чтобы понимание грамматической категории опиралось на выделение в ней известного отношения, а именно противопоставления. Верно, что без отношения нет грамматической категории (как, между прочим, и ни одного явления языка вообще); но почему все грамматические отношения нужно свести к противопоставлению?

Д. А. Штелинг определяет грамматическую категорию прежде всего как «отношение», а не структуру. Едва ли можно и с этим согласиться. В языке, в частности в грамматике, система («отношения») и структура составляют единое целое, в котором система обуславливает структуру, а структура — систему. Это должно принять во внимание и при определении грамматической категории.

В этом смысле каждая грамматическая категория может рассматриваться как известная совокупность членов («структура»), объединенных известными отношениями («система»). При этом нужно, по-видимому, различать внешние члены грамматической категории (например, существительное и наречие у глагола), или противочлены, и внутренние члены грамматической категории (например, настоящее, прошедшее и будущее время глагола), или сочлены. Категорий, которые были бы лишены и противочленов и сочленов, язык не знает. Каждая категория характеризуется количеством и качеством своих противочленов и сочленов и своеобразием соотношений между ними.

5. Таким образом, очевидно, что грамматические категории разных типов обладают различными структурами и системами внешних и внутренних соотношений между членами. И это известно исследовательской практике. Это вполне соответствует научному представлению о языке как весьма сложной структурной системе, связи внутри которой разно- и многокачественны.

Поэтому едва ли, даже при условии математизации и формализации представлений о языке, удастся свести все многообразие отношений между сочленами грамматических категорий к бинарности. Именно поэтому защитники этого принципа (например, Д. А. Штелияг) ограничивают круг явлений, именуемых грамматическими категориями.

Но на каком же основании должен быть исключен из числа категорий падеж имени существительного? Почему за пределы грамматической категории выводится повелительное наклонение и тем самым искажается реальная картина категории наклонения? Где отныне должны находить себе пристанище категории рода и залога русского языка? Можно ли без отступления от реальной картины языка ввести в пределы бинарности отношения сочленов категорий времени английского, французского или немецкого глагола? Где должны оказаться категории синтаксиса, явно не охватываемые «двучленными противопоставлениями»?

Конечно, любую грамматическую категорию можно представить как последовательный ряд двучленных соотношений. Но это только прием изучения, не больше. Реальная многочленность большого ряда категорий таким приемом не может быть ни поколеблена, ни устранена. Вот почему принцип бинарности, когда он кладется в основу истолкования природы грамматической категории, кажется неубедительным.

6. Известно, что каждый сочлен грамматической категории имеет свое грамматическое значение. Эти значения сочленов, естественно, являются определенными видоизменениями единого грамматического значения всей категории. Так, категория времени современного русского глагола обозначает всей совокупностью своих форм соотношение во времени либо между отраженным в глаголе процессом и процессом речи (абсолютное грамматическое время), либо между двумя процессами, отраженными в двух глаголах (относительное грамматическое время). Это единое для всей категории значение видоизменяется для каждого из сочленов, т. е. для форм настоящего, прошедшего и будущего времени, значения которых и передают самые общие, отраженные грамматически различия во взаимном временном размещении процессов.

Думается, что в этом и подобных случаях трудно говорить о «маркированности» и «немаркированности», если применять эти термины в соответствии со следующим разъяснением: а) «один член грамматической оппозиции является маркированным, сильным членом, т. е. эксплицитным выразителем определенного признака. Соотнесенный с ним второй член оппозиции является немаркированным, слабым членом. Слабый член грамматической оппозиции не содержит никаких эксплицитных указаний на наличие признака, по своему общему значению противоположного тому, который содержится в семантике сильного члена. Иными словами: слабый член оппозиции не сигнализирует о т с у т в и е данного признака, а оставляет данный признак н е в ы р а ж е н н ы м⁷; б) «с и л ь н ы й член оппозиции всегда в какой-то степени отражает (и, следовательно, выражает) отмеченную в языке сущность внеязыковой реальности... с л а б ы й член грамматической оппозиции своим значением (десигнатом) непосредственно никак не связан с внеязыковой действительностью, не „отражает“ и не „стилизует“ ее. Грамматическое значение с л а б о г о члена оппозиции и следует признать „чисто реляционным“, или „внутриязыковым“. Грамматическая значимость (valeur) слабого члена оппозиции определяется исключительно только местом данного члена оппозиции в системе»⁸.

Казалось бы, идеальная иллюстрация высказанных положений — категория русского глагольного вида. Но соотношения совершенного и несовершенного видов не укладываются в изображенную схему. Достаточно вспомнить, что несовершенный вид («немаркированный», «слабый» член

⁷ А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 35—36.

⁸ Там же, стр. 39—40.

оппозиции) несет свою систему внутривидовых значений⁹ и через них связан, конечно, с «внеязыковой действительностью»; значение форм несовершенного вида определяется отнюдь не только ее местом в системе категории. Если к тому же вспомнить о существовании непарных глаголов несовершенного вида, которые, естественно, не соотнесены каждый в отдельности с «маркированными» глаголами и все же имеют свое собственное грамматическое значение, неубедительность представлений о «сильных» и «слабых» членах станет еще очевиднее.

Интересно в этом отношении присмотреться к тем конкретным иллюстрациям гипотезы о бинарности и маркированности грамматических категорий, которые даны автором статьи «О грамматическом значении». Читатель узнает, что «Грамматическое число» является оппозицией двух членов. Сильным членом этой оппозиции следует признать множественное число¹⁰. В статье уделено достаточно внимания анализу соотношений между сочленами категории числа русского имени существительного. Автор статьи предлагает вместо понятия «множественности», которым обычно характеризуется значение множественного числа, принять понятие «расчлененности», против чего, возможно, и не нужно особенно возражать. Но трудно оставить без возражения концепцию «немаркированности» единственного числа и толкование в связи с этим понятием некоторых фактов русского имени существительного.

Вспомним простейшие случаи применения «оппозиции» единственного — множественного числа: а) *купил книгу* — *купил книги*; б) *на столе карандаш* — *на столе карандаши*; в) *это яблоко* — *это яблоки*; г) *окна дома* — *окна домов*; д) *сидели на лавке* — *сидели на лавках* и т. д. Какие же признаки выражены формами единственного и множественного чисел? По-видимому, единичность и множественность соответствующих предметов. Единственное число так же хорошо «маркировано», как и множественное. И так всякий раз, когда соответствующее имя существительное обозначает предмет, поддающийся счету. Это, конечно, известно. И всякий же раз, когда имя существительное обозначает предмет, который нельзя или не нужно представить считаемым, лексика и словообразование налагают ограничения на грамматику, и ясность количественного соотнесения форм единственного и множественного числа исчезает. Известно также, что отвлеченные, собирательные и вещественные имена существительные имеют форму числа, но лишены реального значения числа и входят, таким образом, в категорию числа лишь формально; они не имеют парной соотнесенности числовых форм именно потому, что обозначают явления несчитаемые. Этот факт противоречит мнению о «выраженной расчлененности» в формах множественного числа и «невыраженной расчлененности» в формах числа единственного. И этот же факт поддерживает традиционное мнение о том, что ядром категории числа русского имени существительного было и остается грамматическое значение противопоставленности одного предмета многим. Если искать «выраженную» и «невыраженную» расчлененность, то как быть хотя бы с такими словами, как *тряпье*, *молодежь*, *купечество*, с одной стороны («расчлененность» есть, а форма — единственного числа), и *недра*, *субтропики*, *чары*, *белила*, *духи*, *сливки*, *хлопоты*, *каникулы*, *именины* — с другой («расчлененность» не выражена, а форма — множественного числа).

Как, приняв мнение о «маркированности» множественного числа, объяснить существование очень большого и продуктивного класса имен существительных единственного числа на *-ние*, *-тие*, *-ость*? Пришлось бы признать значение всех этих существительных немаркированным. Но в действительности дело, конечно, не в «немаркированности» и «нерасчленен-

⁹ Ср. Б. Н. Головин, О приставочных формах выражения внутривидовых значений в современном русском глаголе, «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», LXIV. Кафедра русск. языка, 3, 1952, стр. 40—56.

¹⁰ А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 36.

ности» значения форм единственного числа таких имен существительных, а в том, что их лексические значения не позволяют развить противопоставление по признаку «один — много». Таким образом, одна из действительных проблем изучения категории числа имен существительных состоит, как можно думать, в том, чтобы увидеть и показать внутреннюю ее неоднородность, возникающую, прежде всего, в результате влияния лексики и словообразования на грамматику.

Все имена существительные, не способные лексико-семантически развить противопоставление по признаку «один — много», нарушают строгость категории числа и поступают в ее ряды на основе формальной, а не семантико-грамматической аналогии, подобно тому как происходит распределение значительной части имен существительных по родовым классам. Это значит, что в пределах категории числа современного русского имени существительного находятся не вполне однотипные явления: а) составляющие ядро и опору категории слова предметного значения, развивающие структурно-семантическое противопоставление форм единственного и множественного числа; б) слова определенной словообразовательной структуры, семантика которых не разрешает развить противопоставление, выражаемое парными формами числа; такие слова в сущности лишены категории числа по значению, хотя и входят в класс числовых форм по формальному сходству с опорными для категории формами (*честность, храбрость, теплота, ученье, литье*); в) лексикализованные осколки ранее существовавших в языке форм числа, утративших былую парную соотнесенность вследствие лексикализации формы множественного числа и развития «несчетных» значений (*белила, хобули, духи* и т. д.).

7. По мнению А. В. Исаченко, из самого по себе «определения природы знака, как сочетания „внешнего физического события“ с определенным значением вытекает, что это значение (десигнат знака) должно быть постоянным, или и н в а р и а н т н ы м»¹¹. Едва ли понятие инвариантности, перенесенное из учения о фонемах и морфемах в учение о лексических и грамматических значениях, вполне ясно и убедительно. Лексические и грамматические значения подвижны в плане историческом и в плане функционально-синхронном. И если есть проблема инвариантности лексического значения многозначного слова, она оказывается проблемой поисков некоего общего семантического начала, некоей общей идеи, варьируемой в отдельных значениях, расчлененных речевым опытом и им же реализуемых в качестве определенной семантической системы. Но ведь не очень ясно, всегда ли существует эта отыскиваемая общая идея. Если же понятие инвариантности прилагать к каждому отдельному значению полисемичного слова, возникают новые трудности, обусловленные отсутствием резких границ между смежными значениями.

(В принципе подобным же образом стоит вопрос и об инвариантности грамматического значения (если такой вопрос вообще существует). Правда, инвариантность грамматического значения могла бы пониматься как сохранение всеми сочленами грамматической категории ее общего значения. Однако в статье «О грамматическом значении» предлагается совсем иное понимание инвариантности, исключающее возможность грамматической многозначности и своеобразного «переноса» грамматических значений. Автор статьи пишет: «Сумма грамматической информации, содержащейся в знаке *бежишь*, остается, очевидно, константной. Отсюда ясно, что инвариантным грамматическим значением знака *бежишь* не может быть ни эксплицитное выражение единичности действия, ни эксплицитное выражение повторности действия, ни выражение „настоящего времени“, ни выражение прошедшего времени»¹². И далее отрицается способность категории настоящего времени выражать реальное настоящее время: все

¹¹ А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 33.

¹² Там же, стр. 34.

«значение» этой категории сводится, оказывается, «к невыражению реальной „кратности“ и реальной временной отнесенности»¹³.

Мысль об «отсутствии» в формах времени русского глагола значения реального времени не нова: достаточно вспомнить хотя бы работы Н. П. Некрасова и К. С. Аксакова¹⁴. Теперь эта мысль уточнена в том отношении, что отрицается реальность прежде всего грамматического значения форм настоящего времени. Но и такое уточнение не убеждает. По-видимому, формы настоящего времени грамматически многозначны и в разных контекстных условиях реализуют разные грамматические значения.

Идром грамматической полисемии форм настоящего времени остается значение, отражающее реальное соотношение во времени процесса, обозначенного глаголом, и процесса речи — именно совпадение во времени этих двух процессов. Для выражения именно этого значения достаточен минимальный контекст, т. е. минимум дополнительных к основным, присущим самому глаголу, формальных показателей, позволяющих понять, какое же из нескольких значений реализуется. В двусловных высказываниях типа *поет соловей, едет автомобиль, мальчик читает, девочка учится, рыба плавает* нет даже намека на отнесенность глагольного процесса к реальному прошлому или реальному будущему. Но в таких высказываниях налицо выражение отнесенности глагольных процессов к «моменту речи», т. е. выражение такого значения, которое отражает совпадение во времени глагольного процесса (одноактно-непрерывного или многоактно-раздробленного и потому повторного) и процесса речи. Разумеется, та же форма настоящего времени может выражать и иное, «непрямое» значение; но в этих случаях «смещенное» грамматическое значение выражается уже не одной глагольной формой, а ею в сочетании с другим, «чужим» для нее формальным показателем: *иду вчера, бежишь бывало* и т. д.

В связи с высказанным находится и одно соображение по вопросу о «предметной отнесенности» слова («знака») *бежишь*. А. В. Исаченко думает, что в предложениях *Почему ты бежишь?* и *Бежишь, бывало, на службу и ни о чем не думаешь* разная предметная отнесенность (разные «денотаты»), но одно значение (один «десигнат»). Представляется, однако, что эти и подобные предложения вообще ничего не говорят о предметной отнесенности глагольного «знака», если они даны вне ситуативного или широкого словесного контекста: «знак» *бежишь* и в первом и во втором высказывании может оказаться предметно отнесенным к самым различным «реалиям», или «денотатам»; и такая предметная отнесенность знака, действительно, не входит в круг лингвистического изучения и не должна смешиваться со значением «знака». Но различие между двумя *бежишь*, взятыми для наблюдения в статье А. В. Исаченко, действительно есть; только оно лежит как раз в плане «десигнатов», а не «денотатов»: «знак» *бежишь* реализует два грамматических значения, за которыми стоят и известные «внеязыковые сущности», т. е. в данном случае различия в соотношении во времени глагольного процесса и «момента речи». Очевидно, это такие «языковые сущности», которые оказываются внешними «аналогами» соответствующих им «десигнатов» и без которых «десигнатов» вообще нет.

Грамматическое, как и лексическое, значение «знака» («десигнат») надо, разумеется, отличать от предметной отнесенности этого знака; однако нельзя забывать о том, что любые «десигнаты» обусловлены «внеязыковыми сущностями», т. е. «десигнат» и «денотат» противопоставлены не абсолютно. Когда речь идет о предметной отнесенности слова, нужно иметь в виду конкретно-предметную направленность его значений, а не любую соотнесенность их с миром действительности, отражаемым в языке.

¹³ Там же.

¹⁴ Н. [П.] Некрасов. О значении форм русского глагола, СПб., 1865; К. [С.] Аксаков, О русских глаголах, М., 1855.

М. Г. КРАВЧЕНКО и Т. В. СТРОЕВА

К ВОПРОСУ О СЛОВЕ И СЛОВСОЧЕТАНИИ

(Опыт экспериментально-фонетического исследования
на материале немецкого языка)

В немецком языке есть такие образования, природа которых до сих пор по-разному оценивается языковедами. Широко известным примером тому могут служить глаголы типа *aussprechen*, структурная особенность которых состоит в том, что в одних случаях они образуют целостное единство, а в других выступают разделенными на компоненты (ср. *Er konnte es nicht aussprechen* и *Er spricht diesen Laut weich aus*). Можно, пожалуй, сказать, что по поводу таких глаголов существует столько мнений, сколько есть исследователей, вплотную занимающихся данным вопросом. Так, одни относят их к сложным глаголам (в основном это принято в зарубежной германистике¹, где их называют «нестойкими соединениями»; у нас эту точку зрения представляет В. М. Жирмунский²), другие рассматривают их как производные глаголы с префиксами³, третьи — как глаголы с полупрефиксами⁴. О. И. Москальская считает их переходными образованиями от словосочетаний к производным словам⁵, Р. П. Недалков — сложносоставными словами⁶. Наконец, в советской германистике поддерживается и тот взгляд, что эти глаголы (как в дистантной, так и в контактной их форме) являются фразеологическими словосочетаниями⁷.

Несомненно, подобная пестрота в суждениях вызвана действительной противоречивостью строения названных образований. Нам представляется, что в этой дискуссии наиболее важно решить вопрос, являются ли немецкие глаголы с отделяемыми приставками словом или словосочетанием. Только после выяснения этого вопроса можно будет уточнить их природу. На основе экспериментального исследования, суть которого будет изложена ниже, авторы данной статьи пришли к выводу, что эти глаголы надо рассматривать не как словосочетания, а как слова. Отметим прежде всего, что до сих пор обращалось внимание лишь на особый характер ударения в этих глаголах (сильное на первой части, второстепенное на вто-

¹ Ср., например: W. Wilmanns, *Deutsche Grammatik*, II, Straßburg, 1899, стр. 115 и сл.; H. Paul, *Deutsche Grammatik*, V, Halle (Saale), 1955, стр. 33 и сл.; W. Henzen, *Deutsche Wortbildung*, Tübingen, 1957, стр. 85 и сл.

² Заметим, однако, что В. М. Жирмунский сложным словом признает только слитные формы глаголов с отделяемыми приставками, разделяя же существующие их формы считает словосочетаниями. Ср. его статью «К вопросу о внутренних законах развития немецкого языка» («Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», V, 1953, стр. 95); более отчетливо это высказано в недавней статье В. М. Жирмунского «О границах слова» (ВЯ, 1961, 3, стр. 7).

³ Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева, *Современный немецкий язык*, М., 1957, стр. 223.

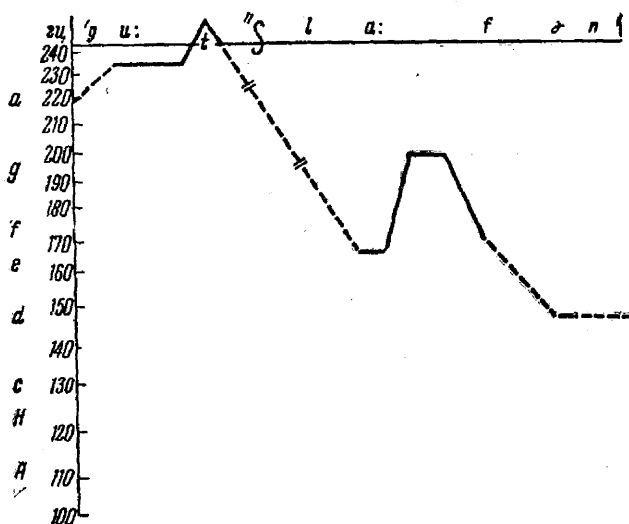
⁴ М. Д. Степанова, *Словообразование современного немецкого языка*, М., 1953, стр. 315.

⁵ О. И. Москальская, *Грамматика немецкого языка. Морфология*, М., 1956, стр. 117.

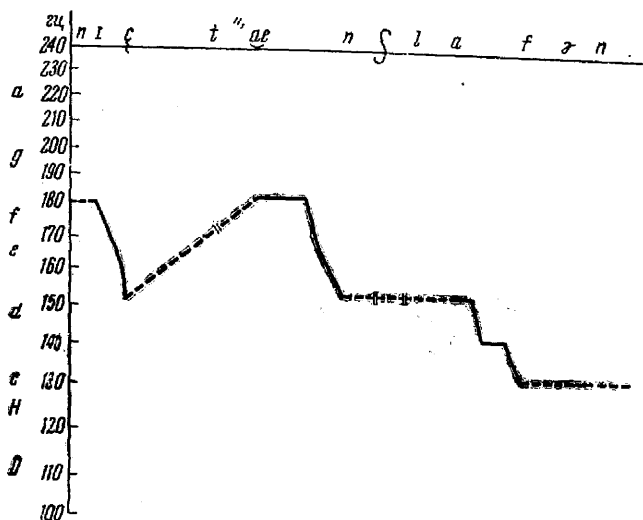
⁶ Р. П. Недалков, *Смысловые ряды сложносоставных глаголов с местоименными приставками-наречиями heraus и hinaus в современном немецком языке*, сб. «Вопросы германской филологии» («Уч. зап. Пятигорск. гос. пед. ин-та», 23), 1961, стр. 46.

⁷ К. А. Левковская, *Лексикология немецкого языка*, М., 1956, стр. 214 и сл.

рой), отличающего их от словосочетания. Мы решили проверить другие фонетические характеристики словосочетаний и приставочных глаголов, а именно: их мелодику, наличие или отсутствие пауз между компонентами словосочетания, с одной стороны, и компонентами глагола, с другой,



Р и с. 1. График, характеризующий свободные сочетания слов



Р и с. 2. График, характеризующий приставочные глаголы

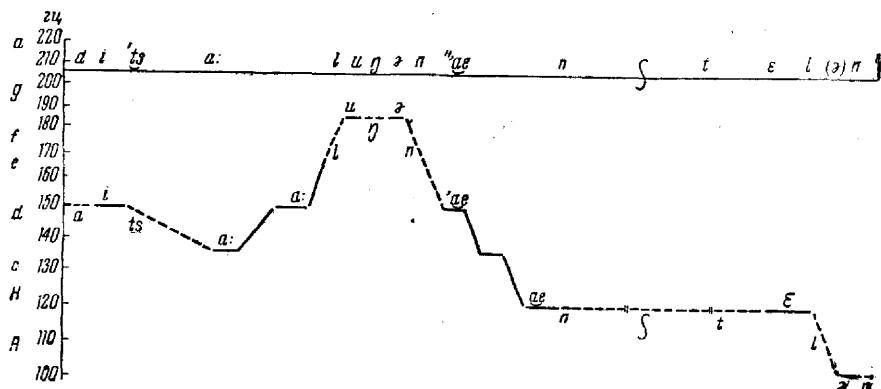
а также соотношение длительности этих компонентов. Мы надеемся обеспечить таким образом вместо чистых умозаключений материальное доказательство тождества, сходства или различия между словосочетанием и глаголом типа *aussprechen*.

Для экспериментальной проверки были выбраны сходные по составу предложения, содержащие, с одной стороны, неоспоримые свободные словосочетания, а с другой — словосочетания фразеологического характера и глаголы обсуждаемого типа. Эти последние исследовались в формах инфинитива и причастия II, которые, как известно, выступают в виде контактного единства глагольной основы и приставки. В этих условиях пред-

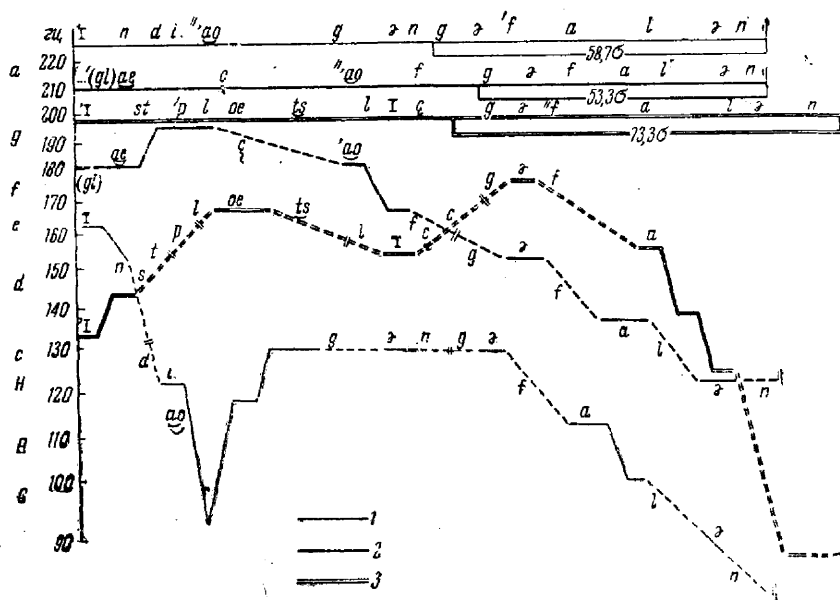
ставлялось возможным их сравнение со словосочетанием, элементы которого также находятся в непосредственном соседстве.

*

Были сделаны параллельные кимографические и осциллографические записи трех типов предложений⁸: а) с глаголом в свободном грамматическом сочетании с наречием (например, *laut sprechen*); б) с тем же глаголом,



Р и с. 3. График, характеризующий фразеологические сочетания



Р и с. 4. Сравнительный график фонетической характеристики всех трех исследуемых объектов

но в составе фразеологического оборота (например, *durch die Blume sprechen*) и в) с глаголом того же корня, но с ударенной приставкой (например, *aussprechen*)⁹. Дикторами являлись коренные немцы из Германской Демократической Республики — Фогт, Циммерман и Дердулла, в возрасте от 21 до 36 лет, владеющие «*Bühnendeutsch*».

⁸ Все записи производились на аппаратуре Лаборатории экспериментальной фонетики им. акад. Л. В. Щербы (ЛГУ).

⁹ Список предложений см. в приложении.

При расшифровке записей принимались во внимание следующие фонетические характеристики: наличие или отсутствие пауз на стыке глагола и предшествующего ему элемента (наречия или другого знаменательного слова, или одиночных и парных субстантивированных компонентов фразеологического оборота, или приставки), а также мелодическая характеристика на этом стыке. Выявлялся темп произнесения отдельных компонентов словосочетания или глагола для сопоставления длительности, а, следовательно, и удельного веса этих компонентов в предложении.

Учитывая различную скорость произнесения у разных дикторов, а также возможный разноречивый в абсолютных цифрах, основанный на разном составе фонем анализируемого слова, необходимо было избрать некий объективный критерий для сопоставления данных разных дикторов и разных слов. Поэтому при сравнении длительности различных слов учитывалась лишь средняя длительность одного звука. Например, в слове *gut* общая длительность равна 33,6 сигм, а на один звук приходится 11,2 σ . Глагол *schlafen* имеет общую длительность 80 σ и, таким образом, средняя длительность одного звука равна 13,3 σ .

На основе записей составлялись графики движения основного тона гласного, и их данные подвергались всестороннему анализу, дававшему нижеследующие результаты.

На стыке глагола с предшествующим ему наречием или компонентами фразеологического оборота пауз в виде прекращения фонации обнаружено не было. Не обнаружены они тем более и на стыке приставки с глаголом. Таким образом оказалось, что наличие или отсутствие паузы не может служить критерием для разграничения рассматриваемых языковых единиц. Поэтому в дальнейшем мы к вопросу о паузе не возвращаемся.

Рассмотрим полученные данные отдельно по трем разделам: свободное словосочетание глагола с наречием, приставочный глагол и сочетание глагола с фразеологическим оборотом.

Свободное грамматическое сочетание глагола с наречием

В предложении *Dieser Kranke... wird heute gut schlafen* мы имеем следующие данные:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		наречие <i>gut</i>	глагол <i>schlafen</i>
Фогт Циммерман	кимограмма	11,2 σ	13,3 σ
	»	14,4 σ	14,6 σ

У обоих дикторов на кимограммах на 1 звук наречия приходилось свыше 10 σ , а на 1 звук глагола столько же или несколько больше. Таким образом, их отношение друг к другу можно выразить как 1 : 1. Можно сказать, что наречие и глагол выступают как равноценные величины. Мелодическая характеристика подтверждает эти соотношения. На наречии *gut* мы имеем подъем тона на терцию, а на границе между наречием и глаголом — падение тона больше чем на квинту у Фогта и до сексты у Циммермана. На ударенном слове глагола снова подъем до терции у обоих дикторов и на неударенном слове еще спад. Следовательно, у обоих дикторов на кимограммах мелодическая линия у глагола и у наречия самостоятельна. Примерно те же отношения имеем в двух приводимых ниже предложениях.

1. *Du darfst jetzt laut sprechen*. Здесь между наречием и глаголом оказался большой мелодический интервал при спаде мелодики. На кимограмме у Фогта это — квинта плюс еще падение на октаву на слоге *-en*; у него же на осциллограмме — септима плюс еще падение на *-en*, а у Циммермана — кварта плюс еще кварта на *-en*. Этот случай наиболее ярко показывает границу между наречием и глаголом, выраженную при помощи мелодического интервала; что касается соотношения длительности, то оно следующее:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		наречие <i>laut</i>	глагол <i>sprechen</i>
Фогт	кимограмма	11,4 σ	11,4 σ
Циммерман	»	11,4 σ	15,5 σ

2. *Beide, Kurt und Dora, haben herzlich gelacht*. Здесь также мелодический интервал имеет у обоих дикторов подъем на ударенном слоге наречия; на глаголе же у Фогта на кимограмме кварта, на осциллограмме — квинта, а у Циммермана — октава, при такой характеристике длительности:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		наречие <i>herzlich</i>	глагол <i>gelacht</i>
Фогт	кимограмма	8,1 σ	11,1 σ
Фогт	осциллограмма	7,3 σ	8,6 σ
Циммерман	кимограмма	9,1 σ	11,4 σ

Из сказанного видно, что в свободном глагольном сочетании с наречием и наречие и глагол имеют свою совершенно самостоятельную мелодическую характеристику. Отношения длительности у наречия и глагола составляют 1 : 1 или 1 : 1 с небольшим, в пользу глагола (полученные результаты графически изображены на рис. 1).

Глаголы с ударенной приставкой

Характеристика этого типа глагола складывается из мелодического рисунка на стыке приставки с глаголом и соотношения длительности между ними. Граница между ударенной приставкой и корневой морфемой мелодически выражена очень слабо: на месте стыка мелодический интервал либо равен нулю, либо выражается в минимальном количестве герц (от 10 до 15), т. е. не достигает даже секунды. Таким образом, корневая морфема энклитически примыкает к мелодике приставки. Изменение мелодического рисунка начинается лишь со второй части корневой морфемы.

Временные отношения между компонентами глагола совершенно обратны тем, которые мы имели в свободном глагольном сочетании с наречием: здесь на долю каждого звука ударенной приставки приходится в полтора-два раза (а иногда и в три раза) большая длительность, чем на каждый звук глагольной основы; иначе говоря, приставка доминирует над глаголом. Так, например, мы имеем следующую мелодическую и временную характеристику в предложении *Dieser Kranke ... konnte nicht einschlafen*.

На кимограммах Фогта и Циммермана на ударенной приставке очень большой мелодический интервал: почти кварта, на стыке приставки и

глагола интервал — ноль, т. е. начало корневой морфемы примыкает к приставке на том же мелодическом уровне, и только после этого начинается спад в 15 гц (меньше секунды) и на суффиксе — еще 15 гц. Итак, вся мелодическая характеристика лежит на приставке. На осциллограмме Фогта мелодический спад на приставке составляет больше квинты, и корневая морфема присоединяется к ней уже на небольшом интервале — несколько больше секунды и на суффиксе падает еще на 15 гц. Снова мелодическая характеристика приставки значительно ярче, чем у глагола. Характеристика длительности у них следующая:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		приставки <i>ein-</i>	корневой морфемы <i>schlafen</i>
Фогт	кинограмма	16,6 σ	10 σ
Фогт	осциллограмма	13,3 σ	8,1 σ
Циммерман	кинограмма	18,3 σ	10 σ

В предложении *Und sie, die Gute, liess ihn alles aussprechen* это соотношение имеет еще более резкое выражение, а именно:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		приставки <i>aus-</i>	корневой морфемы <i>sprechen</i>
Фогт	кинограмма	17,3 σ	7,4 σ
Фогт	осциллограмма	12,2 σ	4,2 σ
Циммерман	кинограмма	22,2 σ	10,0 σ

Таким образом, в последнем предложении на кинограммах Фогта и Циммермана длительность одного звука приставки более чем в два раза превышает длительность одного звука корневой морфемы. На осциллограмме Фогта это отношение почти равно 3 : 1.

У диктора Дердулла в предложении *Er wollte sein Leben gut ausleben* мелодическая характеристика приставки и глагола совпадает с приведенными выше данными Фогта и Циммермана; соотношение длительности тоже указывает на больший удельный вес приставки: длительность одного звука приставки = 21,6 σ, а одного звука корневой морфемы — 9,9 σ, т. е. более 2 : 1.

В предложении, наговоренном диктором Дердулла: *Die Firma wird die Zahlungen einstellen*, — глагол имеет следующие характеристики: длительность одного звука приставки равна 18,3 σ, а одного звука глагола — 10 σ, т. е. почти вдвое короче. Мелодика же характеризуется на стыке дополнения и последующей глагольной приставки спадом интервалом в квинту, а весь глагол остается на мелодическом уровне наиболее низкого тона приставки, т. е. не имеет своей собственной характеристики вообще.

Из всех приведенных выше примеров явствует, что, по сравнению со свободным глагольным сочетанием с наречием, тип глагола с приставкой характеризуется обратными отношениями мелодики и длительности: более яркую мелодическую характеристику имеет приставка, и длительность ее одного звука иногда в два, а порой и в три раза больше, чем длительность одного звука глагольной морфемы. Эта последняя превращается как бы в привесок к приставке (ср. рис. 2).

Сочетание глагола с фразеологическим оборотом

Мелодика данных образований во многом сходна с мелодикой приставочного глагола, ибо основная мелодическая характеристика концентрируется не на глаголе, а на других его компонентах. Стык между ними и глаголом выражается либо в минимальном интервале, не превышающем терцию, либо интервал равен нулю.

Соотношение длительности глагола и прочих компонентов сочетания в общем равно 1,5 : 1. Гораздо реже это соотношение приближается к 2 : 1. Возьмем предложение *Doch er, der Arme, konnte nur durch die Blume sprechen*:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		неглагольных компонентов фразеологич. оборота	глагола
Фогт Фогт	кинограмма	12,0 с	8,1 с
	осциллограмма	12,3 с	6,8 с

В предложении *Es ist allen, auch mir in die Augen gefallen* мы имеем следующую фонетическую характеристику:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		неглагольных компонентов фразеологич. оборота	глагола
Фогт Фогт Циммерман	кинограмма	10 с	7,2 с
	осциллограмма	7,1 с	4,9 с
	кинограмма	10,5 с	7,6 с

В предложении *Das musst du mit in Kauf nehmen* имеем:

Диктор	Метод записи	Длительность одного звука	
		неглагольных компонентов фразеологич. оборота	глагола
Дердулла	кинограмма	15,5 с	10 с

В отдельных случаях при сохранении глаголом своего полного значения наблюдалось и соотношение, приблизительно равное 1 : 1, например у диктора Дердуллы в сочетании *in Saus und Braus leben* (11,1 с : 11,3 с). Такое соотношение мы наблюдали только в сочетаниях наречия с глаголом (ср. стр. 41).

Из анализа материала можно сделать вывод, что фонетическая характеристика фразеологического сочетания выявляет его промежуточное положение между свободным сочетанием и приставочным глаголом. Это особенно ярко проявляется в соотношении длительности неглагольных компонентов и глагола. Ср.: свободное сочетание 1 : 1; приставочный глагол 2 : 1, а иногда 3 : 1; фразеологическое сочетание 1,5 : 1, редко 2 : 1, иногда 1 : 1. Иными словами, глагол во фразеологическом сочетании «стусеивается» по сравнению с другими его компонентами, теряет в своем удельном весе, однако не в такой степени, как это имеет место в приставочном глаголе (ср. рис. 3 и 4).

*

Подведем итоги нашего эксперимента.

1. Свободное словосочетание глагола с наречием характеризуется полной самостоятельностью мелодической характеристики обоих компонентов сочетания, и соотношение длительности у них равно 1 : 1 или несколько больше единицы в пользу глагола. Это определяет словосочетание как соединение двух самостоятельных и более или менее равноценных единиц. Глагол в этом случае сохраняет как слово полную автономность.

2. Приставочный глагол мелодически не выявляет таких двух самостоятельных единиц. Напротив, вся мелодическая характеристика концентрируется в приставке; глагольная же морфема присоединяется к ней как бы энклитически. Соотношение длительности характеризуется также ясным превалированием приставки (до 3 : 1), так что и в этом отношении самостоятельность глагольной морфемы теряется. Из этого, по нашему мнению, можно сделать только один вывод: *sprechen* в составе *aussprechen* или *schlafen* в составе *einschlafen* не могут считаться самостоятельными словами (как в составе *laut sprechen*, *gut schlafen*), а являются лишь составной частью слова, подчиненной целому и модифицированной в этом целом. А это целое представляет собой как бы синтез отдельных частей, одна из которых, в данном случае приставка, является господствующей и подчиняющей.

3. Фразеологические сочетания занимают некое промежуточное положение между первым и вторым типом указанных языковых единиц. Однако из того факта, что приставочный глагол, являющийся, по нашему мнению, целостным словом, ближе по своим фонетическим показателям к фразеологическому сочетанию, чем к словосочетанию свободному, нельзя делать вывода, что приставочный глагол приближается к фразеологической группе. Наоборот, можно высказать предположение, что фразеологическая группа, теряя в известной мере самостоятельность отдельных своих компонентов и отходя тем самым от свободного сочетания, имеет тенденцию приблизиться по своим показателям к целостному слову. Это проявляется и в семантических процессах, происходящих в таком сочетании, и в его фонетической характеристике.

Список проанализированных глагольных сочетаний, записанных на кимографе и осциллографе

1) *Der Kranke konnte nicht einschlafen*; 2) *Dieser Kranke wird heute gut schlafen*; 3) *Es ist ihm gleich aufgefallen*; 4) *Und er ... ist plötzlich gefallen*; 5) *Es ist allen, auch mir in die Augen gefallen*; 6) *Und sie ... ließ ihn alles aussprechen*; 7) *Du darfst jetzt laut sprechen*; 8) *Er ... konnte nur durch die Blume sprechen*; 9) *Das mußt du mit in Kauf nehmen*; 10) *Die Firma wird die Zah'ungen einstellen*; 11) *Der wird ihm schon ein Bein stellen*; 12) *Er wollte sein Leben gut ausleben*; 13) *Dort kann er in Saus und Braus leben*; 14) *Er hätte dich ausgelacht*; 15) *Kurt und Dora haben herzlich gelacht*.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. А. ЗЕМСКАЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX в.

В истории словообразования имен прилагательных в русском литературном языке XIX в. наблюдаются процессы двух родов: а) обусловленные внутренним, имманентным развитием словообразования; б) происходящие под влиянием идущих извне импульсов. Среди процессов первого рода были и идущие издревле, и новые, характерные только для изучаемого периода. Направление и ход развития этих процессов в значительной мере определялись соотношениями элементов, выполняющих тождественные или близкие функции в синхронной системе языка, т. е. соотношения в синхронной системе выполняли роль факторов исторического развития.

1. Среди в н у т р е н н и х, имманентных процессов развития словообразования прилагательных, начавшихся еще в древнерусском языке и в литературном языке XIX в. лишь находящих свое завершение, центральное место занимают явления, которые можно было бы объединить под общим названием *развитие категории качества*.

«Семантической основой имени прилагательного является понятие качества»¹. Утверждение имен прилагательных как слов особой части речи, основной функцией которых является обозначение качественных признаков предмета², имело место на всем протяжении истории русского языка. В литературном языке XIX в. оно проявлялось в изменении как лексического состава прилагательных, так и их словообразования. Происходит интенсивное развитие качественных значений имен прилагательных, а также образование и активизация словообразовательных типов прилагательных, выражающих оценочные качественные значения. Эти процессы сопровождалась вытеснением и ослаблением прилагательных, выражающих значения отношения. Уходит из языка значительное число прилагательных, имеющих только относительные значения; одновременно с этим угасает или ослабевает целый ряд словообразовательных типов, дающих образования, не приспособленные к обозначению качественных признаков предмета, а выражающие общее недифференцированное отношение к чему-нибудь — лицу, предмету или действию, названному производящей основой. Процессы этого рода пронизывают всю систему отсубстантивного и отглагольного словообразования имен прилагательных. Вот основные из них.

1. Угасает продуктивность притяжательных прилагательных с суффиксами *-ов* и *-ин* и одновременно развивается продуктивность образуемых от тех же основ (т. е. основ существительных, называющих лица мужского и женского пола) прилагательных с суффиксом *-ск-* (и его вариантами *-еск-*, *-овск-*, *-инск-*), способных обозначить как отношение к лицу,

¹ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 182.

² Ср. следующее замечание Л. В. Щербы: «...категория прилагательных в русском языке гораздо шире, чем в европейских языках, и имеет какое-то совершенно особое значение. Всякое прилагательное сейчас же приобретает значение качества, например, „железный характер“, „отцовское чувство“ — качественные прилагательные» («Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 102).

так и разного рода качественные признаки. Особую продуктивность в литературном языке XIX в. получают прилагательные с суффиксом *-ск-* (*-овск-*), образуемые от имен собственных, преимущественно фамилий (типа *Пушкинский*, *Шекспировский*, *Мольеровский*).

Угасание прилагательных на *-ов*, *-ин*, их вытеснение прилагательными с суффиксом *-ск-* (*-еск-*, *-овск-*, *-инск-*) и род. падежом беспредложным объяснялось не только особенностями их семантики³, но и тем, что они резко отличались от остальных имен прилагательных своей структурой (у них отсутствовала специфическая для всех остальных прилагательных система флексий и связанная с ней система склонения). С древнейших времен истории русского языка притяжательные прилагательные занимают особое место в системе имен прилагательных. Структурные и семантические особенности образований на *-ов*, *-ин*, их функциональная близость к род. падежу присущестановительного существительного дают основания некоторым исследователям древнерусского и старославянского языков включать их в парадигму склонения имен существительных⁴ или выделять в особую грамматическую категорию, промежуточную между существительными и прилагательными, — производный согласуемый генитив⁵. Промежуточное положение этих образований — между падежной формой существительного и отсубстантивным прилагательным — способствовало их постепенному ослаблению. Они подвергались экспансии со стороны соседствующих с ними, более определенных категориально и потому более устойчивых образований: часть их функций переходила к род. падежу беспредложному, а часть — к прилагательным с суффиксом *-ск-* (и его производными *-еск-*, *-овск-*, *-инск-*).

В литературном языке XIX в. этот процесс выражается в значительных изменениях продуктивности, характера употребления и положения в системе образований на *-ов*, *-ин*. Приблизительно в 40-е — 50-е годы они перестают быть нейтрально-литературной категорией, распространенной во всех стилях речи и жанрах художественной литературы (научная и деловая проза, публицистика, поэзия высоких жанров и т. п.), и замыкаются в узкой стилистической сфере — разговорная речь, просторечие и жанры художественной литературы, отражающие эти языковые сферы. Сокращаются возможности их образования (суживается круг производящих основ, например они перестают образовываться от несклоняемых существительных с основой на гласный типа *Гете*, *Буало*, *Данте*, тогда как в начале XIX в. образования *Гетев*, *Буалов*, *Дантев* и под. были распространены), изменяются условия их функционирования (уменьшается число существительных, с которыми они могут сочетаться), резко ограничивается круг выражаемых ими отношений. Из средства, функционально близкого род. падежу существительного, употребительного для передачи всех отношений, которые могли выражаться этим падежом (*Локкова школа*, *приказание Мольеровы*, *Вольтеров отказ*, *Наполеоново пребывание*, *преобразования Петровы*, *приезд князей*, *убиение Батыево* и под.), они становятся средством функционально ограниченным, употребительным для обозначения только некоторых видов отношений (имущественное владение, неотчуждаемая принадлежность, родственные отношения и некоторые другие: *Леонидов дом*, *Наполеонова шляпа*, *отцова рука*, *Ротшильдов сын* и под.).

³ Ср. замечание В. В. Виноградова: «...притяжательные прилагательные лишены оттенка качественности, и сама прилагательность их условна... Они выполняют функцию указания (в широком смысле этого слова), а не качественного определения» (указ. соч., стр. 191).

⁴ Ср.: Н. С. Трубецкой, О притяжательных прилагательных (possessiva) староцерковнославянского языка, «Зборник у част А. Белѣна», Београд, 1937, стр. 16; А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 158.

⁵ Ср. С. В. Фролова, К вопросу о природе и генезисе притяжательных прилагательных русского языка, «Сб. статей по теории и методике русского языка» («Уч. зап. [Куйбышевск. гос. пед. ин-та]», 32. Кафедра русск. языка), 1960, стр. 326.

2. Аналогичные процессы — передача части функций косвенным падежам производящего существительного, стилистические ограничения — наблюдаются в истории словообразования прилагательных, образуемых от существительных неодушевленных при помощи суффиксов *-н-*, *-ов-*, *-ск-*.

При общей большой продуктивности имен прилагательных с суффиксами *-н-*, *-ов-*, *-ск-* сокращаются возможности употребления тех из них, которые обозначали широкое недифференцированное отношение к предмету. Часть их функций переходит к косвенным падежам существительных (ср. *каретный шум* — *шум кареты*, *сердечное биение* — *биение сердца*, *квадратный бок* — *бок квадрата*, *дворцовое строение* — *строение дворца*, *евангельское чтение* — *чтение евангелия*, *эрмитажная беседа* — *беседа в Эрмитаже*, *погребное сидение* — *сидение в погребе* и под.)⁶. Прилагательные этого рода удерживаются лишь в составе устойчивых выражений, тяготеющих к фразеологизации (составные термины, названия и т. п.), и в живой речи, в которой действие литературной нормы ослаблено. Имена прилагательные утрачивают способность свободно сочетаться с отглагольными существительными для обозначения объекта действия. Сочетания слов типа *плотное мытье*, *дворцовое строение*, *чтение книжное* и т. п. заменяются сочетаниями типа *мытье платья*, *строение дворца*, *чтение книг*. Однако в выражениях устойчивого характера (например, при обозначении объекта торговли или производства) имена прилагательные широко употребительны в литературном языке XIX в. и в наши дни — при отглагольных и неотглагольных существительных (*книжная торговля*, *мебельный магазин*, *автомобильный завод*, *меховая фабрика*). Сохраняют продуктивность и развиваются также прилагательные, выражающие определенные виды отношений к предмету (например, отношения к материалу, отношения назначения: *железная крыша*, *сапожная щетка*).

Одновременно с уходом из языка названных типов отсубстантивных прилагательных шел процесс интенсивного развития качественных значений отсубстантивных прилагательных. Он охватывал как прилагательные, утрачивающие относительные значения, так и прилагательные, сохраняющие их.

3. Процесс развития категории качества находит своеобразное проявление в кругу отглагольных прилагательных. У них также широко развиваются качественные значения, особенно у имен прилагательных с суффиксом *-тельн-* (ср. качественные значения таких прилагательных, как *замечательный* — первоначально «замечающий» и «достойный быть замеченным», *пленительный*, ср. *пленяющий*, *восхитительный*, ср. *восхищающий* и под.). Одновременно с этим у отглагольных прилагательных происходит ослабление глагольных, процессуальных значений, близких значениям причастий. Оно обнаруживалось в явлениях двух родов: 1) уменьшении продуктивности некоторых словообразовательных типов отглагольных прилагательных, например с суффиксами *-н-*, *-л-*, и 2) выходе из употребления ряда отглагольных прилагательных с суффиксами *-л-*, *-н-*, *-тельн-*, *-лив-* и др., близких по значениям причастиям (*охладевший ум*, *завялые цветы*, *умолятельный взгляд* — «умоляющий»; *развратительное действие* — «развращающее», *удручительные явления* — «удручающие», *угрожительные слова* — «угрожающие», *вышивной рукав* — «вышитый», *находные деньги* — «найденные», *руководное начало* — «руководящее» и под.). Глагольные значения, ранее выражавшиеся подобными прилагательными, переходят к причастиям — в первую очередь действительным причастиям настоящего и прошедшего времени. Такое перераспределение

См. об этом подробнее в статье В. А. Белошапковой и Е. А. Земской «Из истории функционирования отсубстантивных прилагательных», «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», V (в печати).

функций было связано с тем, что, как отмечают многие исследователи⁷, в первой половине XIX в. происходит укрепление категории причастий. Расширяются стилистические возможности их применения. Они превращаются из стилистически ограниченной категории в общелитературную форму глагола, свойственную нейтральной письменной речи.

Таким образом, в литературном языке XIX в. претерпевают изменения основные (наиболее продуктивные и лексически емкие) словообразовательные типы отсубстантивных и отглагольных имен прилагательных. В изменениях, свойственных этим различным словообразовательным типам, имеются общие черты: производные прилагательные, выражающие широкое недифференцированное отношение к предмету или действию, вытесняются формами производящих основ (косвенными падежами существительного или причастиями).

4. Укрепление категории качества проявлялось и в развитии словообразовательных типов, содержащих экспрессивную оценку признака через его отношение к тому, что обозначено производящей основой (лицу, предмету или действию). Вот два примера.

В конце XVIII — начале XIX в. образуемые от имен лиц мужского пола прилагательные на *-ий*, *-еский* и *-цкий* (типа *чиновничий*, *чиновнический*, *чиновницкий*) функционировали как равные по значению и стилистической окраске, образуя тройной ряд словообразовательных вариантов со значением отношения к лицу. Постепенно образования на *-цкий* вышли из этого ряда, взяв на себя функцию экспрессивного наименования свойств, качеств. Отдельные ранее образованные лексемы этого типа сохранились в языке как нейтральные наименования отношения к лицу (*рыбацкий поселок*, *плотническое ремесло*). Основная же масса прилагательных на *-цкий* подверглась экспрессивно-качественному переосмыслению (*мужицкий*, *дворницкий*, *холостяцкий*, *чиновницкий*, *заговорицкий*), и новые слова этого рода создаются, как правило, для экспрессивного обозначения свойств, качеств.

С изменением стилистической функции этого словообразовательного типа уменьшилась его продуктивность: относящиеся сюда прилагательные стали образовываться только от таких наименований, которые несут в самих себе экспрессивную оценку лица.

В рассматриваемый период появляется целый ряд новых экспрессивных словообразовательных типов. Вероятно, не ранее середины XIX в. возникает тип экспрессивно-оценочных прилагательных на *-ствующий* (*литераторствующий*, *мужиковствующий*, *хулиганствующий*, ср. индивидуальное — *рафаэльствующий* и под.). Образования этого рода обозначают отрицательно оцениваемый признак предмета по деятельности, напоминающей ту, которая свойственна лицу, названному производящей основой. Рассматриваемые образования резко отличаются характером своего значения от лишенных экспрессивной окраски образований на *-ствующий* терминологического характера (типа *монашествующие лица*, *правительствоствующий сенат*), возникновение которых относится к более раннему периоду истории русского языка. Они представляют собой новый словообразовательный тип (хотя, по всей вероятности, терминологические образования подготовили для них почву). Их сходство с причастиями — внешнее: глаголы, от которых они должны были бы быть образованы, в большинстве случаев отсутствуют в языке⁸. Даже в тех немногих случаях, когда в употреблении имеется соответствующий глагол (типа *хулиганствовать*, *либеральствовать*), он бывает обычно менее употребительным, чем образование на *-ствующий*, которое производится, по-видимому, не от

⁷ См. И. С. Ильинская, К истории словарного состава русского литературного языка XIX в., сб. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», III, М., 1953, стр. 174.

⁸ См. Н. М. Козулин, Русские отыменные образования причастного типа, ВЯ, 1960, 1.

глагола, а непосредственно от имени существительного, так называемым чресступенным способом словообразования⁹.

Сам способ производства этих слов — непосредственно от имен существительных (*либерал — либеральствующий*, *декадент — декадентствующий*, *хулиган — хулиганствующий*) — свидетельствует о том, что они образованы в результате словообразовательного, а не формообразовательного процесса, следовательно, являются именами прилагательными. Об этом же свидетельствует и характер их значения. В отличие от причастий, эти образования не имеют форм времени и вида, формы типа *либеральствовавший*, *декадентствовавший*, *полиберальствовавший*, *подекадентствовавший* и под. в языке отсутствуют. Тип прилагательных на *-ствующий* продуктивен и в наше время¹⁰.

II. Влияние в н е ш н и х импульсов на историю словообразования прилагательных и в литературном языке XIX в. было довольно значительным. Такими импульсами были иноязычные влияния (как непосредственные, вызванные заимствованием отдельных словообразовательных морфем, так и кальки) и влияния местных диалектов и просторечия. По своим результатам с ними сближаются влияния на общелитературный язык специальных (в широком смысле) сфер литературного языка. Все эти воздействия приводили к глубоким и разнообразным изменениям в словообразовании, изменению местоположения функционально близких элементов, взаимодействию старых литературных словообразовательных типов и «пришлых», «окраинных» и «центральных», перераспределению функций между ними, изменению стилистических норм при сочетании корневых и аффиксальных морфем и т. п.

1. Широкий поток иноязычных заимствований, хлынувший в русский литературный язык изучаемого периода, принес с собой большое количество словообразовательных аффиксальных элементов, формирующих отвлеченную книжную лексику. Отвлекаемые из состава заимствованной лексики, они в разной степени укреплялись в русском языке. Некоторые из них получали словообразовательную активность на русской почве. Таковы приставки *анти-*, *архи-*, *ультра-*, ставшие продуктивными в литературном языке XIX в. Сложнее обстояло дело с иноязычными суффиксами. Прилагательные, входившие в русский язык из западноевропейских языков, обычно заимствовались вместе с суффиксами, свойственными им в языке-источнике, а не образовались от иноязычных заимствованных существительных¹¹. Включение их в русский язык сопровождалось присоединением к ним русских суффиксов имен прилагательных (*-н-*, изредка *-еск-* — только в прилагательных на *-ique*, *-icis*), в результате чего образовались новые сложные суффиксальные элементы: *-ическ-*, *-ичн-*, *-альн-*, *-ональн-*, *-уальн-*, *-(т)ивн-*, *-ионн-*, *-арн-*, *-озн-*, *-абельн-*, которые словообразовательной активности в русском языке не получали. Они не сочетались с русскими основами, а лишь вычленились из заимствованных слов. Однако их наличие в составе заимствованных слов оказывало некоторое влияние на характер словообразовательной системы русских прилагательных, так как подобные образования вступали в соотношения с прилагательными, содержащими только русские суффиксы. Ср. тождественные по значению прилагательные с непроезжими русскими суффиксами *-н-*, *-ов-*, *-ск-*, образованные от основ употребительных в русском языке иноязычных существительных, и прилагательные, образованные от основ иноязычных прилагательных, осложненных суффиксами. Напри-

⁹ О случаях чресступенного словообразования см. в ст. Н. А. Я н к о - Т р и п я ц к о й «К образованию новых слов *трудоустройство*, *трудоустроить*» в сб. «Вопросы культуры речи», 3, М., 1961.

¹⁰ См. Н. М. К о з у л и н, указ. соч. Назовем еще образование *милиционерствующий* (из устной речи).

¹¹ См. Я. К. Г р о т, Филологические разыскания, 2, 2-е изд., СПб., 1876, стр. 342.

мер, *-н-* и *-арн-*: *каникулярный* — *каникулярный*, *паразитный* — *паразитарный*; *-ов-* и *-альн-*: *актовый* — *актальный*; *-ов-* и *-ическ-*: *кастовый* — *кастический*, *асфальтовый* — *асфальтический*, *металловый* — *металлический*; *-ск-* и *-ическ-*: *типографский* — *типографический*; *-ск-* и *-арн-*: *парламентский* — *парламентарный*; *-н-* и *-озн-*: *скарлатинный* — *скарлатинозный*, *гриппный* — *гриппозный*; *-н-* и *-абельн-*: *комфортный* — *комфортабельный* и мн. др. Словообразовательная дублетность этого рода была очень развитой, причем нередко образования со сложными аффиксальными элементами вытесняли из употребления прилагательные с простыми суффиксами.

Таким образом, наличие в литературном языке XIX в. прилагательных со сложными суффиксальными элементами, хотя они и были лишены словообразовательной активности, влияло на способы образования в русском языке прилагательных от иноязычных основ, на способы вовлечения заимствованной лексики в русский литературный язык. Это влияние было негативным. Оно приводило к тому, что несмотря на продуктивность в изучаемую эпоху суффикса *-н-* и на существование в литературном языке таких иноязычных существительных, как, например, *комфорт*, *скарлатина*, *каникулы*, прилагательные *комфортный*, *скарлатинный*, *каникулярный* и многие подобные, употребительные в языке XIX в. и образованные по законам языка, утрачиваются. Они были вытеснены из употребления прилагательными со сложными суффиксальными элементами *-абельн-*, *-озн-* и др. Вышеназванные суффиксальные элементы так и не стали суффиксами, продуктивными в русском языке. Лишь два из них в конце XIX в. — в XX в. получают слабую способность сочетаться с русскими основами. Это *-альн-* (ср. единичное *буквальный*)¹² и *-абельн-* (*-ибельн-*) (ср. совр. экспрессивные шутливые образования *читабельный*, *носибельный*, *диссертабельный*, *промокабельный*, *невставабельный*).

Иноязычные влияния иного рода, более сложные и не столь очевидные, проявлялись в создании словообразовательных калек, повторяющих значения иноязычных словообразовательных образцов или отдельных аффиксов. Таковы некоторые типы прилагательных с приставками *сверх-* (ср. нем. *über-*), в специальной терминологии с приставками *над-* (ср. лат. *super-*), *вне-* (ср. лат. *extra-*), прилагательные с приставкой *противо-* (ср. франц. и лат. *anti-*). Историю последних осложнило то обстоятельство, что приставка *анти-* сама приобрела продуктивность в русском языке. Вследствие этого прилагательные с приставкой *анти-* оказывали двойное влияние на прилагательные с приставкой *противо-*, с одной стороны, определяя систему их значений, с другой стороны, ограничивая сферу их применения.

2. Из местных диалектов и просторечия в словообразование имен прилагательных входит незначительное количество морфем, формирующих экспрессивные словообразовательные типы со значением меры или степени качества. Так образовались прилагательные с приставкой *раз-* (*разлюбезный*, *развеселый*, *разудалый*) и сложной *распре-* (*распрелютый*, *распрепостылый*, *распремилый* и под.), входящие в литературный язык, по-видимому, в конце XVIII — начале XIX в., прилагательные с суффиксами *-енный*, *-ущий*, образующие прилагательные от основ имен прилагательных; вероятно, в первой трети XIX в. в литературный язык через посредство языка художественной литературы проникают отдельные прилагательные с этими суффиксами (*здоровенный* — встречается у Пушкина; *страшенный*, *высоченный*; *большущий*, *злющий*, *здоровущий*), по образцу которых начинают производиться новые слова. Характерно, что в конце XIX в. подобные образования встречаются в авторской речи таких писателей, как Тургенев, Чехов, Л. Толстой.

¹² По мнению Г. П. Павского («Филологические наблюдения, Рассуждение второе, Б. Отделение второе», 2-е изд., СПб., 1850, стр. 66), *буквальный* — калька лат. *litteralis*.

Из просторечия в литературный язык проникают также отдельные способы сочетания словообразовательных аффиксов и основ. Таков, по-видимому, способ образования имен прилагательных с суффиксом *-ов-* (для которого ранее было характерно сочетание только с основами имен существительных) от глагольных и глагольно-именных основ (типа *гулевой, бросовый* и под.).

3. Для XIX в. было характерно вовлечение в сферу общелитературного выражения лексики, находящейся на периферии литературного языка и относящейся к специальным сферам речи (например, лексика узко терминологическая, канцелярско-деловая)¹³. Вместе с подобной лексикой в литературный язык проникают свойственные ей способы словообразования.

Во второй половине XIX в. в литературный язык входят зародившиеся в канцелярско-деловой речи образования от существительных на *-ение* с суффиксом *-ск-* (типа *правленский*). Возможность их образования, по-видимому, связана с общей тенденцией устранения стилистических ограничений в сочетаниях словообразовательных морфем разного происхождения и разного характера¹⁴: так, отглагольные существительные с церковнославянским по происхождению суффиксом *-ение*, ранее не использовавшиеся в качестве производящих основ в словообразовательной системе русского языка¹⁵, в конце XIX — начале XX в. вовлекаются в образование имен прилагательных с суффиксом *-ск-* и существительных по типу *agens* с суффиксом *-ец* (в результате чего возникают ряды слов типа *правление — правленский — правленец*). Прилагательные на *-енский* переходят затем в публицистические стили речи (*направленский, освобожденский, примиренский*). Позднее в результате процесса переразложения происходит осложнение суффикса *-(ен)ский* в *-(ен)ческий*: *примиренческий, освобожденческий, направленческий*, в связи с чем изменяется структура всего словообразовательного гнезда. В соответствии со старыми образованиями *примиренство, направленство, примиренствовать* и под. возникают существительные *примиренчество, направленчество* и производные глаголы — *примиренчествовать* и под.

Уже в XX в., вероятно, в 30-е годы, этот словообразовательный тип расширяется, охватывает более широкий семантический круг существительных на *-ение* (ср. *приключенческий, развлеченческий*) и к нашему времени становится очень активным. От разных существительных на *-ение* свободно образуются прилагательные; ср. *поведенческий, сужденческий, представленческий* и под. Характерно, что теперь от многих существительных на *-ение* терминологического характера создаются прилагательные, ранее невозможные, что очень облегчает пользование этими терминами. Например, прилагательные *мировоззренческий* (от философского термина *мировоззрение*), *сужденческий* (от термина *суждение*) теперь уже не редкость.

Прилагательные с приставками предложного происхождения пополняются моделями, развившимися в недрах специальных стилей литературного языка, преимущественно научной терминологии (прилагательные с приставками *около-, вне-, меж-, чрез-/через-, внутри-, от-, над-*). Возникающие там словообразовательные модели входят в систему общелитературных средств выражения, обогащая ее и претерпевая при этом некоторые изменения. При этом: 1) расширяются связи приставок с производящими основами; 2) у ряда приставок уже на почве литературного язы-

¹³ Ср. Ю. С. Сорокин, Об общих закономерностях развития словарного состава русского литературного языка XIX в., ВЯ, 1961, 3, стр. 32.

¹⁴ См., например, Ю. С. Сорокин, Об общих закономерностях развития словарного состава русского литературного языка XIX в., в кн. «Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени», М., 1960, стр. 11.

¹⁵ Ср. лишь прилагательные, образованные от названий церковных праздников: *крещенский, воодвиженский, успенский* и под.

ка развиваются новые значения, не свойственные им в кругу чисто терминологической лексики. Так возникают уже, по-видимому, в начале XX в. прилагательные с приставкой *около-*, обозначающие «примыкающий к чему-нибудь» (общественной группировке, течению, науке, виду искусства и т. п.): *околопартийный*, *околореволюционный*, *околомарксистский*. Образования этого типа относятся к общественно-политической, публицистической лексике и характеризуются яркой экспрессивной окраской отрицательности. Этот тип образований в сочетании с узким кругом производящих основ продуктивен и в современном языке. Ср. *окололитературный*, *околотеатральный*, *околомузыкальный* и даже *околошахматный*, *околоспортивный*, *околофилософический*.

По-видимому, из области научной терминологии идет также изменение способа образования прилагательных с приставками предложного происхождения. Подобные прилагательные, вероятно, не ранее XIX в. начинают образовываться не только комбинированным префиксально-суффиксальным способом, но и непосредственным присоединением приставки к прилагательному. Ср. *околощитовидный*, *межчерпаловидный*, *надсерноокислый*, *околополовой* и т. п. Такие прилагательные семантически соотносительны с конструкциями с предлогами (например, *околощитовидный* — *около щитовидной железы*), однако с п о с о б их образования чисто префиксальный, т. е. приставка присоединяется непосредственно к прилагательному¹⁶. О том, что приставки предложного происхождения приобрели способность присоединяться непосредственно к прилагательным, свидетельствует увеличивающееся по направлению к современности многообразие суффиксов, выступающих в прилагательных с этими приставками. Если при зарождении этого способа словообразования и приблизительно до начала XIX в. в составе прилагательных, образованных на основе сочетаний предлога с формой косвенного падежа существительного, выступали преимущественно суффикс *-н-*, реже *-ск-* и в редких случаях *-ов-*¹⁷, то в конце XIX в., а особенно в современном языке, число суффиксов, употребляемых в составе прилагательных с приставками предложного происхождения, резко возрастает¹⁸. Это связано, по-видимому, не с тем, что вовлекаются новые суффиксы в приставочно-суффиксальный способ словообразования прилагательных, а с тем, что приставки предложного происхождения получают способность непосредственно присоединяться к бесприставочным прилагательным, используя готовое, существующее в языке образование. Характерной особенностью подобных образований является то, что суффикс в их составе обычно не имеет того специфического значения, которое он вносит в бесприставочное прилагательное. Так, например, суффикс *-(ч)ат-* не вносит в прилагательное *межворсинчатый* значения «наделенный в большой степени чем-либо, похожий на что-либо», которое ему свойственно в бесприставочных образованиях. Поэтому префиксальное прилагательное семантически не соотносится с бесприставочным прилагательным, от которого оно образуется. Оно связано с соответствующим предложным сочетанием: *межворсинчатый* — *меж ворсинками*; ср. несуществующие *межворсинный* или *межворсинковый*, образование которых было бы вполне закономерным.

¹⁶ Иной характер носят прилагательные с приставками предложного происхождения, образованные чисто префиксальным способом и семантически соотносительные с бесприставочными прилагательными (ср. *праздничный день* — *предпраздничный день*). Их образование, по-видимому, не связано с научной терминологией.

¹⁷ См.: Г. М. Макаева, Приставочно-суффиксальное образование прилагательных (по материалам памятников XVII в.). Автореф. канд. диссерт., М., 1954, стр. 6 и др.; А. К. Соколова, Префиксальное и префиксально-суффиксальное образование прилагательных (на материале южновеликорусских памятников XVII в.), «Труды Воронежск. ун-та», 63, 1961.

¹⁸ Ср. Е. А. Голушкова, К вопросу о способах префиксального словообразования прилагательных в русском языке, «Уч. зап. [Пермск. гос. пед. ин-та]», 25. Кафедра русск. языка, 1960.

*

Рассмотренные выше процессы существенным образом меняли сложившуюся к XIX в. систему словообразования прилагательных. Элементы разного происхождения и «возраста» (исконно русские и иноязычные, общелитературные и специальные, новые и старые), оказавшись вовлеченными в систему литературного словообразования, часто использовались в ней независимо от их прошлого. Существенной являлась их нагрузка, место среди функционально близких элементов системы. Изменение соотношения этих функционально близких элементов системы обуславливало целый ряд процессов, происходивших в истории словообразования прилагательных в XIX в. и обнаруживавших следующие две тенденции: 1) сокращение вариантности, дублетности словообразовательных типов; 2) устранение полисемии словообразовательных аффиксов, которая могла бы привести к их распаду на омоморфемы¹⁹.

Тенденция к устранению дублетности, вариантности средств выражения пронизывает всю систему словообразования прилагательных. При этом происходит либо утрата одного из равнозначных образований, либо их смысловая или стилистическая дифференциация. Изживается в значительной степени (но неполностью) идущая издревле дублетность образований с суффиксами *-н-* и *-ов-*²⁰, произведенных от основ с конкретным значением, развившаяся в XVIII — XIX вв. дублетность образований с суффиксами *-ическ-* и *-ск-*, *-ическ-* и *-н-*, прилагательных с суффиксами *-н-*, *-ск-*, *-ов-* и с производными суффиксами, образованными на основе суффикса *-н-* и осложненными иноязычными аффиксальными элементами (*-альн-*, *-исн-*, *-ионн-*, *-уальн-*, *-арн-*, *-озн-*, *-абельн-* и др.); в XIX в. разграничиваются по значению первоначально употреблявшиеся как равнозначные суффиксы *-ическ-* и *-ичн-* (ср. *драматическое произведение* — *драматичный тон*).

Проявление этой тенденции было тесно связано с тенденцией устранения многозначности словообразовательных морфем, ведущей к их распаду на омоморфемы. И у суффиксальных, и у префиксальных морфем сохраняются преимущественно те значения, которые скреплены внутренним «инвариантным» стержнем. Словообразовательные типы, содержащие тот или иной аффикс со значением, не могущим быть объединенным с основным, ведущим значением, утрачивают продуктивность. Это явление отчетливо видно в истории прилагательных с приставками предложного происхождения. За прилагательными с какой-либо одной приставкой закрепляется выражение одного или нескольких внутренне объединенных значений. Прилагательные, которым приставка придавала значения, не могущие быть внутренне объединенными с основным значением приставки, не образовали продуктивных типов, вытеснялись из языка. Выражение значений этих уходящих типов прилагательных со старыми многозначными приставками переходило к молодым (складывающимся в XVIII — XIX вв.) словообразовательным типам с новыми приставками, не обремененными выражением многих значений²¹. Вследствие этого в литера-

¹⁹ Первая из названных тенденций охватывает словообразование всех частей речи русского литературного языка XIX в. Вторая, по-видимому, свойственна только именному словообразованию, так как в системе глагола, части речи более семантически емкой и структурно сложной, чем имя, словообразовательные аффиксы (и суффиксы, и приставки) отличались большей абстрактностью и разветвленностью значения, чем именные словообразовательные форманты (ср., например, значения глагольных приставок *по-*, *ва-*, *при-* и значения этих же приставок в составе имен прилагательных, существительных), и их полисемия, приводящая нередко к распаду на омоморфемы, была явлением живым и продуктивным.

²⁰ См., например, Н. Hartmann, Studien über die Betonung der Adjektiva im Russischen, Berlin, 1936, стр. 3—4.

²¹ Процесс замены старых моделей в системе словообразования имен прилагательных с приставками предложного происхождения являлся лишь отражением аналогичного процесса замены конструкций со старыми первообразными предлогами конструкциями с новыми предлогами в системе словосочетаний.

турном языке XIX в. отмечается временное сосуществование вариантных — старых и новых — средств выражения. Побеждали обычно новые словообразовательные типы прилагательных, в которых значение, приносимое приставкой, выражалось более отчетливо (подкреплялось ясной соотносительностью со значением продуктивных предложно-падежных конструкций, не затемнялось возможностями различного понимания значения приставки, явлениями омонимии и под.). Так, из близких или совпадающих по значению пар прилагательных с приставками *по-* и *после-* (*посвоенный* и *послевоенный*), *над-* и *сверх-* (*надмерный* — *сверхмерный*), *за-* и *сверх-* (*заштатный* и *сверхштатный*, *закомплектный* и *сверхкомплектный*) вторые члены каждой пары оказывались более устойчивыми.

Тенденция к устранению многозначности словообразовательных морфем находит яркое проявление и в истории суффиксальных типов прилагательных — ее действию, например, подчинено размежевание значений отглагольных прилагательных с суффиксами *-н-* и *-лив-*, *-н-* и *-ист-* и субстантивных с суффиксами *-оват-*, *-ист-* и отчасти *-аст-*.

Таковы основные процессы, характерные для истории словообразования имен прилагательных в русском литературном языке XIX в. Их конкретные проявления были различны в пределах отдельных словообразовательных типов. Ни один из них не протекал изолированно, не затрагивая другие, что обусловило большую сложность картины развития словообразования имен прилагательных.

В. А. РЕДЬКИН

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НОВОГО АКУТА

По вопросу о происхождении нового акута существует довольно обширная литература¹, однако все еще остаются неясными некоторые условия образования этой интонации. Прежде всего это касается имен прилагательных, имеющих краткие формы с неподвижным ударением на окончании (русс. *бѣлый*: *бел*, *белá*, *б'ѣлб*, *б'ѣлѣ*; *чѣрный*: *чѣрен*, *чернá*, *ч'ѣрнб*, *ч'ѣрнѣ* и др.).

Попытка объяснить развитие нового акута в полных формах названных прилагательных [ср. серб. (кастав.) *bēli*, словен. *béli*, кашубо-словин. *bjaŋli*; русск. диалектн. *бѣлый*, *бѣстрый*, где развитие закрытого *б* и протетического *е* перед *б* отражают новый акут] с позиции признания праславянской метатонии наталкивается на серьезное затруднение — развитие в рассматриваемой категории прилагательных ударения на окончании в славянских языках: русск. диалектн. *белбѣй*, *добрбѣй*, серб. (чакав.) *golī*, серб. (штокав.) *tdkrlī* и др. (принятие праславянской метатонии основывается на предположении о развитии нового акута в первоначально ударяемом слоге², что исключает возможность развития ударения на окончании).

Чтобы выяснить условия возникновения в полных прилагательных, имеющих краткие формы с неподвижным ударением на окончании, в одних случаях ударения на корне с новым акутом, а в других — ударения на окончании, необходимо рассмотреть, какие фонетические и морфологические процессы могли вызвать изменение ударения при перестройке местоименных прилагательных в полные.

Посылка Хр. Станга, согласно которой новый акут возникал в первоначально безударных слогах³, позволяет объяснить возникновение ударения на корне с новым акутом и ударения на окончании развитием из какого-то общего источника. Таким источником, по-видимому, явилась система ударения местоименных прилагательных. Ниже мы рассмотрим ударение некоторых славянских прилагательных, отражающих праславянские акцентные отношения, а также данные русских акцентуированных памятников XVI—XVII вв.⁴

¹ См. T. Le hr-Sp l a w i ŋ s k i, O prasłowiańskiej metatonii, «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego», Warszawa, 1957. Интересные соображения по вопросам возникновения нового акута содержатся в недавно опубликованных работах Л. А. Булаховского, Хр. Станга и Е. Куриловича (см.: Л. А. Бу л а х о в с к и й, Отражения так называемой новоакутовой интонации древнейшего славянского языка в восточнославянских, сб. «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка», М., 1961; Ch r. S. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; J. K u r y ł o w i c z, L'accentuation des langues indo-européennes, Wrocław — Kraków, [2 éd.], 1958).

² Ср. Ch r. S. S t a n g, указ. соч., стр. 21.

³ Там же.

⁴ Нами принимаются следующие сокращения: Ж.— Житие протопопа Аввакума в рукописном собрании Дружинина, рукописн. фонд Библиотеки АН СССР в Ленинграде, шифр № 746; Ист.— Палицын Авраамий, келарь Троице-Сергиева монастыря, «История в память предыдущим родѣм...», рукописн. фонд Публ. библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, шифр Q IV 352; Д.— Домострой в рукописи собрания Н. М. Коншина, рукописн. фонд Публ. библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, шифр Q XVII 149; Л.— Книга лошадиного учения..., рукопись XVII в., перевод с франц. яз., рукописн. фонд Публ. библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, шифр F XI 1; Уч.— Учение

бѣл-

В русских акцентуированных памятниках XVII в. в полных формах наблюдается ударение на корне: *медвѣдь бѣлой* (Ж., 230); *полукафтѣнейцо бѣлое* (Л., 29); *бѣлаго* (Ист., 4, 227, 229, 230); *бѣлую* (Уч., 72); *бѣлыми* (Л., 30); *бѣлыя грамоты* (Ист., 5). В современном русском литературном языке ударение также на корне: *бѣлый*. Однако в диалектах отмечено ударение на окончании: *бѣлѡй* — Вятск. губ., Яран. у.; *бѣлѡй* — Сибирь, Акмолин. обл., Кокчетав. у.⁵

Укр. *білий* и белорус. *бѣлы* соответствуют русск. литерат. *бѣлый*. Серб. (чакав.) *běli*, посав. *běli*, словен. *béli* свидетельствуют об ударении на корне и новом акуте. Кашубо-словин. *bjǫlǐ* с долгим *ǫ* также подтверждает новый акут и ударение на корне. Рефлексом нового акута является и долгота гласного корня в чеш. *bílý*. В кратких формах наблюдается неподвижное ударение на окончании: *бѣлѡ* (Ж., 198, 280; Д. 46); с *бѣлѡ бѣзера* (С., 199); *зубы твоѣ бѣлѡ* (Ж., 264); совр. русск.

бел, *белѡ*, *белѡ*, *белѡ*. Славянские языки подтверждают неподвижное ударение на окончании: серб. (чакав.) *běl* (< **běli*), *belà*, *belǫ*, штокав. *bijelo*.

гол-

В русских акцентуированных памятниках XVII в. в полных формах отмечено ударение на корне: *пѡлду гѡлому ѣхали* (Ж., 220); *гѡлымъ гѡзномъ* (Ж., 245). В современном русском литературном языке также *гѡлѡй* (в диалектах, знающих два типа *о*, — *гѡлѡй* с рефлексом нового акута; Тотма). С русскими формами согласуются по месту укр. *голий* и белорус. *голы*. В чакавском диалекте сербского языка форма *golǐ* свидетельствует об ударении на окончании. А. Белич, кажется, без достаточных оснований считает чакавское ударение вторичным⁶. Наряду с ударением на окончании, в чакавском (каставском) диалекте сербского языка отмечается также ударение на корне *gǫlǐ*, что согласуется с русским языком. Такое же ударение наблюдается и в кашубо-славянском *gǫlǐ*, где ударение на корне сопровождается краткостью гласного.

В кратких формах подвижное ударение в современном русском языке: *гол*, *голѡ*, *гѡло*, *голы*, — по-видимому, вторично. Ср. в словаре Даля *голѡ* наряду с *гѡло*. О праславянском неподвижном ударении на окончании свидетельствует серб. (чакав.) *gǫl* (< **golǐ*), *golà*, *golǫ*.

добр-

В русских акцентуированных памятниках XVI—XVII вв. для полных форм отмечено ударение на корне: *дѡброй сѡдѣ* (Уч., 21, 66, 130, 163, 165, 216, 219; Л., 109; Д., 171; Ж., 213, 233; С., 51); *дѡбрый сокольникѣ* (Л., 31, 37, 109, 110, 117, 120, 150, 159, 160, 187); *дѡброе* (Ж., 222; Уч., 3, 13, 20, 23, 30, 41, 108, 155, 170, 195, 203; Д., 98, 107; Л., 36, 38, 46, 47, 51, 108, 114, 120, 121, 136, 147, 178 [2 раза], 208 [4 раза]); *дѡброго* (Л., 32, 47, 64, 108, 109, 110, 127; Д., 32, 46, 49, 73, 76; Уч., 3, 49, 31, 40, 52, 163, 200, 219; С., 113, 125; Ист., 149); *дѡбромѹ* (Л., 13, 114, 115, 159, 209; Д., 55, 98, 107, 108, 118; Уч., 23, 146, 217); *дѡбрымѣ* (С., 55; Д., 47, 66, 123; Ист., 53, 280; Л., 9, 31, 32 [2 раза], 36, 37, 39, 51, 58, 63, 110, 175, 178; Уч., 10, 60, 94, 95 [3 раза], 115, 118, 121, 130, 141 [2 раза], 151, 155, 164, 166 [2 раза], 167, 190, 199, 203 [2 раза], 206); *въ дѡбромѣ* (Уч., 7, 22, 27, 32, 40, 60 [2 раза], 66, 94, 97, 98, 99, 100, 106, 111, 117, 118, 130, 141, 164, 165 [3 раза], 170, 173, 187, 222; Д., 118; Л., 63, 109, 110, 116, 158, 159,

и хитрость ратного строения пехотных людей, М., 1647, старопечатная книга; С — Соборное уложение, М., 1649, старопечатная книга. В примерах из памятников раскрыты титла.

⁵ «Материалы для изучения великорусских говоров», СПб., VIII — 1903, стр. 479; IX — 1910, стр. 272; см. также: А. Б е л и њ, Акцентатске студије, Београд, 1914, стр. 119—120.

⁶ А. Б е л и њ, указ. соч., стр. 38.

183, 204, 208); *добрая* (Уч., 106; Д., 48, 71); *добрую* (Уч., 5, 30, 35, 215; Л., 115; Д., 53, 66, 100); *добрюю волю* (Л., 59; Д., 27; Уч., 8, 15 [2 раза], 22, 60, 146, 159, 202, 204); им. п. мн. ч. *добрые* (Ж., 246; С., 54, 91; Л., 59, 64, 110 [2 раза], 208; Д., 22, 46, 56, 122); *добрый рѣчи* (Ист., 137; Уч., 8, 29, 30, 41, 84, 211, 215, 217 [2 раза]); *добрая дѣла* (Д., 15, 42, 108); *добрыхъ* (Ист., 94; Ж., 189, 251, 253; Д., 32, 113; Л., 31; Уч., 16, 29, 40, 217; С., 62, 63); *добрими* (Ж., 189; Д., 54, 107, 116, 121; Л., 122; Уч., 32, 165, 210).

В современном русском литературном языке ударение также на корне: *добрый*, -ая, -ое. Дialeктное *добрый* (Тотьма) подтверждает новый акут. Отмечено также и ударение на окончании: *добрый* — Владимирская губ., Шуя⁷. Ударение на корне наблюдается в укр. *добрый* и белорус. *добрый*. В серб. (чакав.) *dobrî* ударение на окончании. Наряду с этим в чакавском отмечено и *dǎbrî*, где ударение соответствует русскому литературному. Кайкав. *dǎbri* подтверждает новый акут. Кашубо-словинская форма также соответствует русской литературной, обнаруживая рефлекс нового акута в ударении на корне и краткости гласного: *dǎǫbri*.

Краткие формы имеют неподвижное ударение на окончании. В русских акцентуированных памятниках: *добра человека* (Д., 84; С., 156); *жена добра* (Д., 29; Л., 150, 179; Ж., 268); *о доброй жене* (Д., 30); *древо добро* (Ж., 233, 238, 248, 261, 265, 272; Д., 55, 56, 103; Ист., 181; Уч., 2, 13, 40, 45, 77, 109, 110, 122, 141, 151, 215, 219 [2 раза]); *не добро* (Уч., 38); *у доброй родителю* (Д., 108); *добрый школу* (Л., 32; Д., 28, 29); *были добры* (Ж., 200, 237 [2 раза], 239 [2 раза], 248, 249; Уч., 71).

В современном русском литературном языке неподвижное ударение на окончании: *добр*, *добра*, *добро*, *добры*. Серб. (чакав.) *dobâr*, *dobra*, *dobrǫ*, штокав. *dǎbar*, *dǎbra*, словен. *dǎbar* с рефлексом нового акута (<**dobrǫ*) подтверждают праславянское ударение на окончании.

мокр-

В современном русском языке полные формы имеют ударение на корне: *мокрый*, -ая, -ое. Закрытое *ѳ* в диалектном *мокрый* (Тотьма) свидетельствует о новом акуте. В укр. *мокрый* и белорус. *мокры* ударение, как и в русском, на корне. В сербском языке (штокав.) *tdkrî* краткостная нисходящая интонация на *о* может отражать новый акут. Наряду с ударением на корне, в штокавском диалекте отмечено *tdkrî*, отражающее первоначальное ударение на окончании. В кашубо-словин. отмечено *tdǫkrî*, где краткость *ǫ* при ударении на корне также может отражать новый акут.

Краткие формы обнаруживают в славянских языках расхождения. В современном русском литературном языке ударение подвижного типа: *мокр*, *мокра*, *мокро*, *мокры*; ср. в акцентуированных русских памятниках XVII в.: *всегда мокра заежена еле жива стала* (Ж., 268). Однако эта подвижность, видимо, вторична. Серб. (чакав.) *tdkrǫ* свидетельствует о неподвижном ударении на окончании. Отмеченное М. Реметаром в прчанском диалекте *tdkro* Я. Розвадовский считает вторичным⁸. В штокавском (литературный язык) ударение неподвижное на корне, что, по-видимому, также вторично и расходится с показаниями русского языка XVII в.: *tdkar*, *tdkra*, *tdkro*.

остр-

В русских акцентуированных памятниках XVII в. в полных формах наблюдается ударение на корне: *кнуты острые* (Ж., 218); *ост-*

⁷ См.: А. Белин, указ. соч., стр. 120; см. также «Материалы для изучения великорусских говоров», II — 1896, стр. 23.

⁸ Jan Rozwadowski, Historia języka polskiego, «Wybór pism», 1, Warszawa, 1959, стр. 110.

рого *ŷmā* (Л., 38, 44); *бстрымъ* (Уч., 73, 74, 75, 76 [2 раза], 223); *бстрыми* (Л., 30). В современном русском языке ударение на корне: *бстрый*; ср. *вбстрой* (Тотьма), где закрытое *б* и протетическое *в* перед *б* отражают новый акут. Ударение на корне наблюдается также в укр. *ббстрый* и белорус. *вбстры*. В сербском (штокавском) А. Лескиен отмечает колебание ударения: *ðstrî* и *ðštrî*⁹. Краткое восходящее ударение первой формы свидетельствует о первоначальном ударении на окончании, вторая форма согласуется с русской. Краткие формы в русских акцентуированных памятниках XVII в. имеют неподвижное ударение на окончании: *острѧ шелепуга* (Ж., 201); ср. в современном литературном русском языке: *остёр, острѧ, острѡ, острый*. В сербском показании чакавского и штокавского диалектов расходятся: чакав. *ðstar, ostrǎ, ostrǫ*, штокав. *ðštar, ðštra, ðštro*. Ударение на корне в им. падеже ед. числа муж. рода в чакавском является рефлексом нового акута (<**ostrǐ*). Штокавские краткие формы, видимо, отражают результат поздней перестройки.

тепл-

В русских акцентуированных памятниках XVI—XVII вв. для полных форм наблюдается ударение на корне: *в тёпloe* (Уч., 14); *в тёп-люю ѡзбу* (Ж., 215); *в тёплой землѧ* (Л., 110); *в тёпломъ храмѣ* (Д., 6); *тёплыхъ* (Ист., 76, 86, 127, 219, 282; Уч., 27); *тёплыми слезѧми* (Ист., 33). В современном русском литературном языке ударение на корне: *тёплый, -ая, -ое*.

Ударение на корне представлено в укр. *тѣплий* и белорус. *цѣплы*. Кашубо-словин. *śieplī* с ударением на корне и краткостью гласного корня согласуется с русским по месту ударения и может быть отражением нового акута. Такое же ударение в серб. *tǫplī*.

Краткие формы в современном русском литературном языке имеют неподвижное ударение на окончании, хотя и допускаются колебания ударения: *тепл, теплѧ, теплѡ, теплѧ*. Серб. (штокав.) *tǫpao, tǫpla, tǫplo* могут быть вторичными.

черн-

В русских акцентуированных памятниках XVI—XVII вв. в полных формах наблюдается ударение на корне: *из сафѧну чёрного* (Л., 35; Ж., 222); *чёрному* (Уч., 10); *чёрную ѡкру* (Д., 68); *чёрныхъ облости* (С., 30, 34, 75, 170, 203; Ж., 211); *чёрныхъ* (С., 9, 11 [2 раза], 19, 22, 61, 62, 63, 76, 85, 86, 88, 102, 108, 109 [5 раз], 119, 134 [2 раза], 170 [2 раза]); *с чёрными* (Ист., 61). В современном русском литературном языке ударение также на корне: *чёрный, -ая, -ое*.

С показаниями русского языка согласуются укр. *чѣрний* и белорус. *чѣрны*. В серб. (чакав.) *črñī* представлен рефлекс нового акута при ударении на корне. С чакавским диалектом согласуется штокав. *črñī*, также отражающий новый акут. В кашубо-словин. *čārni* долгота гласного и ударение на корне являются рефлексами нового акута.

В русских акцентуированных памятниках XVII в. краткие формы имеют ударение на окончании: *чернѡ* (Ж., 198). Серб. (чакав.) *črñ, črñǎ, črñǫ* имеет неподвижное ударение на окончании, что согласуется с формой из Жития Аввакума. Такое же ударение подтверждается и штокавским диалектом сербского языка: *črñ, črñǎ, črño*. Новый акут в им. падеже муж. рода является результатом оттягивания ударения с редуцированного *ѡ*, о чем свидетельствует интонация в чакавском и интонация в штокавском диалектах сербского языка.

Видимо, расхождения в ударении — русские диалектные и сербские диалектные ударения на окончании (русс. *белѡй, добрѡй*, серб. чакав. *golī, dobrī*, штокав. *mǫkrī, ðštrī*), наряду с ударениями на корне (реф-

⁹ A. Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, 1, Heidelberg, 1914, стр. 388.

лекс нового акута: русск. диалектн. *зблѣй, дѣбрый, мѣкрый, вѣстрой*, серб. (чакав.) *bělī*, кайкав. *dǎbri* и др.], — являются отражением акцентологических процессов, происходивших в местоименных прилагательных при слиянии именной и местоименной части. Оттягивание ударения с окончания именной части могло привести к образованию нового акута и ударения на корне, тогда как в других падежах, где не было оттягивания ударения, сохранилось ударение на окончании. В процессе выравнивания основ большая часть славянских языков устранила формы с ударением на окончании, сохранив формы с ударением на корне и новым акутом и распространив их на все падежи, но в некоторых диалектах сохранились формы с ударением на окончании, указанные выше.

Теперь рассмотрим, в каких формах первоначальное ударение на окончании оттянулось, а в каких сохранилось.

Имена прилагательные мужского рода рассматриваемого акцентологического типа имели в кратких формах в ед. числе ударение на окончании: род. падеж ед. числа серб. (дривеник.) *dobrā*; ср. существительное рассматриваемого акцентологического типа род. падеж ед. числа муж. рода чакав. (новлянский говор): *krovā, brěstā*, словен. *kónja*; дат. падеж ед. числа серб. (дривеник.) *dobrū*; ср. существительное серб. (новлянский): *krovū, brěstū*; словен. *kónju* (<**konjū*), твор. падеж ед. числа серб. (чакав., дривеник.): *dobrín*; ср. существительное серб. (чакав.) *krovón, brěstón*, словен. *kónjem*; местн. падеж ед. числа серб. (чакав., дривеник.) *dobrū*; ср. существительное серб. (чакав.): *krovī, brěstī*.

В им. падеже ед. числа ударение оттягивалось с редуцированного *ī* с образованием нового акута; ср. серб. (чакав.): *běl, dobār*, а также им.-вин. падежи имен существительных *krǫv, brěst*, русск. диалектн. *нѣн, кѣнь* (закрытое *ѣ* в русском указывает на новый акут).

Во мн. числе ударение также было на окончании. Косвенные падежи кратких прилагательных в сербском языке во мн. числе преобразовались под влиянием полных прилагательных, и первоначальное место ударения устанавливается из соответствующих форм имен существительных муж. рода.

Им. падеж мн. числа серб. (дривеник.) *dobrī*; ср. серб. (чакав.) *krovī, brěstī*, словен. *kónji*, дат. падеж мн. числа серб. (чакав.) *krovón, brěstón*, словен. *kónjem* свидетельствуют об ударении на окончании. В твор. падеже мн. числа в серб. (чакав.) *krovī (krǫvī), brěstī (brěstī)* и в словен. *kónji, kónji* наблюдается ударение на корне и новый акут. Хр. Станг принимает, что первоначально ударение оттягивалось только в местн. падеже, где **ě* возникло из индоевропейского дифтонга с кратким вокальным элементом и поэтому имело циркумфлекс, с которого ударение оттягивалось с образованием нового акута¹⁰. Ср. примеры оттянутого ударения в местн. падеже мн. числа в русских акцентуированных памятниках XVII в.: *рублѣхъ* (ср. *рублѣ*) (С., 122), *жидѣхъ* (ср. твор. падеж мн. числа *жидѣ*, род. падеж мн. числа *жидѣвъ*, дат. падеж мн. числа *жидѣмъ* и др. в Кормчей 1650 г.¹¹). В твор. падеже мн. числа и в других случаях sporadического развития ударения на корне ударение возникло, согласно Хр. Стангу, по аналогии с ударением местн. падежа мн. числа¹².

В местоименных прилагательных именная часть первоначально сохраняла ударение, присущее кратким формам. В процессе слияния с местоимением произошло преобразование падежных форм, вызвавшее перестройку ударения прилагательных. В твор. падеже ед. числа, дат. и местн.

¹⁰ Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 70.

¹¹ См. В. Кипарский, О колебаниях ударения в русском литературном языке, I — односложные имена существительные, Хельсинки, 1950, стр. 22, 24, 25, 28, 29.

¹² Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 71 и сл.

падежах мн. числа произошло сокращение по образцу падежных форм с меньшим количеством слогов. По-видимому, эти формы усвоили основу род. падежа мн. числа, в котором было ударение на корне с новым акутом. Этот процесс должен был сопровождаться усвоением акцентуации род. падежа мн. числа¹³. Развитие ударения на корне с новым акутом могло здесь поддерживаться наличием ударения на корне с новым акутом в местн. падеже мн. числа, который возник фонетически еще в именах существительных.

Акцентуация форм, развивших новый акут (им., вин., твор. падежи ед. числа и род., дат., местн. падежи мн. числа), распространилась на все склонение полных прилагательных рассматриваемого типа в славянских языках. Диалектные формы с ударением на окончании (русск. *белѡй* и др.) развились в результате распространения на все склонение полных прилагательных ударения тех падежных форм, где было ударение на сохранившейся флексии именной части местоименного прилагательного.

В именах прилагательных жен. рода рассматриваемого акцентологического типа ударение в кратких формах было оттянуто с редуцированного в род. падеже мн. числа с образованием нового акута: **bělŭ < *bělŭ*; ср. имена существительные этого же акцентологического типа: чакав. *žen*, русск. *жен* (Д.: им. падеж мн. числа *женѣ*)¹⁴. В остальных случаях ударение было на окончании: чакав. (дривеник.) им. падеж ед. числа *dobrā*, род. падеж ед. числа *dobré*, дат. падеж ед. числа *dobrŭ*, вин. падеж ед. числа *dobrŭ*, зват. форма ед. числа = им. падежу твор. падеж ед. числа *dobrŭn*, местн. падеж ед. числа *dobrŭ*; ср. имена существительные ед. числа в чакавском (новлянском): им. падеж *ženā*, род. падеж *ženē*, дат. падеж *ženŭ*, вин. падеж *ženŭ*, твор. падеж *ženŭn*, местн. падеж *ženŭ*; в русском языке XVI в.: *женā*, *женѣ*, *женѣ*, *женѣ*, *женѣ*, *женѣ*, *женѣ*, *женѣ*.

Для мн. числа ударения кратких прилагательных можно реконструировать, исходя из ударения имен существительных рассматриваемого акцентологического типа. Ср. чакав. (новлян.): им. падеж *ženē*, род. падеж *žen*, дат. падеж *ženān*, вин. падеж *ženē*, твор. падеж *ženāmi*, местн. падеж *ženāh*; в русском языке XVI в.: *женѣ*, *жен*, *женāmъ*, *женѣ*, *женāmи*, *женāхъ*. Хр. Станг справедливо полагает, что чакавские и русские формы отражают праславянское состояние¹⁵.

При слиянии именной и местоименной части местоименных прилагательных формы с двухсложными ударяемыми именными окончаниями должны были преобразоваться, по-видимому, как и прилагательные мужского рода, по образцу род. падежа мн. числа, что должно было привести к развитию в этих формах ударения на корне с новым акутом: дат. падеж мн. числа: **bělāmъ-jimъ > *bělŭ-jimъ*; твор. падеж мн. числа **bělāmi-jimi > *bělŭ-jimi*; местн. падеж мн. числа **bělāchъ-jichъ > *bělŭ-jichъ*. Вместе с род. падежом мн. числа, где накоренное ударение с новым акутом развилось в результате оттягивания с редуцированного *ŭ*, эти формы могли послужить образцом, по которому произошло выравнивание полных прилагательных рассматриваемого типа в большей части диалектов славянских языков. Что же касается диалектных форм с ударением на окончании, то они развились в результате распространения на все склонение полных прилагательных ударения тех падежных форм, где было ударение на сохранившейся флексии именной части местоименного прилагательного: **bělā-ja > *bělā-ja*; **bělŭ-jěje > *bělŭ-jě* и др., откуда диалектные русские формы: *белѡй*, *добрѡй*, серб. (чакав.) *golŭ*, *dobrŭ*, штокав. *mŭkrŭ*, *oŭŭtrŭ* и др.

Имена прилагательные среднего рода в краткой форме имели в ед. числе ударение на окончании; ср. чакав. (дривеник.) им. падеж *dobrŭ*,

¹³ Ср. J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 229—230.

¹⁴ Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 59.

¹⁵ Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 60.

род. падеж *dobrǎ*, дат. падеж *dobrǔ*, вин. падеж = им. падежу; зват. форма = им. падежу; твор. падеж *dobrĭn*, местн. падеж *dobrŭ*; ср. в русском языке ударение того же акцентологического типа *винѠ*, *винѧ*, *винŭ*, *винѠм*, *винѧ*, словен. *Ѡkno*, *Ѡkna*, *Ѡkni*, *Ѡknom*, *Ѡknu*.

Для мн. числа по именам существительным восстанавливается накоренное ударение с новым акутом: чакав. (новлян.) *krĭla*, *krĭl*, словен. *Ѡkna*, *Ѡkĕn*, *Ѡknom*, *Ѡkni*, *Ѡkniĭ*. Это ударение развилось в праславянском языке по аналогии с местн. падежом мн. числа, где, как и в формах мужского рода, на *ѣ* из индоевропейского дифтонга с кратким вокальным элементом развивался циркумфлекс ¹⁶.

Развитие во мн. числе в многосложных существительных среднего рода рассматриваемого типа ударения на предконечном слоге и нового акута (русск. *веретенѠ*: *веретѧ*; *решетѠ*: *решѧ*; ср. чакав. *prorĕlĭ*: *prorĕla*) согласуется с гипотезой о том, что ударение на основе рассмотренных имен среднего рода оттянуто с окончания. Нужно думать, что такое же ударение имели краткие прилагательные рассматриваемого акцентологического типа в праславянском языке.

В дальнейшем в местоименных прилагательных, сохранявших в именной части ударение кратких форм, произошла акцентная дифференциация. В одних диалектах славянских языков на все склонение полного прилагательного распространилось ударение форм с оттянутым ударением, что привело к развитию полных прилагательных с ударением на основе с рефлексам нового акута: русск. диалектн. *ѡблѡс*, *мѡкрѡс* и др.; ср. в серб. (настав.) *gĕlŏ*, *mĕkrŏ* и др.; в других диалектах на все склонение полных прилагательных распространялось ударение форм, имевших в именной части ударение на окончании: русск. диалектн. *бѡлѡе*, *дѡбрѡе*; ср. серб. (чакав.) *golŏ*, *dobrŏ* и др.

Таким образом, формы типа русск. диалектн. *ѡблѡй* и формы типа русск. диалектн. *дѡбрѡй*, *бѡлѡй* имеют общее происхождение: они развились из форм местоименных прилагательных с ударением на окончании в именной части. Современное ударение на окончании и ударение на слоге непосредственно перед окончанием с новым акутом первоначально были функционально тождественны: они характеризовали именную флексию местоименного прилагательного. Развитие в одних диалектах ударения на окончании, а в других — нового акута на слоге перед окончанием является различной реализацией общего для всех славянских языков закона — акцентуация полных прилагательных, имеющих краткие формы с неподвижным ударением на окончании, должна была быть функционально тождественной акцентуации именной флексии ¹⁷.

¹⁶ См. Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 70, 82—83.

¹⁷ Исходное функциональное тождество нового акута прилагательных типа русск. *бѡлѡй*, чакав. *bĕli* и акцентуации таких форм, как русск. *мѡкрѡй*, *ѡстрѡй*, кайков. *dŏbri* и др., не позволяют нам принять точку зрения Е. Куриловича об отсутствии интонационных различий на первоначальных краткостях, изложенную в работе «L'accentuation...» и в статье «О некоторых фикциях сравнительного языкознания» (ВЯ, 1962, 1). В то же время само допущение акцентологического механизма при объяснении возникновения интонационных различий, принимаемое Хр. Стангом и Е. Куриловичем, представляется весьма перспективным.

М. М. МАКОВСКИЙ

ПРОБЛЕМА «ГЕОГРАФИИ СЛОВ» В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Разработка методики сравнительно-исторического исследования древнеанглийских диалектов сопряжена со значительными трудностями, что становится вполне очевидным при ознакомлении с многочисленными специальными работами, посвященными этому вопросу и носящими, как правило, частный или нормативный характер¹. Прежде всего, язык отдельных древнеанглийских диалектов представлен ограниченной совокупностью известных памятников того или иного жанра, неодинаково соотносенных друг с другом по времени своего написания (или по времени возникновения дошедших до нас рукописей). В связи с этим не исключена возможность того, что наблюдаемые нами специфические черты языка отдельных дошедших до нас древнеанглийских памятников являются не диалектными, а хронологическими: они могут быть обусловлены не местным характером текстов, а различием во времени их написания.

Весьма неточной остается и ареальная локализация отдельных древнеанглийских памятников, в связи с чем традиционное деление древнеанглийских диалектов на англские, уэссекские и кентские представляется весьма относительным². При этом следует учитывать также жанровые и стилистические различия памятников, представленных в различных диалектах. Вообще в ряде случаев было бы правильнее говорить именно о языке изучаемого текста (рукописи) или автора, а не о языке диалекта: ведь дошедшие до нас памятники, естественно, не могут отражать полностью диалектную карту древней Британии. Необходимо, наконец, отметить, что в связи с ранним обособлением уэссекского диалекта и постепенным завоеванием им ведущего положения среди английских диалек-

¹ См.: H. Sweet, *Dialects and prehistoric forms of Old English*, «Transactions of the Philological society», London, 1875; A. Brandl, *Zur Geographie der altenglischen Dialekte*, «Abhandl. der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften», Jg. 1915, Philos.-hist. Klasse, Berlin, 1915; E. Ekwall, *Contributions to the history of Old English dialects*, «Lunds universitets årsskrift», XII, 6, 1916; H. M. Flasdieck, *Zur Charakteristik der sprachlichen Verhältnisse in altenglischer Zeit*, PBB, XLVIII, 1923/24, стр. 376—413; D. DeCunp, *The genesis of Old English dialects*, «Language», XXXIV, 2, 1958. Из более специальных работ назовем следующие: U. Lindelöf, *Beiträge zur Kenntnis des altnordhumbrischen*, «Mémoires de la Société néophilologique», I, Helsingfors, 1893; е р о ж е, *Die Südnordhumbrische Mundart des 10. Jahrhunderts*, «Bonner Beiträge zur Anglistik», 10, 1901; T. Kolbe, *Die Konjugation der Lindisfarne Evangelien*, Bonn, 1912; H. C. H. Carpenter, *Die Deklination in der nordhumbrischen Evangelienübersetzung der Lindisfarner Handschrift*, Bonn, 1910; A. S. C. Ross, *Studies in the accidence of the Lindisfarne gospels*, Leeds, 1937; M. Callaway, *Studies in the syntax of the Lindisfarne gospels*, Baltimore, 1913; H. Füchsel, *Die Sprache der nordhumbrischen Interlinearversion zum Johannes-Evangelium*, «Anglia», XXIV, 1, 1901; E. M. Bryan, *Studies in the dialects of the Kentish charters of the Old English period*, Menasha, 1915; R. Taxweiler, *Angelsächsische Urkundenbücher von Kentischem Lokalcharakter*, Berlin, 1906; Sh. Kühn, *A grammar of the Mercian dialect*, Chicago, 1938; I. F. Williams, *A grammatical investigation of the Old Kentish glosses*, Bonn, 1905 и др.

² Интересны указания на диалектную раздробленность языка германских завоевателей Британии: «Tota lingua Northimbrorum, maxime in Eboraco, ita stridet incondita, quod nos australes eam vix intelligere possumus: quod puto propter viciniam barbarorum contigisse» (R. Higden, *Polychronicon*, II, стр. 161); «Langage of the northrin lede, That can nan oither englis rede» («Cursor mundi», 20063—20064).

тов³ совершенно неизбежным было влияние его на другие диалекты. Так, например, нет почти ни одного кентского текста, не испытавшего уэссекского влияния. С другой стороны, в ряде уэссекских памятников явно проступают кентские и нортумбрийские диалектные черты⁴. В большинстве дошедших до нашего времени поэтических памятников, как правило, представлен конгломерат диалектных черт⁵, в связи с чем возникает вопрос о том, привнесены ли подобные явления в указанных произведениях переписчиками, происходившими из различных областей Британии, или же обусловлены диалектным смешением, которое особенно вероятно в пограничных областях.

Основными задачами при анализе древнеанглийских диалектов являются: 1) рассмотрение соотносительных связей древнеанглийских диалектов в пределах языка английской народности; 2) определение ареальной локализации древнеанглийских памятников, а также их относительной хронологии. При таком исследовании можно опираться в основном на следующие критерии: 1) показания древних хронистов и историков, 2) данные этнографии, археологии и ономастики и, наконец, 3) непосредственное изучение языковых особенностей дошедших до нас древнеанглийских памятников (при сравнении их с фактами родственных германских языков). Не ставя под сомнение научную ценность второго и третьего из этих критериев, необходимо отметить, что данные Беды и англо-саксонской хроники о германских племенах в Британии и их расселении, как показывают специальные исследования, крайне упрощены, сбивчивы и ненадежны⁶. Так, подразделив британские племена на англов (север Британии), саксов (юг Британии) и ютов (Кент, остров Уайт и часть современного графства Хэмпшир), Беда в дальнейшем отклоняется от своей классификации и, приравнивая англов к саксам, говорит лишь о «*genti Saxonum sive Anglorum*», а не о «*Anglorum et Saxonum gentes*» (*Historia ecclesiastica*, I, 22). Кентского короля Этельберта Беда называет «*regi Anglorum*». Р. Коллингвуд и Дж. Майрс считают, что абзац «Церковной истории», где Беда классифицирует германских завоевателей Британии на англов, саксов и ютов, является случайной припиской, возникновение которой относится к более позднему времени, чем написание самой «Церковной истории». Интересно, что британский хронист Гильдас за два века до Беды называл всех германских завоевателей Британии «саксонцами» («*De excido et conquestu Britanniae*», hrsg. von Th. Mommsen, Berlin, 1898), а Прокопий говорит, что завоевателями Британии были «англы и фризы» («*De bello gothico*», IV, 19). В свете современных данных истории, археологии и ономастики никак нельзя принять утверждение Беды о том, что среди германских завоевателей Британии были юты, а также о том, что Эссекс, Уэссекс и

³ Ср. В. Н. Ярцева, Об изменении диалектной базы английского национального литературного языка, сб. «Вопросы формирования и развития национальных языков» («Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», X), М., 1960.

⁴ Любопытно в качестве примера из грамматики указать на то, что апокопа конечного (флексивного) *n* (в инфинитиве, сослагательном наклонении, в слабом склонении прилагательного), которая, по общему признанию, типична лишь для английских (северных) диалектов (см. замечания А. Н а п и р а в «*An English miscellany presented to Dr. Furnivall*», New York, 1901, стр. 379 и сл.; ср. также: D. W. Reed, *The history of the inflectional n in English before 1500*, Berkley — Los Angeles, 1950), широко распространена в «*Cura Pastoralis*» (рукопись Hattori). Известно, однако, что переводчиком «*Cura Pastoralis*» был уэссекский король Альфред, рукопись Hattori происходит из Винчестера, а почерк писца свидетельствует против нортумбрийского происхождения рукописи; см. об этом во «Введении» к изданию «*Cura Pastoralis*», ed. by H. Sweet, London, 1930, стр. XXXII. Интересно, с другой стороны, что в некоторых памятниках, например, в «Диалогах Григория», мы находим черты уэссекской фонетики и английской лексики.

⁵ См.: Y. Weigh t m a n, *The language and dialect of later Old English poetry*, Liverpool, 1907; ср. R. K. G o r d o n, *Anglo-Saxon poetry*, London, 1937.

⁶ См.: C. F. B r o w n e, *The venerable Bede, his life and writings*, London, 1919; H. M. Gillet, *Saint Bede the venerable*, London, 1935.

Сассекс были заселены одним и тем же племенем саксов⁷. Вообще необходимо иметь в виду постоянные междоусобные войны британских племен и — как неизбежное следствие этого — смешение различных племен и изменение территории, занимаемой ими. Вполне понятно также, что расселение даже одного и того же племени на обширной территории могло приводить к диалектному членению языка этого племени. Таким образом, основывать исследование языков германских племен в Британии на имеющихся данных об их географическом расположении и, в частности, как это делает А. Брандл, на церковной географии (сведения Беды), вряд ли возможно.

*

При исследовании диалектных различий в определенном языковом ареале (особенно при анализе ранних памятников языка) основное внимание обычно уделяется звуковым соответствиям. Между тем исследование словаря не только может служить необходимым вспомогательным критерием при фонетическом анализе (фонетический анализ не всегда дает надежные результаты: слово, генетически являющееся неотъемлемой частью одного диалекта, нередко имеет фонетическую оболочку другого диалекта), но и представляет большой самостоятельный интерес⁸. Именно в употреблении тех или иных слов (и в особенностях их значений) в различных территориальных областях, в относительной хронологии диалектных слов и их значений, в междиалектных и интергерманских лексических и семантических изоглоссах наиболее ярко проявляется специфика различных диалектов.

С точки зрения методики исследования словаря древних диалектов необходимо иметь в виду следующее. Если те или иные слова отсутствуют в диалекте, на котором сохранилось большее количество памятников (например, по современным представлениям, в уэссекском диалекте), но встречаются в диалекте с меньшим числом письменных текстов (скажем, в английском), то такие слова с большей вероятностью можно считать присущими этому последнему диалекту. Значительно меньше вероятность того, что слова, отсутствующие в диалекте с меньшим количеством памятников, но встречающиеся в диалекте, на котором сохранилась обширная литература, типичны для этого последнего. Однако само по себе отсутствие и наличие того или иного слова в отдельных диалектных памятниках еще ничего не доказывает. Только исследование обширного фактического материала, установление лексических и семантических соответствий (или несоответствий), сравнительный анализ частотности употребления слов в различных памятниках дает возможность сделать более или менее определенные выводы. При этом, естественно, лишь те памятники имеют ценность для сравнения, территориальное происхождение и временная отнесенность которых в настоящее время в достаточной степени установлены (но не памятники, где налицо смешение разнодиалектной лексики).

Если слово встречается в нескольких самостоятельных, достаточно обширных текстах, в основном сходных по своему словарному составу и совпадающих по времени написания, вероятность того, что оно является специфичным для определенного диалекта, намного больше, чем в том случае, когда слово встречается лишь в одном памятнике (или в несколь-

⁷ Ср.: R. H. Collingwood, J. N. L. Myres, *Roman Britain and the English settlements*, Oxford, 1937, стр. 337, 346—348; R. H. Hodgkin, *A history of the Anglo-Saxons*, I—II, Oxford, 1939, стр. 92; F. M. Stenton, *Anglo-Saxon England*, Oxford, 1947; P. H. Blair, *Anglo-Saxon England*, Cambridge, 1956.

⁸ Ср.: R. Jordan, *Eigentümlichkeiten des englischen Wortschatzes*, Heidelberg, 1906; H. Rauh, *Der Wortschatz der altenglischen Uebersetzungen des Matthäus-Evangeliums*, Berlin, 1936; R. J. Mennert, *Anglian and Saxon elements in Wulfstan's vocabulary*, MLN, 63, 1948; его же, *The Anglian vocabulary of the Blickling homilies*, в сб. «*Philologica. The Kemp Malone anniversary studies*», Baltimore, 1949.

ких памятниках, часть которых относится к более раннему, а другие к более позднему периоду). Возможны следующие варианты сопоставлений:

1. Сравнивается лексика нескольких отдельных текстов (на южном и на северном диалекте), объединенных общностью сюжета и одним и тем же литературным источником.

2. Сравнивается лексика различных (южных, северных) рукописей одного и того же памятника. При этом следует учитывать, что различные рукописи того или иного памятника могут быть написаны в разное время. Практически это означает необходимость считаться с тем, что при переписке рукописи архаические слова могли заменяться более новыми лексемами того же диалекта (возможна также замена неустаревших слов синонимами из того же диалекта) или соответствующими словами диалекта, родного для переписчика рукописи⁹. Однако подобные замены осуществлялись далеко не последовательно, вследствие чего, например, при переписке памятника на английском диалекте в уэссекские рукописи часто проникали английские слова, которые, несмотря на свою неупотребительность в этом диалекте, не были ему абсолютно чужды. Здесь важен материал следующих памятников: а) перевод «Церковной истории» Беды (наиболее ранняя рукопись С относится к концу X в. и близка к мерсийскому оригиналу; в рукописи В наиболее последовательно отражены черты фонетики и лексики уэссекского диалекта); б) «Диалоги Григория». Важно сравнение рукописей С и О с частично сохранившейся рукописью Н (все рукописи относятся к XI в.); в) «*Martyrologium*». В рукописи С, которая относится к несколько более позднему времени, чем рукопись В (начало X в.), английские слова оригинала заменяются уэссекскими.

3. Исследуется лексика значительного по объему памятника, сохранившегося лишь в одной рукописи. Лексика этого памятника сопоставляется не только с лексикой различных памятников на других диалектах, но и с лексикой памятников родственных древнегерманских языков.

Важно иметь в виду следующее обстоятельство. Период расцвета древнеанглийской литературы охватывает несколько столетий. Вполне понятно, что ряд слов, бывших общеанглийскими на определенном этапе развития языка, могли сохраняться лишь в одном из диалектов, хотя такие слова могут еще пережиточно встречаться в текстах, написанных на диалектах, в которых в изучаемый период эти слова уже вышли из употребления или находились в процессе отмирания. Проникновению английских слов в уэссекские тексты и наоборот могли способствовать, очевидно, частые странствия монахов-переписчиков по монастырям различных областей Британии. Если при этом принять во внимание неизбежность взаимопро-

⁹ Ср., в частности, в «Диалогах Григория» [издание «*Bischofs Waerferth von Worcester Übersetzung der Dialoge Gregors des Grossen*», hrsg. von H. Hecht («*Bibliothek der ags. Prosa*», IV), Berlin, 1900] использование английских (по рукописи С далее — DG₁) и уэссекских (по рукописи Н далее — DG₂) слов: DG₁ 137, 29 *frignung* (DG₂ *azung*) «quaestio»; DG₁ 145, 18 *þreaunge* (DG₂ *ceast*) «incredatio»; DG₁ 52, 23 *clif* (DG₂ *clud*) «rupes»; DG₁ 135, 8 *geneþan* (DG₂ *gedyrstlæcan*) «praesumere»; DG₁ *ongæt* (DG₂ *gefredan*) «sentire»; DG₁ 65, 23 *sceat* (DG₂ *greada*) «sinus»; DG₁ 79, 11 *huhugu* (DG₂ *neallice*) «tere»; DG₁ 74, 21 *weorod* (DG₂ *truma*) «acies»; DG₁ 101, 7 *geþreodian* (DG₂ *oferswydan*) «deliberare»; DG₁ 21, 28 *astillan* (DG₂ *aræsan*) «prosilare»; DG₁ 158, 15 *winnan* (DG₂ *swincan*) «laborari»; DG₁ *dædbote* (DG₂ *hreowsung*) «poenitentia»; DG₁ 117, 28 *blæse* (DG₂ *leohlfæt*) «lucerna»; DG₁ 64, 13 *nyðniman* (DG₂ *stræc*) «violare»; DG₁ 85, 9 *medmicel* (DG₂ *gehwæde*) «parvus»; DG₁ 28, 28 *broga* (DG₂ *hream*) «terror»; DG₁ 156, 6 *geornnes* (DG₂ *onhrop*) «nimietas»). При исследовании географии слов большую ценность представляют глоссы, в которых одному латинскому инварианту (лемме) соответствуют два (или более) диалектных варианта (синонима) одного и того же слова. Необходимо, однако, учитывать графические ошибки древнеанглийских глоссаторов, частично обусловленные неверным написанием и многозначностью латинских инвариантов, что значительно затрудняет понимание семантики и диалектной принадлежности многих древнеанглийских слов. Ср.: J. J. Quinn, *Ghost words, obscure lemmata and doubtful glosses in Latin-Old English glossary*, «*Philological quarterly*», 1961, 40, 2; A. S. C. Ross, *A theory of emendation*, «*Speculum*», IX, 2, 1934.

пикновения диалектных слов вследствие литературного влияния и также указанную выше возможность сохранения диалектных слов при переписке той или иной рукописи на другой диалект, становится ясным, что наличие специфических слов одного диалекта в памятниках на другом диалекте никак не «нейтрализует» диалектную окраску этих слов и отнюдь не означает, что указанные слова не были типичны для данного диалекта. Решающее значение для определения диалектного характера лексики памятников имеет исследование не отдельных слов, а всей поддающейся выделению лексики одного диалекта, с которой в дальнейшем и следует сравнивать лексику памятников другого диалекта (или, по крайней мере, считаемых таковыми). Большую помощь при выделении специфических диалектных слов может оказать сравнение древнеанглийских текстов со среднеанглийскими диалектными текстами, сохраняющими старую диалектную лексику, а также с современным диалектным материалом ¹⁰.

При этом диалектные особенности (в том числе и словарные) никак нельзя рассматривать как сумму случайных отклонений от общей нормы, ибо они представляют собой систему исторически сложившихся закономерностей. Конечно, при этом нельзя не учитывать определенную общность родственных диалектов. Безусловно также и то, что ареал распространения того или иного слова с древнеанглийского периода до наших дней мог претерпеть значительные изменения. Однако в тех случаях, например, когда какое-либо слово в древнеанглийский период встречается только в памятниках английского диалекта (особенно слова, отмеченные один или несколько раз в памятнике, представленном единичной рукописью) и одновременно засвидетельствовано только в северных диалектах современного английского языка, это слово с большой вероятностью можно считать исконно английским ¹¹. При сравнении древнеанглийских текстов со среднеанглийскими памятниками (в них часто сохраняется старая диалектная лексика) нельзя забывать, что реальное диалектное членение английского языка в древний и средний период не является полностью идентичным. Например, такой текст из Вустешпира, как «*Launton*», в среднеанглийских грамматиках обычно относят к южным текстам; однако лексика, грамматика и фонетика этого памятника недвусмысленно свидетельствуют о его английском происхождении ¹².

Необходимо иметь в виду, что ряд слов, распространенных в древнеанглийских диалектах, уже к среднеанглийскому периоду вышел из употребления и был заменен другими словами. Естественно в связи с этим, что для ряда древнеанглийских диалектных слов нельзя найти соответствий ни в среднеанглийских, ни, тем более, в новоанглийских диалектах. Таковы, например, древнеанглийские глаголы *basnian*, *bregan*, *breman*, *frodian*, *hremman*, *leoran* и др.

Немаловажную роль при рассмотрении интересующих нас проблем играет учет автохтонного или переводного характера языка привлекаемого для сравнения памятника, а также его жанрового характера. При исследовании переводных памятников важно учитывать структурные и семантические изменения лексики под влиянием оригинала ¹³, а также

¹⁰ Ср. «English dialect dictionary», ed. by J. Wright, I—VI, Oxford, 1898—1906 (далее — EDD).

¹¹ См. об этом: М. М. Маковский, Структурные особенности современных английских диалектов, «Ив. яз. в шк.», 1961, 5.

¹² См. R. Jordan, Die mittel-englischen Mundarten, «Germanisch-romanische Monatsschrift», Jg. II, Heidelberg, 1910; M. S. Serjeantson, Distribution of dialect characteristics in middle English, Amsterdam, 1924; S. Moore, S. B. Meech, H. Whitehall, Middle English dialect characteristics and dialect boundaries, в сб. «Essays and studies in English and comparative literature», Ann Arbor, 1935; O. S. Arngart, Middle English dialects, «Studier i modern språkvetenskap», XVII, 1949.

¹³ Ср. S. Kroesch, Semantic borrowing in Old English, «Studies in English philology. A miscellany in honour of Frederick Klaeber», Minneapolis, 1929.

известную «скованность» словаря, особенно вследствие строгого соблюдения принципа рекуррентности в некоторых памятниках религиозного жанра ¹⁴. Речь идет о переводе одной и той же латинской формы определенным для каждой рукописи древнеанглийским словом. Ср., например, в «Диалогах Григория»: лат. *studium* — *bigeng* (рпк Н), *teolung* (рпк С); лат. *disponere* — *gefeohian* (рпк С), *gedihtnian* (рпк Н); лат. *finiri* — *geswican* (рпк С), *geendian* (рпк Н). Для переводных памятников (особенно для рукописей, переписанных с других рукописей) также характерно неупотребление многозначных слов; ср., например, в «Диалогах Григория»: *feorh* (рпк С; в рпк Н всюду *sawol*) — лат. *vita, anima*; *glig* (рпк С; в рпк Н всюду *sweg*) «радость, музыка»; *þearf* (рпк С; в рпк Н всюду *neod*) «нужда, выгода, отчаяние»; *seape* (рпк С; в рпк Н всюду *weorðe*) «скот, богатство».

Особенно трудно провести строгую грань между исконно диалектными словами и лексикой, заимствованной диалектами из других родственных языков. С одной стороны, лексические параллели не обязательно обуславливаются заимствованием, а могут объясняться генетической общностью словаря рассматриваемых языков или диалектов, а также сходным независимым развитием их словарного состава. С другой стороны, фрагментарность текстов часто не позволяет сделать решительных выводов ни за, ни против заимствованного или исконного характера древнеанглийской лексики ¹⁵.

*

Не задаваясь целью в одной статье провести фронтальный сравнительный анализ диалектной лексики всех или большинства древнеанглийских памятников, мы делаем попытку: 1) выделить некоторые наиболее специфические элементы лексики северных диалектов древнеанглийского языка ¹⁶; 2) проверить их наличие в памятниках, лексика которых обычно считается бесспорно уэссекской, особенно в памятниках, сохранившихся в нескольких рукописях (привлекается в основном материал «Диалогов Григория»). Исследуемые слова приводятся в алфавитном порядке, при-

¹⁴ См. М. М. Маковский, Пути реконструкции прототипа готских текстов, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XXVI, 1961.

¹⁵ Ср.: Н. Gneuss, *Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen*, Berlin, 1955; M. S. Serjeantson, *A history of foreign words in English*, London, 1935; D. Hofmann, *Nordisch-englische Lehnbeziehungen der Wikingerzeit*, København, 1955.

¹⁶ В качестве наиболее надежного английского материала, на основе которого производится выделение этих элементов, берутся следующие памятники: *The Lindisfarne and Rushworth gospels* [далее соответственно — Lind, R (R₁ и R₂)], «Publications of the Surtees Society» (далее — PSS), London, 28—1854, 39—1861, 43—1863, 48—1865; *The Vespasian Psalter* (далее — Ve. Ps), в кн. «The Oldest English texts» ed. by H. Sweet — EETS, 83, Oxford, 1957; *The Corpus Glossary* (далее — CP), там же; *The Epinal Glossary* (далее — Ep. Gl), там же; U. Lindelöf, *The Lambeth Psalter* (далее — Lamb. Ps), «Acta Societatis Scientiae Fennicae», XXXV, 1, XLIII, 3; *The Lindisfarne Psalter*, Canterbury, Junius, Paris, Spelman Psalters (далее — Ps. Cant, Jun, Par, Spm), в кн. J. Stevenson, *Anglo-Saxon and early English psalters*, PSS, XVI — 1843, XIX — 1847 (ср. специальное исследование: K. Wildhagen, *Studien zum Psalterium Romanum in England und zu seinen Glossierungen*, Halle, 1913); *Rituale Ecclesiae Dunelmensis* (далее — Rtl), PSS, 10, 1839 (новое издание — CXL, 1927); для сравнения приводим также: G. Herzfeld, *An Old English martyrology* (далее — Mart), EETS, 116, 1900; «The Old English version of Bede's ecclesiastical history of the English people» (далее — Bd), ed. by Th. Morris, EETS, 95 — 1890, 96—1891, 110—1898, 111 — 1898 (ср. M. Deutschbein, *Dialektisches in der ags. Übersetzung von Bedas Kirchengeschichte*, PBB, XXVI, 2, 1901; F. r. Kläber, *Zur altenglischen Bedauübersetzung*, I — «Anglia», XXV, 3, 1902, II — XXVII, 2, 1904); Aelfrics «De vetero et novo testamento» and «The book of judges» (далее соответственно — Aelf. Test и Aelf. Judg), ed. by S. J. Crawford, EETS, 160, 1922; Aelfrics «Lives of Saints» (далее — Lives), EETS, 76 — 1881, 82—1885, 94—1890, 114—1900; «The Blickling homilies of the tenth century» (далее — Bl. Hom), EETS, 58 — 1875, 63—1876, 73—1880; «The Rule of St. Benet» (далее — R. Ben), EETS, 90, 1880.

чем в тех случаях, где не указаны уэссекские соответствия, таковые вообще отсутствуют в древнеанглийской литературе. Памятники при анализе приводятся в хронологической последовательности.

*

Arg Значение этого слова в Lind не засвидетельствовано ни в одном из др.-англ. памятников. Cp. Mt 12, 39: *arg* = лат. *adultera* и Mk 8, 38: *in cneoreso ðas ðerne-leger I arg* (лат. *in generatione ista adultera et peccatrice*); Lk, Pref 8, 17 (= лат. *luxurioso*). J, Pref 5, 8 (*argscipe* = лат. *adulterio*). Cp. совр. исл. *argur* «parrelysten», «brunstig» (Blöndal, *Islandsk-dansk Ordbog*, s. v. *argur*, 3); совр. сев.-англ. диал. *arg* «eager» (EDD, I, стр. 68).

Aðwa (лат. *lavare, rigare, ungere*): Lind, J 9, 7; 9, 11, 15; J 13, 8; 10, 14; J 12, 3; Lk 7, 38, 44, 46; Mk 7, 3 (*geðwa*); R₂, J 9, 7; 13, 14; проз. перевод Guðl. 48, 19; 238, 23; 284, 23; Ve. Ps 6, 7; 24, 6; 50, 4; Lamb. Ps 50, 9; Bl. Hom 149, 6 (*ðwa, þwean*); в поэт. произвед. — Cri 1321 (*þwean*), Beda 1, 7, 27; ср. также: Aelf. Test (*aðwean*) 23, 176; Lives 5, 126; 27, 194; Bd. 4, 13. В поздних уэссекских текстах: J 13, 10; 12, 14; Lk 3, 12, ср. гот. *þwahan*; ст.-исл. *þvá*; др.-сакс. *thwahan*; дрвнем *dwahan*.

Ateownys (лат. *manifestatio, experimentum, argumentum, ostensio*): Lind, Lk 2, 32; J 1, 21; 1, 1; 8, 1; R₂, Lk 1, 80; 2, 32; Mart 48, 9—15; проз. перевод Guðl 140, 21; DG₁ 77, 3 (DG₂ *boung*), Aelf. Hom 30, 56.

Awaegan (лат. *eludere, frustrari*): R₁, Mt 2, 16; An 1444; Aelf. Test 411, 7; Lives 2, 225; 26, 269; *wægan*: Lind, Mt 5, 11; Bd 4, 32. В уэссекском *ræsan*.

Bebeodan в значении «commendare» (в уэссекских документах имеет только значение «to order»): Lind, Mt 15, 9; Mk 7, 8; Ve. Ps и Ps. Splm 30, 6; Ps. Par 132, 4; Bd. III, 1976 (в ркп. O, C: *befðestan*); Bl. Hom 47, 19; 145, 31. Cp. совр. сев.-англ. диал. *to bed* «to offer».

Bensian (др.-англ. *ben + sigan* = ст.-исл. *bon + siga*), *boensendu* (лат. *petens*): R₂, Mt XX, 20; Rtl 39, 36; 40, 5; 41, 23; 51, 29; 80, 9; 93, 17; Bd. 3, 12; 4, 25; 5, 6. Cp. совр. сев.-англ. диал. *to bense* «to supplicate».

Bigeng (лат. *cultus*): Lind, Lk 13, 7; R₂, Lk 13, 7; 20, 10; Ph 148; Guðl (встречается 10 раз); Aelf. Test. 33, 431; Aelf. Hom IV, 72, 109; IX, 122; XI, 122. В уэссекском встречается только в поздней литературе (R. Ben 3, 7; 5, 10).

Bisene (лат. *caecus*): Lind, Mt 9, 27; 9, 28; 11, 5; DG₁ 77, 28 (DG₂ *blindan*); 275, 3 (DG₂ *blind*); ср. гот.* *bi-siuns*; ср. в совр. сев.-англ. диал. (к югу от Нортумберленда): *bysen, bisson* «blind». Интересны примеры из Шекспира: Coriolan, II, 1, 70: «beesome conspectuities»; Hamlet, II, 2, 529: «with bisson rheume». В уэссекском находим только *blind*.

Berg (лат. *porcus*): Lind, Mk 5, 11; Lk 8, 32; Mt 1, 13, 17; 1, 6, 18; Mk 5, 12; 5, 13; 5, 16; 1, 3, 6; Lk 1, 5, 19; 8, 33; Mt 7, 6; Mk 5, 10: *berga* (вариант *swina*); Aelf. Glossar, стр. 309: лат. *maialis* = *bearh*. Cp. дрвнем. *barc, barh*. Cp. совр. сев.-англ. диал. *barge* «a great fat hog» (EDD, I, стр. 163).

Blinna (лат. *cessare, sinere, refrigescere*): Lind, Mt 4, 39; Mt 24, 12; Lk 7, 45; Mk 4, 39: *blann* (вариант *ræste*) — лат. *cessavit*; Ve. Ps 36, 8; Bd 1, 8; 3, 20; 5, 1; 5, 6. Cp. ср.-англ. *blinne* (G. Chaucer); ср. совр. сев.-англ. диал. *blin, blean, lin* «переставать» (EDD, 1, стр. 298; III, стр. 610).

Bya 1) лат. *habitare*: Lind, J 1, 38; Mt 13, 32; Lk 13, 4; Mk 4, 32: *bya* (вариант *wunia*) — лат. *habitare*; в поэт. произв. — B 3065; Gen 239, 735; Dan 693; 2) лат. *possidere*: Lind, Mt 25, 34; *byes* (вариант: *agneges*) *gegearwað iuh ric* (possidete). Cp. Mt 19, 29, Lk 10, 25, а также ср.-англ. *big* (*bigge*); совр. сев.-англ. диал. *to big* «to dwell»; ст.-исл. *būa*, дрв. нем. *būan*; др.-фриз. *buwa, bowa*; гот. *bauan*.

Byme (Lind *beama*, *bema* = лат. *tuba*): Lind, Mt 24, 31; Mt 6, 2; *beme* — Ve. Ps 46, 6; CP 571 (= *concha*); 2015 (= *thessera*); в поэт. произв. — Exod 132, 160; 216, 222; Cri 882, 1062; Dan 179, 192; Mt 4, 2: *bema* (вариант *stocc*) — лат. *tuba*; Aelf. Judg 407, VII, 16; Wulfstan 183, 10; 186, 7. Ср. ср.-англ. *bemen*, *beomen* (Layam).

Carr (лат. *petra*): Lind, J 1, 42; Mk 15 46; Mt 7, 24: *carr* (вариант *stan*) — лат. *petram*. Ср. совр. сев.-англ. диалект: *carr* «а rock»; шотл. *cairn*, уэльск. *carn*¹⁷.

Dian, Deon (лат. *lactare*): R₁, Mt 21, 16 *gedia* (лат. *sugere*); Lk 11, 27; Ve. Ps 8, 3 *milcdeondra* (*lactantium*), Ps. Jun *meolc-teondra*, но Ps. Splm *sucendra*, Ps. Cant *sukendre*, Ps. Par *þe meolc sucaþ*. В уэссекских памятниках находим только *susan*. Ср. ст.-дат. *di*, дат. *die*; ст.-швед. *dia*; совр. швед. *dia*, *di* «сосать»; гот. *daddjan*.

Degle (лат. *occultus*, *absconditus*): Lind, J 19, 38; Mk 4, 22; Lk 8, 17; Mt 13, 33: *gehydde* (вариант: *degelde*); Ve. Ps 43, 22; Ve. Hymns 13, 24; Bd 3, 14; 3, 27; в поэт. произв. — Elen 340, 541; B 1357; Dan 130. Ср.-англ. *digelliche* (Layamon); совр. сев.-англ. диал. *to deegle* «to purloin» (EDD, II, стр. 48).

Draga Только в Lind встречается в значении «pati»: Mt 9, 20: *gedolade* (вариант: *gedrog*) = лат. *patiebatur*; ср. в ср.-англ. «Cursor Mundi» (ркп Cotton) 1, 16987 (*drou*); ср. совр. сев. англ. диал. *drag* «toil» (EDD, II, стр. 153).

Eca (лат. *addere*): Lind, Mt I, 1, 9 (*geeca* = лат. *addere*, *adjicere*, *augere*), Lk 12, 25, Mk 4, 24, Mt I, 22, 1; Ve. Ps: 40, 9; 70, 19; 104, 24; 60, 7; 113, 14 (*to-geecan*); 68, 27 (*to-ecan*). Ср. в поэт. произв. — B 3330; Cri 38; ср. ср.-англ. *echen*, *eche*, *eeche*; ср. совр. сев.-англ. диал. *to eke* «to increase», гот. *aukan*, швед. *öka*, исл. *auka*, дат. *øge*.

Eþian (лат. *spirare*): DG₁ 146, 12; 146, 14; 264, 20 (DG₂ *orþian*); *geeþian* DG₁ 146, 14 (DG₂ *orþian*); Aelf. Judg 404, IV, 19. Ve. Ps 17, 16 *oneoþunge* = лат. *inspiratione* (Ps. Jun: *oneþunge*, Royal Ps: *oneþgunge*, Ps. Cant: *eþgunge*, но Ps. Splm *orþunge*); Mart (ркп B) 66, 22. В уэссекском всюду *orþian*.

Fracof (лат. *contumelia*). Lind, Mk 22, 6 (уэссек. *teona*); Lk 16, 15 (уэссек. *asceonung*); DG₁ 21, 34 (DG₂ *teona*); Wulfstan 54, 7; 240, 24; Aelf. Test (*fraced* = лат. *detestabilis*): 64, 1081. В поэт. произв. — Cyn. Jul 71, 541; прилагательное *fracof* является общедревнеанглийским.

Frofrían (лат. *reficere*, *consolare*): Lind, Mt 11, 28; J 11, 19; Mt 5, 4; Lk 16, 25; проз. перевод — Guðl 171, 11; Ve. Ps 22,4; 68, 21; 85,17; 118, 50; 125, 1. В поэт. произв. — Cri 1341; Wand 28; Andr 367; Aelf. Test 68, 1143. В поздних уэссекских памятниках — J 11, 19, 31. Ср. ср.-англ. *freuerede* (Layamon); *frofren* (Orm).

Groeta (в значении «torquere»): Lind, Lk 8, 28: *ic bidde ðe ne mec wrowiga* (вариант: *þte ða gegroeta*, вариант: *pinia*); ср. совр. сев.-англ. диал. *to greet*.

Hatian (лат. *aestuarie*): Ve. Ps 38, 4; Ep. Gl 206: *haetendae* (лат. *calentes*); Bd 1, 27; DG₁ 64, 2 (DG₂ *þefian*); R₂, Mt 13,6.

Herenes (лат. *favor*, *laus*): Lind, Mt 1, 6, 10; Mt I, 17, 7 (уэссек. *lof*); Lk I, 6, 17; CP 824; DG₁ 62, 22 (DG₂ *lof*); 59, 29 (DG₂ *wyrþmynd*); Wulfstan 265, 14. В поэт. произв. — Cri 415; Guðl 588. Ср. ср.-англ. *herie*. *herry*; гот. *hazjan*.

Holunga (лат. *incassam*): Lind, Mt 15, 9; Bd 2, 20; 2, 15; Ep. Gl 683; DG₁ 25, 25 (DG₂ *on idel*). Ср. в различных рукописях проповеди Алкуина «De virtutibus et vitiis liber» (конец XI в.): 1) ркп Tib. A III *holunga*; 2) ркп Vesp. D XIV *on idel* («Anglia», XI, стр. 43). Bd. 184, 21; 555, 1; в поэт. произв. — B 1076; Gen 997. Ср. гот. *holon*, ст.-исл. *höl*.

Hleoþr (лат. *sonus*): DG₁ 52, 23 (DG₂ *sweg*, уэссек. *sweg*); 99,5; 284, 24; 286, 2; *hleofþrian*: DG₁ 144, 34 (DG₂ *swegan*); 99,5; 284, 24; Lamb. Ps 146, 7; Ps. Splm 17, 5; 82, 2; 150, 5; CP 1065 (= лат. *increpitans*); Ep. Gl 508; Ve. Ps 17, 14; 28, 3; 45, 4; 57, 3; 82, 3.

Leoran (лат. *proeterire*, *obire*, *transire*): Lind, Mt 24, 34; Mk 13, 30; Lk 21, 32; Mt 24, 35; Lk I, 2, 4; Mk 15, 44; Bd 146, 21 *geleorde* (ркп Т; ркп В *gewende*); 174, 16 *leorde* (ркп Т; ркп В *becom*, ркп О *ferde*); 198, 10 *leoran* (ркп Т; ркп В *gewitan*, ркп О *faran*); 244, 15 *leorde* (ркп Т; ркп О *ferde*); Ve. Ps 17, 13; 36, 36; 56, 2; 61, 7; 72, 9; 88,42; 89, 6; Royal Ps 56, 2; 148, 6; Ps. Cant 100, 3; 118, 119; DG₁ 138, 29 (DG₂ *farad*); 161, 27. Ср. В 752, 761, 804. Ср. швед. диал. *lūra*, *lora*, *lurka*.

Lufu (в значении «fides»): Lind, Mt, Pref 1, 12; 6, 9; 14, 5; 14, 10; 15, 28; 19, 19; Mk, Pref 1, 20; ср. гот. R XV, 13: *iþ guþ lubainais fulljai izwis* (греч. ὁ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς...).

Rec (лат. *fumus*): Lind, Mt 12, 20 *recende* (вариант: *smecende*) — лат. *fumigans*; Bd III, 1803 (ркп Т; ркп С *smic*); Ve. Ps 17, 9; 36, 20; 67, 3; 101, 4; ср. совр. сев.-англ. диал. *to reek*.

Risa (в значении «to sieze»): R₂, Mt 7, 15; Bd. 1, 34; *gerisa*: R₂, Mt 11, 12; 13, 19; Bd 4, 19. В уэссекских памятниках встречается только в значении «to rise», «to be fitting».

Sæcga (в значении «tacere»): Lind, Lk, Pref 10, 3; ср. в совр. англ. диал. *to say* «to silence»: «Will nothing say thee?» (EDD, V, стр. 229).

Stefn (лат. *vox*): Lind, Mt 3, 17; Mk 1, 11; Lk 23, 23; J 10, 4; Lk 17, 13; Ps. Splm 18, 3; Bl. Hom 19, 9; 87, 3; в поэт. произв. — Exod 462; Cri 1062; Gen 27, 22; ср. совр. сев.-англ. диал. *stevvon*, *steven* («voice»); гот. *stibna*, швед. *stämma*, дат. *stemme*.

ðreat (лат. *turba*): R₂, Mk 8, 2; Lk 3, 10; Rtl 95, 6; Ve. Ps 67, 14; 149, 3; 150, 4; Bd 4, 7; 4, 23; Bl. Hom 11, 12; 95, 6; 99, 35; в поэт. произв. — Sat 388; Cri 928; El 329; B 2406, 4803; Jud 164.

М. В. РАЕВСКИЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ФОНЕМЫ /š/ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В СВЕТЕ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ

Обычно возникновение фонемы /š/ в немецком языке рассматривается как результат действия определенного фонетического закона, согласно которому к началу средневерхненемецкого периода группа /sk/ дала пипящий звук /š/, а к концу этого периода в /š/ перешло в определенных позициях и старое германское /s/. Однако формулы типа др.-в.-нем. *sk* > ср.-в.-нем. *sch* и ср.-в.-нем. *s* > позднеср.-в.-нем. *sch* лишь констатируют сам факт перехода одних звуков в другие¹. Они не объясняют, почему возникает совершенно новый для немецкого языка звук, ставший самостоятельной фонемой, и как повлияло возникновение новой фонемы на всю систему согласных.

Первый вопрос носит в значительной мере общий характер, так как /š/ — новый звук не только для немецкого, но и для английского, а также для континентальных скандинавских языков, в которых он возник уже в письменный период их истории. Более того, /š/ — звук вторичного происхождения и для всех тех индоевропейских языков, в которых он имеется, так как в общиндоевропейском языке его не было². Можно предположить, что состояние системы согласных в верхненемецких диалектах позволяло в данный период возникнуть новому различительному признаку, а с ним и новой фонеме без существенной перестройки корреляций внутри системы. Однако известная перестройка все же должна была произойти и действительно произошла, поскольку новая фонема образовала и новые противопоставления, которые должны были быть согласованы с уже имевшимися старыми. Что это действительно так, показывает анализ становления фонемы /š/ и ее взаимоотношений с переднеязычными фонемами фрикативного ряда³.

Итак, первым и наиболее ранним процессом, приведшим к возникновению фонемы /š/, явилось упрощение группы согласных /sk/, посившее ассимилятивный характер и свойственное, кроме немецкого языка, английскому и частично норвежскому и шведскому языкам, а также в своей начальной ступени — и голландскому языку. Это упрощение, однако, не следует рассматривать как случайное комбинаторное изменение, подобное, например, ассимиляции типа др.-в.-нем. *einber* > ново-в.-нем. *Eimer* «ведро». В какой-то мере оно несомненно было обусловлено большой частотностью группы /sk/⁴. Анализ материала «Средневерхненемецкого карманного словаря» М. Лексера⁵, показывает, что только в начале сло-

¹ См., например, Н. Е h l i n g e r, *Geschichtliche deutsche Lautlehre*, München, 1941, стр. 36.

² Так, в славянских языках /š/ возникает еще в общеславянскую эпоху; в романских — на почве каждого языка по-разному и в разное время после распада народно-латинской языковой общности.

³ Взаимоотношения /š/ с остальными согласными фонемами здесь не рассматриваются, поскольку, как будет показано ниже, /š/ вызвало изменения лишь в серии фрикативных фонем.

⁴ См. А. М а р т и н е, *Принцип экономии в фонетических изменениях*, М., 1960, стр. 192, а также см. G. Z i p f, *The psychobiology of language*, Cambridge (Mass.), 1935, стр. 102—104.

⁵ М. L e x e r, *Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch*, Leipzig, 1956.

ва *sch* < *sk* встречалось примерно в 700 корневых и производных немецких словах. Интересно, что группа /sk/ упрощается или развивается в аналогичном направлении в определенных позициях и в других индоевропейских языках (славянских, романских) ⁶.

А. Мартине рассматривает переход /sk/ в /š/ в немецком языке как пример катализа, ставя этот переход в зависимость от шипящего характера старого *s* ⁷. Вряд ли можно согласиться с такой интерпретацией перехода /sk/ в /š/, так как исконное немецкое *s*, несмотря на шепелявую окраску, предполагаемую для него с достаточной вероятностью, все же оставалось в течение длительного времени свистящим звуком, отличным от /š/ ⁸. Ведь слияние артикуляций, необходимых для произнесения группы /sk/, обогатило немецкий язык новым различительным признаком, характерным только для одной фонемы. Между тем катализ в понимании А. Мартине предполагает именно слияние двух фонем, дающее артикуляторную экономию без ущерба для потребностей общения.

Таким образом, к началу средневерхненемецкого периода ряд фрикативных фонем пополнился новой (третьей по счету) переднеязычной фонемой, которая противопоставлялась в первую очередь двум другим переднеязычным фонемам, наиболее близким ей антропофонически: старому германскому *s* (апикальному /s/) и возникшему в результате верхненемецкого передвижения согласных *z* (дорсальному /ʒ/) ⁹.

В советской германистике нет единого мнения в оценке взаимоотношения этих двух звуков. В. М. Жирмунский считает их двумя типами спираанта *s* и в то же время отмечает последовательное их различение в написании и произношении, тем самым указывая на фонематичность различия между ними ¹⁰. О. И. Москальская рассматривает *s* и *z* как различные фонемы ¹¹. Н. И. Филичева полагает, что оба эти звука являются вариантами одной и той же фонемы ¹². Из последних зарубежных работ, в которых рассматривается соотношение *s* и *z*, следует назвать статьи М. Джуза и В. Моултона, где эти звуки трактуются как разные фонемы ¹³.

В данной статье оба звука также рассматриваются как две различные фонемы. В пользу именно такой их оценки говорит то обстоятельство, что в средневерхненемецком *s* и *z* различали в ряде позиций довольно большое число квазимонимов. Ср. *rîsen* «двигаться (вверх или вниз)» — *rîzen* «рвать»; *gras* «трава» — *graz* «побеги, молодые ветви»; *âs* «мертвечина» — *âz* «корм, пища» и т. д.

Рассмотрим те позиции, в которых переднеязычные фрикативные фонемы могли стоять в начале средневерхненемецкого периода, и сопоставим их:

1) старое /s/ могло стоять в начале слова перед гласной (*sagen* «говорить»), в начале слова перед согласной (*snê* «снег»), в середине слова между гласными (*blâsen* «дуть»), после согласной (*hecse* «ведьма») и перед согласной (*list* «искусство»), в удвоении (*wissen* «знали» — 3-е

⁶ См., например, соответствующие разделы в книгах: А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. 1, М., 1951; Э. Бурсье, Основы романского языкознания, М., 1952.

⁷ См. А. Мартине, указ. соч., стр. 122—123, 192.

⁸ См.: В. М. Жирмунский, История немецкого языка, М., 1956, стр. 119; С. Карстие, Historische deutsche Grammatik, I, Heidelberg, 1939, стр. 123, 138—139; Г. Ейс, Historische Laut- und Formenlehre des Mittelhochdeutschen, Halle (Saale), 1958, стр. 72—74.

⁹ О произношении *s* и *z* см.: М. Јоос, The medieval sibilants, «Language», XXVIII, 2, 1952.

¹⁰ В. М. Жирмунский, История немецкого языка, стр. 119, 139; его же, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 329 и сл.

¹¹ О. И. Москальская, История немецкого языка, М., 1959, стр. 73.

¹² Н. И. Филичева, История немецкого языка, М., 1951, стр. 168.

¹³ М. Јоос, указ. соч.; В. Г. Моултон, The stops and spirants of Early Germanic, «Language», XXX, 1, 1954.

лицо мн. числа претерита), в конце слова после гласной (*grûs* «ужас») и после согласной (*hals* «шея»);

2) перебойный спирант /s/ мог стоять в середине слова между гласными (*krîzen* «громко кричать») и крайне редко — после согласной (*hirzîn* «олений»); в удвоении (*bîzze* «кусок»), в конце слова после гласной (*lûz* «укрытие, засада») и крайне редко — после согласной (*hirz* «олень»);

3) новая фонема /š/ могла стоять в начале слова перед гласным (*scheiden* «отделить, разделить»), в начале слова перед *r* (*schrîten* «шагать»), в середине слова между гласными (*wischen* «тереть, чистить») и редко — после согласной (*mensche* «человек»); в конце слова после гласной (*frisch* «свежий») и редко — после согласной (*wunsch* «желание»).

Можно представить соотношения позиций, в которых встречались эти фонемы в виде таблицы, где *a* — любая гласная, а *t* — любая согласная, кроме /s/, /s/, /š/ ¹⁴. Целесообразно представить позиции фонем в следующем порядке: в начале слова перед согласной, в начале слова перед гласной, между гласными, в удвоении, в конце слова после гласной, в середине слова после согласной, в конце слова после согласной и перед согласной (в скобках даны редко встречающиеся позиции):

šr-	st-	—
ša-	sa-	—
-aša-	-asa-	-asa-
—	-assa-	-assa-
-aš	-as	-as
(-tša-)	-tša	(-tsa)
(-tš)	-tš	(-ts)
—	-st	—

Что же изменилось во взаимоотношениях переднеязычных фрикативных фонем после возникновения /š/? В древневерхненемецком /s/ противопоставлялось регулярно /š/ в трех позициях: внутри слова между гласными, в удвоении и в конце слова после гласной; в остальных позициях оно противопоставлялось другим фрикативным фонемам: /f/, /h/ (ср. *hilfa* «помощь», *bîfelhan* «доверять» и т. д.).

В средневерхненемецком противопоставления /s/ и /š/ сохраняются, но к ним добавляются следующие: в позициях внутри слова и в конце слова после гласной /s/ и /š/ противопостоят не только друг другу, но и новой фонеме /š̥/; в позициях в начале слова перед гласной /s/ противопостоят не только /f/ и /h/, но и новой фонеме /š̥/; в позициях в начале слова перед согласной (/l m n w p t/) /s/ противопостоят не только /f/ перед /l/, но и новой фонеме /š̥/, встречающейся, правда, только перед /r/.

Анализ артикуляторно-акустической стороны взаимных противопоставлений /s̥ s̥ š̥/ дает следующие результаты.

1. В артикуляционном отношении противопоставления /s/ — /s̥/, /s/ — /š̥/ и /s̥/ — /š̥/ обладали достаточной различительной способностью, так как при произнесении каждого из этих звуков органы речи принимали различный, не смешивающийся с прочими уклад (в одном случае артикулирует кончик языка, в другом — передняя часть спинки языка, в третьем — передняя и задняя часть спинки языка).

2. В акустическом отношении эти противопоставления были неравноценны, так как акустические эффекты при произнесении /s/, /s̥/ и /š̥/, а следовательно, и слуховые восприятия этих звуков, по-видимому, различались не так четко, как соответствующие им артикуляции. Наиболее четко различались противопоставления /s/ — /s̥/ (апикальный свистящий — дорсальный свистящий) и /š̥/ — /s̥/ (шипящий — дорсаль-

¹⁴ Исключение из принятых обозначений сделано лишь для /r/, так как это единственный согласный, перед которым /š/ могло стоять в начале слова на рубеже XI—XII вв.

ный свистящий), и, следовательно, взятые сами по себе, они обладали достаточной устойчивостью. Наименее четко различалось противопоставление /š/ — /s/ (шипящий — шепелявый свистящий), и, следовательно, устойчивость этого противопоставления была меньше, чем у двух других. Последнее обстоятельство помогает уяснить, как повлияло появление новой фонемы на развитие остальных переднеязычных фрикативных.

По-видимому, области рассеивания новой фонемы /š/ и старого /s/ не были отделены друг от друга достаточно большим промежуток, из-за чего возникала опасность фонологического смешения. В результате давления, оказываемого /š/ на /s/, последняя отступала и в свою очередь оказывала давление на ближайшую фонему /s/. Иными словами, носители верхненемецких диалектов стали избегать тех реализаций /s/, которые больше всего напоминали реализации /š/, что можно было сделать, лишь продвинув артикуляцию /s/ вперед, т. е. в направлении артикуляции /s/. Но фонема /s/ находилась как бы в артикуляторном тупике, из которого ей некуда было отступить¹⁵. Отсюда ясно, что /s/ должно было совпасть с /s/. Это смешение, как известно, происходило на протяжении конца XIII и начала XIV вв. Однако не всякое /s/ совпадало с /s/; в начале слова перед согласным /s/ давало /š/, будучи вторым по времени и значению источником этой фонемы.

Причины различной судьбы /s/ в разных позициях становятся ясными из установления позиций, в которых /s/ совпадало с /s/. Оказывается, /s/ совпадало с /s/ прежде всего в тех позициях, где они непосредственно противопоставлялись друг другу — между гласными, в удвоении и в абсолютном исходе после гласной, а также в начале слова перед гласной¹⁶, — т. е. в тех самых позициях, в которых /s/ непосредственно противопоставлялось /š/ (см. выше таблицу) и в которых возникала опасность смешения /s/ и /š/. Таким образом, причину нейтрализации противопоставления /s/ — /s/ следует искать не в усилении междиалектного общения¹⁷, а в воздействии фонемы /š/ на соседние фонемы фрикативного ряда. С чисто артикуляторной стороны смене апикальной артикуляции дорсальной благоприятствовал фонетический контекст: /s/ переходило в /s/ в полном или частичном гласном окружении, что можно рассматривать как частичную ассимиляцию согласной /s/ окружающим гласным¹⁸. Возможно, что совпадение /s/ и /s/ в начале слова перед гласной было обусловлено в первую очередь действием именно этого фонетического фактора.

Переход /s/ в /š/ в группах /sl sm sn sw sp st/ в начале слова как будто бы противоречит только что описанному направлению фонологического развития. Ведь в этой позиции противопоставление /s/ — /š/ не превращается в противопоставление /s/ — /s/, а нейтрализуется в пользу шипящего¹⁹. Дело здесь, очевидно, в том, что в начале слова перед согласной /s/ не противопоставлялось непосредственно /s/, а противопоставлялось фрикативному /f/ — и то только перед /l/ (ср. *fliegen* «летать» — *slähen* «бить») и /š/ < /sk/ перед /r/. Поэтому сохранение весьма неустойчивого в силу акустического сходства звуков противопоставления /s/ — /š/ в данной позиции вряд ли было фонологически целесообразно. Оно означало бы сохранение фонемы, характеризующей собственным различительным признаком —

¹⁵ См. А. Мартине, указ. соч., стр. 77—78.

¹⁶ Озвончение /s/ > /z/ перед и между гласными здесь не рассматривается, так как оно не свойственно большинству верхненемецких диалектов (см. В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, стр. 330—332).

¹⁷ См. М. Joos, указ. соч., стр. 223.

¹⁸ См. W. Wilmanns, *Deutsche Grammatik*, Abt. 1, Strassburg, 1911, стр. 137.

¹⁹ Правда, /š/ стояло в этой позиции только перед /r/; ср. *schröten* «шагать», *schröben* «писать» и т. д.

апикальной артикуляцией и всего лишь одной позицией, т. е. фонемы с крайне-ограниченной возможностью использования, что противоречило бы тенденции к максимальной экономичности системы.

«Прояснение» /s/ в /s̥/ было, по-видимому, невозможно, так как для него нужен был образец (как, например, для перехода /s/ в /s̥/ в конце слова нужен был образец в виде слов с конечным /s/), а /s/ в этой позиции никогда не стояла. Кроме того, апикальная артикуляция /s/ в группах /sn st sl/ несомненно поддерживалась наличием ее и у согласных /ntl/. Поэтому развитие пошло по пути притяжения «остатков» старого /s/, реализовавшегося как шепелявый звук, шипящей фонемой /š/ ²⁰. Для обеих фонем апикальная артикуляция была общим моментом: у /s/ она была основной, у /š/ входила в состав сложной язычной артикуляции. Это развитие облегчалось тем, что в верхненемецких диалектах имелось достаточное количество слов с /š/ из /sk/ в начале слова перед /r/, т. е. принципиально в той же позиции, что и не совпавшее с /s/ старое /s̥/ ²¹. Таким образом, с точки зрения диахронической фонологии катализ имел место как раз при переходе /s/ в /š/ в этой позиции ²².

Переход /s/ в /š/ в указанных начальных группах совершался неравномерно ²³. Разновременность перехода /s/ в /š/ в различных начальных группах объясняется, по-видимому, прежде всего их различной распространенностью. Так, /s/ в группах /sl/, /sm/, /sn/, встречавшихся соответственно в 164, 116 и 94 корневых и производных словах, изменилось в /š/ раньше, чем /s/ в группе /sv/, встречавшейся более чем в 200 словах ²⁴. Кроме того, более быстрому переходу /s/ в /š/ в этих группах могло помочь однотипное фонетическое окружение: /s/ стоит в них перед сонорным согласным, как /š/ в группе /šr/ ²⁵.

/s/ в группах /sp/, /st/ дало /š/ по двум причинам и прежде всего в силу большой распространенности этих групп, встречавшихся в начальном положении соответственно в 279 и 510 корневых и производных словах. Другой причиной явилось то, что /sp/ и /st/ часто встречались в середине и конце слова после гласных, которые, как было замечено выше, способствовали более «дорсальному» произношению /s/. Тем самым свистящий звук в группах /sp/, /st/ в середине и конце слова вызывал большую устойчивость свистящего в этих группах в начале слова. Правда, /s/ перед /p/ и /t/ в середине и конце слова развивалось в различных диалектах по-разному. Не будучи противопоставлена в этой позиции непосредственно ни /s/, ни /š/, эта фонема в одних диалектах переходила в /š/, в других совпадала с /s̥/. В основном переход /s/ в /š/ характерен в различной степени для южнонемецких диалектов; в центральнонемецких диалектах /s/ совпало с /s̥/ ²⁶.

Переход /rs/ в /rš/, видимо, подчинялся тем же закономерностям, что и переход /s/ в /š/ в группах /sl sm sn sv sp st/, так как /s/ в этой позиции не противопоставлялось непосредственно ни /s̥/, ни /š/. Однако его можно рассматривать как частичную ассимиляцию /s/ предшествующему дрожащему, аналогичную той, которую обнаружи-

²⁰ Смещение шепелявого /s/ с /š/ наблюдается и в других языках. См., например-М. Rudnicki, *Nowe materiały do mieszania szeregów s..., š..., š...,* «Prace filologiczne», XVI, 1934.

²¹ «Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch» М. Лексера содержит начальную группу /šr/ в 115 корневых и производных словах.

²² Ср. А. Мартине, указ. соч., стр. 122 и сл.

²³ См.: W. Wilmanns, *Deutsche Grammatik*, Abt. 1, стр. 139; О. Агон, *Zur Geschichte der Verbindungen eines s bez. sch mit einem Consonanten im Neuhochdeutschen*, PBB, XVII, 2, 1893, стр. 248 и сл.

²⁴ Здесь и в дальнейшем цифровые данные приводятся по словарю М. Лексера.

²⁵ Ср. переход /s/ в /š/ перед /l/ в норвежском языке: *slík/šlík/* «такой» и пр.

²⁶ См. В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, стр. 333.

вают норвежский и шведский языки; ср. швед. *först* /fœršt/ «первый». О. Арон считал, что /s/ > /š/ в начальных группах /sl sm sn sv sp st/ также под ассимилятивным воздействием конечного /r/ предыдущего слова в синтаксической группе²⁷. Такое влияние /r/ на /s/ в потоке речи имеет место²⁸, но оно не ведет к последовательной замене свистящего шипящим в позициях после других конечных согласных, а потому и не может быть определяющим фактором этого звукового изменения.

Итак, возникновение новой фонемы /š/ представляет собой реализацию одной из внутренних возможностей для усовершенствования системы верхненемецких согласных. Появление новой фонемы повлекло за собой некоторую перестройку во взаимоотношениях переднеязычных фрикативных фонем; наиболее серьезным фонологическим последствием этой перестройки явилось исчезновение старого /s/, слившегося частично с /s̥/, частично с /š/, и — как результат его — увеличение функциональной нагрузки противопоставления /s̥/ — /š/. Исчезновение /s/ означало для системы согласных фонем верхненемецких диалектов устранение артикуляции, не обладавшей удовлетворительной различительной способностью. Тем самым была достигнута артикуляторная экономия при сохранении количества переднеязычных фрикативных фонем.

²⁷ См. О. Арон, указ. соч., стр. 259 и сл.

²⁸ См. В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, стр. 334.

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Г. А. ЛЕССКИС

О РАЗМЕРАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОЙ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРОЗЕ 60-х ГОДОВ XIX в. *

Подсчеты, сделанные даже на очень ограниченном материале, показывают, что для разных сфер использования письменной речи характерны предложения разных размеров. Так, например, в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» на 33 703 слова приходится 1220 предложений¹. Первые 1220 предложений романа Чернышевского «Что делать?» содержат 13 932 слова, а в 1377 предложениях переписки Чернышевского 60-х годов содержится 21 166 слов. Таким образом, средний размер предложения в диссертации — 27,6, в романе — 11,4, в письмах — 15,4. В статье Л. Толстого «О народном образовании» средний размер предложения 26,5, в «Войне и мире» — 12,8, в письмах Толстого 60-х годов — 14,4. В книге В. О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве» средний размер предложения 26,8, а в его письмах к П. П. Гвоздеву той же поры — 14,4. Уже эти данные показывают, что для научных трудов и статей характерны предложения большего размера, чем для художественных произведений и переписки тех же авторов. При этом у разных авторов в одном и том же «жанре» письменной речи средние размеры предложения располагаются примерно в одном интервале.

Для правильного сравнения размеров предложений в научной и художественной прозе необходимо предварительно расчленить художественный текст на три компонента: собственно речь автора, речь персонажей и конструкции, являющиеся прежде всего (хотя и не исключительно) средством введения реплики персонажа в авторское повествование. Не всякий художественный текст одинаково легко поддается такому членению. В ряде случаев (особенно у Достоевского и Чернышевского) так называемая «несобственно прямая речь» затрудняет отделение авторской речи от речи персонажей. «Служебные» конструкции типа «...», — сказал тот-то, — «...» часто содержат и более знаменательные элементы. Учитывать эти переходные случаи при конкретном анализе художественного произведения совершенно необходимо. Но так же необходимо для наших целей при общих подсчетах и разграничение этих трех компонентов.

Речь персонажей, особенно в реалистическом, не стилизованном произведении, хотя и не является дословным воспроизведением устной речи людей того времени и круга, к которому относится повествование, должна все-таки рассматриваться как «образ» этой устной речи. Речь персонажей в целом даже у разных авторов, несмотря на возможные значительные индивидуальные отклонения, характеризуется какими-то общими особенностями, как лексико-семантическими, так и грамматическими (а иногда даже и фонетическими), отличающими ее именно как образ устной речи от письменной речи любого автора, и эти отличия распространяются также на размеры предложений.

Авторские ремарки, вводящие в повествование реплики персонажей, характеризуются, во-первых, определенным лексическим составом (по крайней мере в одной определенной и обязательной части своей конструкции), во-вторых, почти всегда определенной синтаксической структурой, в-третьих, довольно устойчивыми размерами.

* Размеры предложений в английской и средневековой латинской прозе исследовали английские ученые, в частности Дж. Юл, который использует статистический анализ размеров предложений для атрибуции текста. Приемы анализа, используемые Дж. Юлом [см. его работу «On sentence-length as a statistical characteristic of style in prose (with application to two cases of disputed authorship)», «Biometrika», XXX (1938), 3—4, 1939], были во многом обусловлены и оправданы однородным характером исследованных им текстов. Для атрибуции неоднородных текстов, как в показывает наш материал, использование такого показателя, как размер предложения, если оно и возможно, потребует несравненно более сложных приемов анализа.

¹ За рабочее определение «слова» здесь принимается последовательность букв между двумя пробелами; пробел не принимается во внимание для форм условного наклонения, будущего сложного, собственных имен людей, сложных союзов, предлогов и нек. др. Под предложением понимается последовательность слов между двумя точками или заменяющими точку знаками.

В них всегда употребляется глагол говорения (или любой другой глагол, используемый в функции глагола говорения) обычно в единственном числе прошедшего времени². В громадном большинстве случаев в них используется «обратный» порядок слов (сказуемое стоит впереди подлежащего)³. Наконец, чаще всего эти конструкции состоят из двух слов. В многословных конструкциях этого типа имеется обыкновенно или дополнение, называющее адресата реплики, или определение к сказуемому; это определение (особенно если оно сложное) очень часто выражается дееспричастием или дееспричастным оборотом, так что абсолютное большинство дееспричастий, встречающихся в авторском тексте, приходится, как правило, на эти конструкции.

При таком расчленении текстов «Что делать?» и «Войны и мира» показатели, характеризующие средние размеры предложений в этих произведениях, существенно изменятся, в то время как в однородных текстах писем и научных работ они останутся теми же. Средний размер предложения в речи персонажей романа Чернышевского — 9,1; в «Войне и мире» — 7,0. Средний размер авторской ремарки у Чернышевского — 9,6; у Толстого — 7,3. А средний размер предложения в авторском (сплошном) повествовании Чернышевского⁴ — 19,4; в авторском повествовании Толстого — 19,2.

Как видим, изменения цифрового индекса не меняют существа положения: разные сферы использования языка характеризуются устойчивыми различиями в размерах предложений в пределах определенных интервалов. Колебания же внутри этих интервалов, как будет видно дальше, характеризуют индивидуальные особенности данного произведения в пределах одного «жанра» письменной речи.

*

Так как не может быть полной уверенности в том, что размеры предложений не зависят от жанровых особенностей самой художественной прозы и остаются неизменными в разные периоды развития литературного языка, выбор материала для наблюдений мы ограничиваем рамками одной эпохи (60-х годов XIX в.)⁵ и одного жанра в произведениях художественной литературы — психологического романа. Существенным признаком при отборе материала было также отсутствие намеренной стилизации авторского повествования⁶. Всего было выбрано 11 произведений семи писателей; некоторые из них обследованы выборочно, другие — полностью. 1) «Обрыв» Гончарова — 5505 предложений (около 24% всего текста); 2) «Преступление и наказание» Достоевского — 5502 предложения (около 37% всего текста); 3) «Идиот» Достоевского, ч. I — 4975 предложений (около 29% всего текста); «Некуда» Лескова — 5507 предложений (около 29% всего текста); «Помпадуры и помпадурши» Салтыкова-Щедрина — 5390 предложений (весь текст); 6) «Назак» Л. Толстого — 4987 предложений (весь текст); 7) «Война и мир» Л. Толстого, т. I — 8556 предложений (весь текст), т. II — 5502 предложения (около 66% всего текста), т. IV — 4838 предложений (весь текст); «Эпилог» — 1906 предложений (весь текст). Всего: 20 802 предложения (около 60% всего текста «Войны и мира»); 8) «Накануне» Тургенева — 4112 предложений (весь текст); 9) «Отцы и дети» Тургенева — 5502 предложения (весь текст); 10) «Дым» Тургенева — 4060 предложений (весь текст); 11) «Что делать?» Чернышевского — 4301 предложение (около 39% всего текста романа). Всего: 70 643 предложения⁷.

Из научной прозы были отобраны для наблюдений произведения шести авторов, представителей разных гуманитарных и естественных наук. 1) «Введение к полному изучению органической химии» Бутлерова (1864 г.) — 6054 предложения; 2) «Вилла Альберти» Александра Веселовского (1870 г.) — 1927 предложений; 3) «Сказания иностранцев о Московском государстве» Ключевского (1866 г.) — 2320 предложений; 4) «Мысль и язык» Потенин (1862 г.) — 1917 предложений; 5) «Физиология нервной системы» Сеченова (1866 г.) — 3864 предложения; 6) «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского (1853 г.) — 1220 предложений. Всего: 17 302 предложения⁸.

² Если это невысказанная «реплика», то место глагола говорения занимает глагол мышления (или заменяющий его).

³ Может быть, точнее говорить о твердом порядке слов, который здесь является стилистически нейтральным, так как «обратным» для этой конструкции будет именно «прямой» порядок слов в сплошном авторском повествовании.

⁴ Взяты первые 1220 авторских предложений для удобства соотнесения их с данными диссертации.

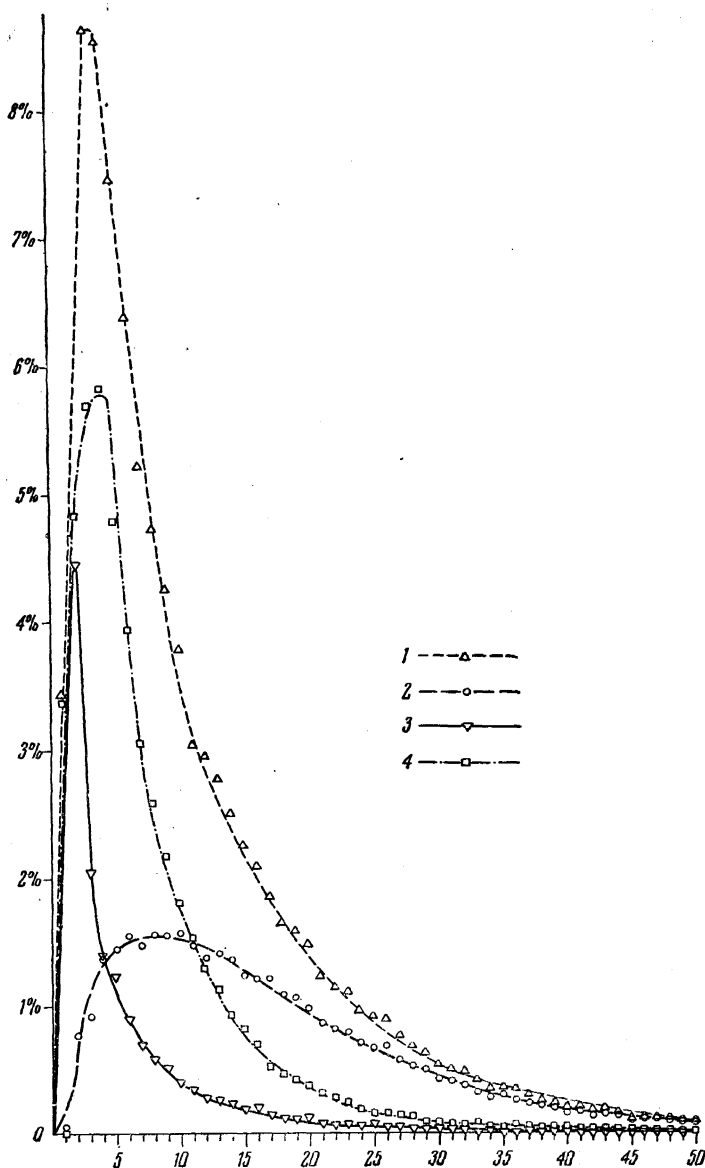
⁵ Не очень существенное исключение сделано только для диссертации Чернышевского (1853 г.), так как это давало возможность сравнить научное и художественное произведения одного автора.

⁶ В обоих последних отношениях исключением являются «Помпадуры и помпадурши» Салтыкова-Щедрина.

⁷ Из подчетов исключены все документы, письма и дневниковые записи действующих лиц и другие «письменные» материалы, которые содержат элемент стилизации и не могут быть безоговорочно отнесены к письменной речи автора.

⁸ Все научные тексты подсчитывались полностью; не учитывались лишь предложения (преимущественно назывные), стоящие в заголовках, подзаголовках, таблицах, а также тексты библиографических указаний при цитатах.

Полностью обследованы изданные письма Тургенева (1446 предложений) и Чернышевского (1377 предложений) 60-х годов и выборочно — переписка Достоевского (1793 предложения) и Толстого (1776 предложений) этого периода. Из эпистолярного наследия ученых (кроме Чернышевского) обследованы только письма Ключевского к Гвоздеву 1861—1870 годов (1794 предложения)⁹. Всего из эпистолярной прозы



Р и с. 1. Распределение предложений в зависимости от их размеров: 1 — в художественной прозе в целом (100%). В том числе: 2 — в авторском сплошном повествовании (35,2%), 3 — в авторских ремарках в диалоге (14,8%), 4 — в речи персонажей (50,0%)

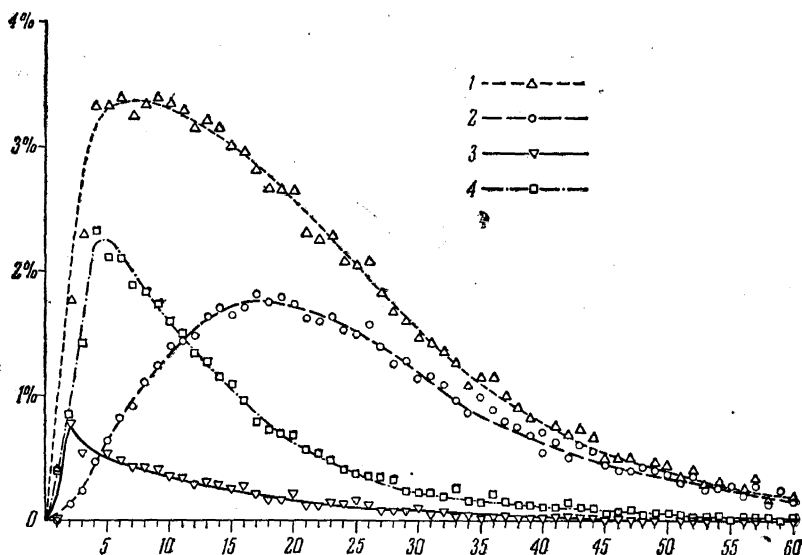
выбрано 8186 предложений¹⁰. Кроме того, для сравнения использованы три педагогические статьи Л. Толстого 60-х годов, текст которых обследован полностью: «О народном образовании» (256 предложений), «Воспитание и образование» (504 предложения), «Прогресс и определение образования» (396 предложений) и две статьи Писаре-

⁹ Более полное обследование переписки других указанных ученых затруднено в связи с отсутствием достаточно полных публикаций их эпистолярного наследия.

¹⁰ При подсчетах не учитывались обращения, подписи и почтовые адреса, стоящие вне знаменательных предложений.

ва: «Мыслящий пролетариат» (511 предложений) и «Евгений Онегин» (730 предложений)¹¹.

Картину распределения предложений в тексте по их размеру нельзя однозначно передать ни средним размером предложения для данного текста (т. е. отношением общего числа слов в тексте к числу предложений), ни каким-либо другим одним показателем. Теоретически можно допустить наличие двух (и более) текстов одинакового размера, скажем, в 150 слов, состоящих из равного числа предложений, допустим, по 10 предложений в каждом. Средний размер предложения в обоих текстах будет совпадать (=15). Но в одном тексте могут встретиться 9 предложений однословных и одно предложение в 141 слово, а в другом тексте каждое предложение будет состоять из 15 слов. Нечто подобное встретилось и в исследуемом материале: средний размер предложений в речи персонажей в «Обрыве» и в авторских ремарках т. I «Войны и мира» приблизительно



Р и с. 2. Распределение текста в художественной прозе в зависимости от размеров предложений (65 663 предложения; 741 100 слов): 1 — в художественной прозе в целом (100%). В том числе: 2 — в авторском сплошном повествовании (57,5%), 3 — в авторских ремарках в диалоге (8,95%), 4 — в речи персонажей (33,55%)

но совпадает ($\approx 7,6$), однако действительные распределения предложений в этих двух текстах весьма различны.

Так же обстоит дело и с любым другим отдельно взятым показателем. Например, наиболее вероятный размер предложения в авторском сплошном повествовании романов Тургенева — 4 слова, таков же и наиболее вероятный размер предложения в речи персонажей в «Отцах и детях» и в «Дыме». Однако вероятность появления предложений такого размера в авторской речи Тургенева — 5,5%, а в речи персонажей — 11,6 и 12,3%, так что распределение предложений в этих двух типах текстов оказывается различным. Представляется целесообразным использовать графический способ подачи материала. Внешне такие графические схемы напоминают геометрическое изображение функций, где по оси абсцисс откладываются размеры предложений, а по оси ординат — количество этих предложений (в процентах). При соединении всех точек на чертеже получается кривая, плавность которой определяется размером выборки: чем выборка больше, тем меньше разброс и тем плавнее кривая.

Если рассматривать эти схемы как непрерывные функции, то при аппроксимировании для них возможно найти аналитическое выражение. В таком случае различия в распределении предложений в научной, художественной и эпистолярной прозе могли бы быть выражены различиями коэффициентов этого аналитического выражения. Схемы позволяют в удобообразимой форме одновременно учесть несколько показателей: ширину функции, взятую по половине максимальной вероятности, наиболее вероятный размер предложения, его интенсивность (максимум), а также вероятности появления предложений других размеров, средний размер предложения.

На рис. 1 представлено распределение предложений в художественной прозе в целом и в расчлененном на три компонента виде. Если принять за 100% число всех

¹¹ В статьях Писарева, как и в книге Веселовского, не учитывались цитаты из художественных произведений.

Структура художественной прозы

Название произведения	Всего предложений	Всего слов	Количество предложений в авторской речи		Количество слов в авторской речи		Количество предложений в ремарках		Количество слов в ремарках		Количество предложений в речи персонажей		Количество слов в речи персонажей	
			в абс. числах	в %	в абс. числах	в %	в абс. числах	в %	в абс. числах	в %	в абс. числах	в %	в абс. числах	в %
«Обрыв»	5 505	51 054	1 248	22,7	21 168	41,4	919	16,7	4 397	8,7	3 338	60,6	25 489	49,9
«Преступление и наказание»	5 502	58 669	1 766	32,1	27 701	47,3	674	12,3	4 944	8,4	3 062	55,6	26 024	44,3
«Идиот», ч. 1	4 975	56 916	1 031	20,7	19 416	34,1	712	14,3	4 157	7,3	3 232	65,0	33 343	58,6
«Некуда»	5 507	53 344	1 302	23,7	22 921	42,9	766	13,9	5 450	10,3	3 439	62,4	24 973	46,8
«Помпадуры и помпадурши»	5 390	73 708	2 476	45,9	46 093	62,4	694	12,8	5 702	7,8	2 220	41,3	21 913	29,8
«Казачьи»	4 987	43 062	1 817	36,5	25 509	59,3	817	16,4	4 615	10,7	2 353	47,1	12 938	30,0
«Война и мир», т. I	8 556	97 883	3 429	40,1	60 741	62,2	1 648	19,3	12 454	12,7	3 479	40,6	24 688	25,1
«Война и мир», т. II	5 502	68 685	2 454	44,6	45 447	66,3	978	17,8	7 288	10,5	2 070	37,6	15 950	23,2
«Война и мир», т. IV	4 838	67 225	2 763	57,4	54 608	81,4	647	13,3	4 390	6,4	1 428	29,3	8 227	12,2
«Война и мир», «Эпизод», ч. 1	1 362	19 193	704	51,6	14 315	74,2	181	13,3	1 294	6,8	477	35,1	3 584	18,6
«Война и мир», «Эпизод», ч. 2	544	13 486	544	100,0	13 486	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—
«Война и мир», общий итог	20 802	266 472	9 894	47,3	188 597	70,7	3 456	16,7	25 426	9,6	7 454	36,0	52 449	19,7
«Накануне»	4 112	40 218	1 278	31,0	19 981	49,6	643	15,6	3 400	8,6	2 191	53,4	16 837	41,8
«Отцы и дети»	5 502	53 197	1 497	27,2	24 630	46,4	892	16,2	5 508	10,3	3 113	56,4	23 059	43,3
«Дым»	4 060	47 327	1 389	34,3	24 865	52,9	578	14,2	3 966	8,3	2 093	51,5	18 496	39,1
«Что делать?»	4 301	51 637	1 205	28,1	23 378	45,4	278	6,5	2 694	5,2	2 818	65,4	25 565	49,5
Итого	70 643	795 604	24 903	35,2	444 259	55,8	10 427	14,8	70 259	8,8	35 313	50,0	281 086	35,4

предложений в художественной прозе, то на речь персонажей придется около 50,0%, на авторское сплошное повествование — около 35,2%, на авторские ремарки — около 14,8% предложений. Однако распределение предложений по размерам в каждом компоненте свое, так что текст распределяется между тремя компонентами неравномерно [см. рис. 2, где по оси абсцисс откладывается количество слов (в процентах), приходящихся во всем тексте на предложения данного размера]. На речь персонажей приходится примерно 33,6% всего текста, на авторское сплошное повествование — 57,5%, а на авторские ремарки — 8,9%.

У разных авторов соотношение авторской речи и речи персонажей (а стало быть, и авторских ремарок) может быть разным и глубоко индивидуальным, но соотношение числа предложений с размером покрываемого ими текста в каждом компоненте, т. е. распределение предложений в каждом компоненте колеблется несравненно меньше и всегда в определенных интервалах, общих для всех писателей (см. табл. 1).

Речь персонажей

Как видно из таблицы 1, количество предложений, приходящихся на речь персонажей, колеблется в исследуемом материале в очень большом промежутке — от 36 до 65%; у всех писателей, кроме Толстого и Салтыкова-Щедрина, на речь персонажей падает более половины всего числа предложений. Колебания эти не случайны: они, очевидно, связаны с какими-то общими особенностями творчества отдельных писателей. Например, абсолютное (не только по числу предложений, но и по объему текста) преобладание речи персонажей у Достоевского, по-видимому, объясняется «полифоническим» характером его романов; преобладание авторского сплошного повествования у Толстого, безусловно, связано с господством пластического принципа изображения. Любопытно, что, с небольшими колебаниями, соотношение авторской речи и речи персонажей в произведениях одного писателя сохраняется неизменным. Так, у Толстого речь персонажей всегда занимает меньше места, чем речь автора, у Достоевского — всегда больше; во всех трех романах Тургенева на нее приходится примерно равные доли всего числа предложений (53,3%; 56,5%; 51,5%).

Таблица 2

Речь персонажей

Название произведения	Наиболее вероятный размер предложения	Его вероятность (maxima) (в %)	Средний размер предложения	Ширина функции (в словах)	Начало «хвоста» функции	Первая точка образа	Самое длинное предложение
«Обрыв»	3	11,8	7,6	7	31	39	77
«Преступление и наказание»	2	11,0	8,5	6	27	52	108
«Идиот», ч. 1	5	7,9	10,3	9	29	52	90
«Некуда»	3	12,6	7,6	6	26	37	73
«Помпадуры и помпадурши»	4	7,7	9,8	11	36	43	58
«Казаки»	3	16,5	5,5	5	27	32	59
«Война и мир», т. I	3	12,8	7,1	6	28	41	83
«Война и мир», т. II	4	12,7	7,7	6	27	41	62
«Война и мир», т. IV	3	16,0	5,8	5	19	25	39
«Война и мир», «Эпизод», ч. 1	3	—	7,5	—	19	28	56
«Война и мир», общий итог	3	13,5	7,0	6	30	45	83
«Накануне»	3	11,9	7,7	7	21	34	84
«Отцы и дети»	4	11,6	7,4	7	27	39	107
«Дым»	4	12,3	8,8	6	28	40	105
«Что делать?»	4	11,9	9,1	7	41	49	95
Итог в абс. числа	4	11,9	7,9	6	48	63	108
Среднее арифметическое	4	11,3	8,1	7	45	—	—

Что касается количественных характеристик предложений этой группы, то они довольно однообразны у всех писателей, как это видно из табл. 2. Заметные отклонения в сторону увеличения ширины функции и средних размеров предложения отмечены только в «Идиоте» и в «Помпадурах и помпадуршах». Эти индивидуальные особенности (как и несколько меньшую дисперсию в «Казаках» и большую в «Что делать?»), очевидно, без особых затруднений можно объяснить при литературоведческом анализе (например, стилизация канцелярской чиновничьей речи у Салтыкова-Щедрина, речь казаков в отличие от речи образованных дворян у Толстого и т. п.).

Существенным представляется то обстоятельство, что, несмотря на некоторые индивидуальные отклонения, речь персонажей во всех обследованных произведениях без особых погрешностей характеризуется общими параметрами, представленными

на рис. 3, где суммируются и усредняются данные по всему материалу. Наиболее вероятный размер предложения — 4 (отклонения $+1$ и -2); его вероятность — 11,8% (отклонения, кроме «Казаков», не более 1%); ширина функции — 7 слов (отклонения, кроме «Идиота» и «Помпадуров и помпадурш», — -2 , -1). Почти половина всего текста (48,3%) падает на предложения размером от 1 до 10 слов; примерно треть текста падает на предложения размером от 11 до 20 слов; предложения размером более 50 слов

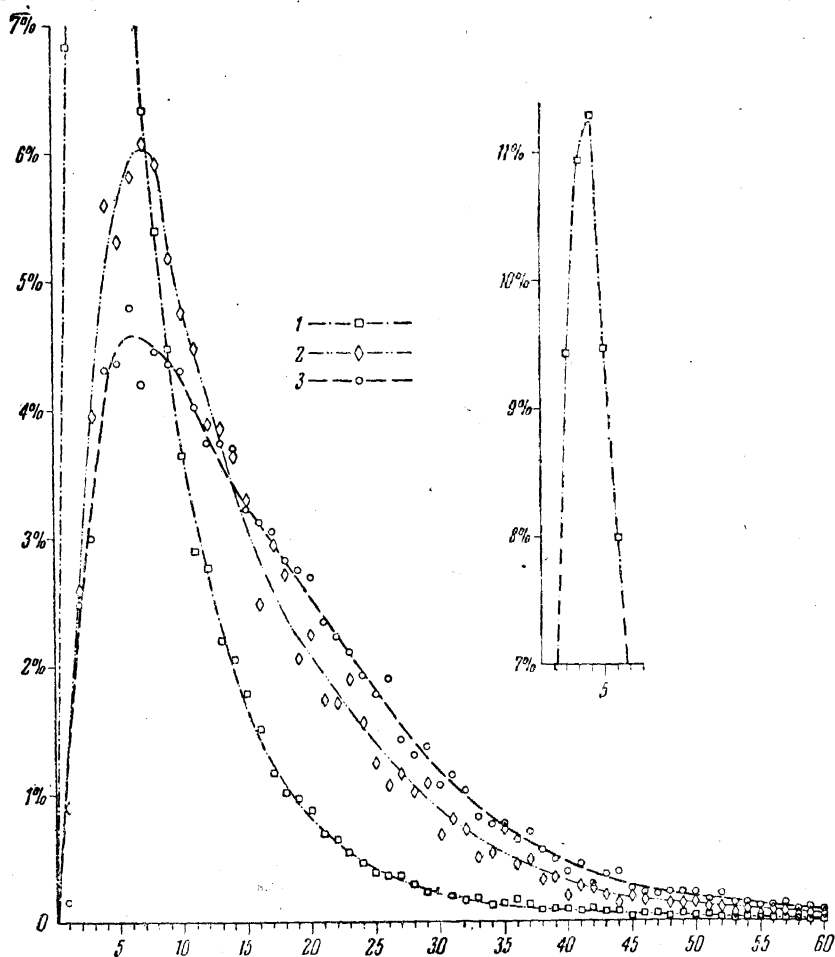


Рис. 3. Распределение предложений в зависимости от их размеров: 1 — в речи персонажей, 2 — в эпистолярной прозе, 3 — в авторском сплошном повествовании

составляют всего 0,22% общего числа, на них падает около 2,2% всего текста. Средний размер предложения = $8 \pm 2,5$. Однообразие количественных характеристик речи персонажей у разных авторов является совершенно естественным: поскольку обследовались нестилизованные реалистические произведения, можно предположить, что эти характеристики близки к параметрам подлинной устной речи образованного русского общества того времени.

Авторские ремарки

Авторская ремарка является своего рода функцией от речи персонажей: она не может появиться при отсутствии реплики действующего лица, хотя иногда она и не встречается при наличии реплики. Можно было бы ожидать поэтому, что число авторских ремарок будет возрастать пропорционально увеличению размера диалога и в произведениях, где речь персонажей преобладает над авторским повествованием («Что делать?», «Идиот», «Обрыв», «Некуда»), достигнет максимума.

В действительности, однако, соотношение авторских ремарок и реплик действующих лиц иное, более сложное. А именно: у Достоевского и Чернышевского число авторских ремарок по отношению к числу предложений в речи персонажей сравнительно невелико (1 : 5 и 1 : 10), тогда как у Толстого оно характеризуется самым высоким показателем (1 : 3 в «Казаках», 1 : 2 в «Войне и мире») (см. табл. 3). Если учесть, что

реплика персонажа часто состоит не из одного, а из двух и более предложений, то окажется, что в среднем Толстой комментирует почти каждую реплику своих действующих лиц¹², Достоевский и Чернышевский, напротив, довольно часто оставляют реплики в диалоге вовсе без комментария.

Таблица 3

Авторские ремарки в диалоге

Названия произведений	Отношение числа предложений в а. р.* к числу предложений в р. п.**	Отношение размера текста в а. р. к размеру текста в р. п.	Наиболее вероятный размер предложения	Его вероятность (шахта) (в %)	Средний размер предложения	Ширина функции (в словах)	Начало «хвоста» функции	Первая точка обрыва	Самое длинное предложение
«Обрыв»	$\frac{1}{3,6}$	$\frac{1}{5,8}$	2	40,8	4,7	1	12	27	46
«Преступление и наказание»	$\frac{1}{4,5}$	$\frac{1}{5,3}$	2	18,7	7,3	4	18	35	89
«Идиот», ч. 1	$\frac{1}{4,5}$	$\frac{1}{8}$	2	27,4	5,8	2	17	25	33
«Некуда»	$\frac{1}{4,4}$	$\frac{1}{4,5}$	2	22,1	7,1	2	19	33	57
«Помпадуры и помпадурши»	$\frac{1}{3,3}$	$\frac{1}{3,8}$	2	21,9	8,2	2	24	33	57
«Казаки»	$\frac{1}{2,8}$	$\frac{1}{2,7}$	2	35,7	5,6	1	18	21	48
«Война и мир», т. I	$\frac{1}{2,1}$	$\frac{1}{1,9}$	2	26,8	7,5	1	29	34	76
«Война и мир», т. II	$\frac{1}{2,2}$	$\frac{1}{2,1}$	2	29,4	7,4	1	24	33	65
«Война и мир», т. IV	$\frac{1}{2,2}$	$\frac{1}{1,8}$	2	30,3	6,7	1	14	28	86
«Война и мир», «Эпилог»	—	—	2	23,7	7,1	—	—	17	86
«Война и мир», общий итог	$\frac{1}{2,1}$	$\frac{1}{2,3}$	2	28,0	7,3	1	31	47	86
«Накануне»	$\frac{1}{3,4}$	$\frac{1}{4,9}$	2	39,7	5,2	1	17	22	60
«Отцы и дети»	$\frac{1}{3,6}$	$\frac{1}{4,2}$	2	37,4	6,1	1	19	35	68
«Дым»	$\frac{1}{3,6}$	$\frac{1}{4,6}$	2	30,9	7,0	1	17	31	64
«Что делать?»	$\frac{1}{10,1}$	$\frac{1}{9,4}$	2	27,0	9,6	1	18	14	68
Итого	$\frac{1}{3,3}$	$\frac{1}{3,7}$	2	30,1	6,7	1	31	50	89

* а. р. — авторская ремарка.

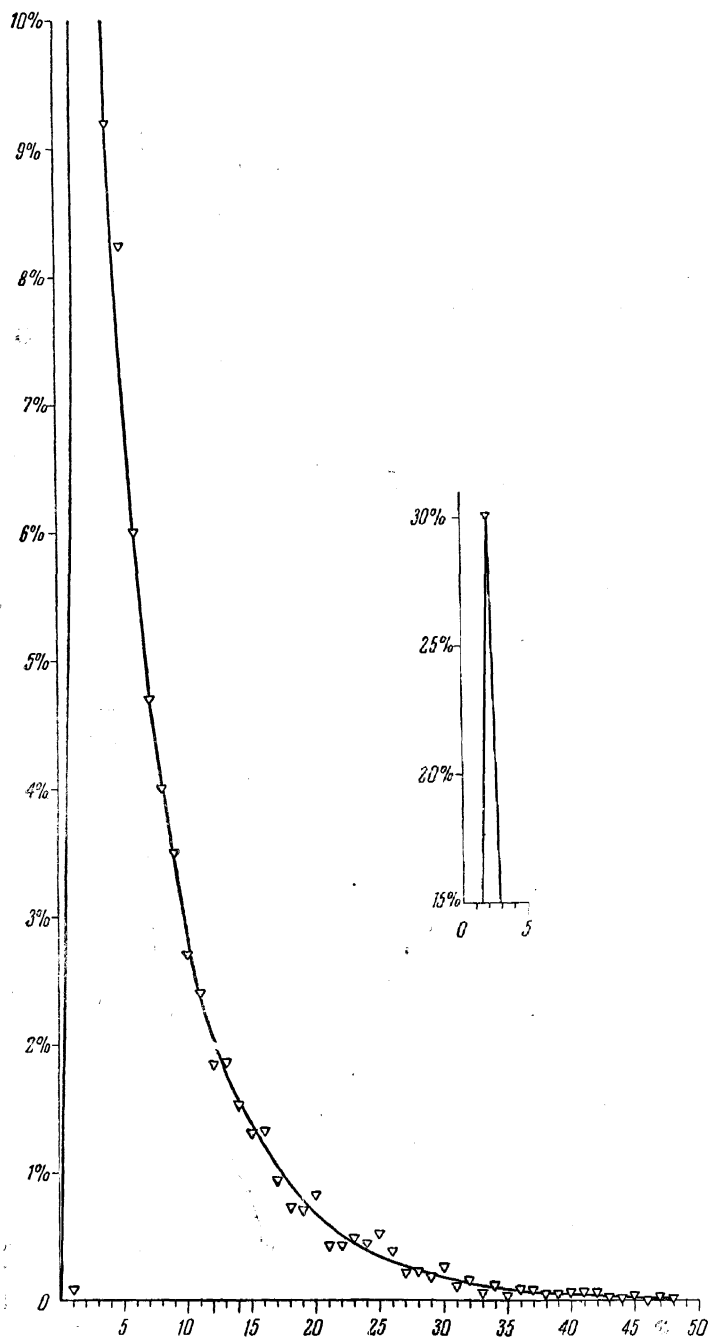
** р. п. — речь персонажей.

Эта особенность, безусловно, связана с различием художественных манер этих писателей (достаточно вспомнить хотя бы, что Толстой придавал огромное значение «языку тела», т. е. пластике движений) и с различием в их позициях по отношению к действующим лицам («автор» в произведениях Толстого почти всегда стоит «над» своими героями, его позиция четко отделена от позиций действующих лиц и противопоставлена им; у Достоевского «автор» часто «скрыт» за действующими лицами или даже сам

¹² В действительности Толстой сопровождает ремаркой не каждую реплику, зато в ряде случаев он дважды комментирует одну и ту же. Например: «— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она попоном от сына» (т. IX, стр. 58).

является «действующим лицом», его позиция зачастую определяется только из столкновения позиций действующих лиц).

Различия в насыщенности художественного текста авторскими ремарками не связаны, однако, с количественными характеристиками самих ремарок. Параметры, характеризующие эти конструкции по всему материалу в целом (см. рис. 4), без существенных отклонений повторяются и в каждом из обследованных произведений в отдельности (см. табл. 3).



Р и с. 4. Художественная проза. Авторские ремарки в диалоге. Распределение предложений в зависимости от их размеров (9716 предложений)

Наиболее вероятный размер предложения = 2; он остается всегда неизменным, причем вероятность его появления (в среднем = 30%) настолько превышает вероятность появления наиболее вероятных предложений в двух других компонентах художественного текста, что даже большие ее колебания, наблюдаемые по отдельным произведениям, не отменяют абсолютного господства и определяющего значения двусловной конструкции в авторских ремарках¹³. Средний размер предложения в этих конструкциях $6,7 \pm 2$; средняя ширина функции 1 слово.

Таблица 4

Авторское сплошное повествование

Название произведения	Наиболее вероятный размер предложения	Его вероятность (шагма) (в %)	Средний размер предложения	Ширина функции (в словах)	Начало «хвоста» функции	Первая точка обрыва	Самое длинное предложение
«Обрыв»	9	5,8	16,9	14	47	58	104
«Преступление и наказание»	6	6,2	15,6	16	44	52	85
«Идиот», ч. 1	6	6,0	18,8	14	48	52	121
«Некуда»	8	4,9	17,6	20	43	47	102
«Помпадуры и помпадурши»	9; 11	4,4	18,6	26	50	63	107
«Казак»	6	6,0	14,0	15	40	50	87
«Война и мир», т. I	9	4,6	17,7	19	53	74	106
«Война и мир», т. II	10	4,6	18,5	20	52	63	110
«Война и мир», т. IV	10	4,8	19,7	21	56	66	129
«Война и мир», «Эпизод», ч. 1	16	4,98	20,3	23	39	52	123
«Война и мир», «Эпизод», ч. 2	12	4,1	24,8	28	41	41	110
«Война и мир», общий итог	10	4,2	19,2	22	58	85	129
«Накануне»	4	6,4	15,6	13	36	36	84
«Отцы и дети»	4	5,5	16,4	16	36	59	193
«Дым»	4	5,6	17,9	16	42	51	164
«Что делать?»	7	5,4	19,4	16	42	71	223
Итог в абс. числах	10	4,3	17,8	21	55	95	223
Среднее арифметическое	6	4,8	17,2	19	63	—	—

Более половины всех ремарок (53%) составляют предложения от 2 до 4 слов с преобладающими конструкциями следующих типов: сказуемое + подлежащее; сказуемое + подлежащее + определение (к сказуемому); сказуемое + подлежащее + определение + дополнение (в дат. падеже). Более 80% всех авторских ремарок насчитывают от двух до десяти слов; на них приходится половина всего текста, занимаемого ремарками¹⁴. 13,5% ремарок состоит из предложений размером от 11 до 20 слов; они покрывают 28,6% текста. Ремарки, насчитывающие от 21 до 30 слов, составляют 3,7% всех ремарок и занимают 13,3% текста.

В повествовательном произведении авторские ремарки размером более двух; а особенно более трех слов в большинстве случаев функционально соотносятся с пантомимой в драматургии и иногда аналогичны ремаркам драматурга. Более сложные конструкции этого рода, помимо ремарки в собственном смысле слова, иногда (но в ничтожном меньшинстве случаев) содержат самостоятельное авторское предложение (например: «Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат» (т. IX, стр. 17); «— Боже мой! как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно... — заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна» (т. X, стр. 289). Включение самостоятельного предложения в состав «ремарки» обусловлено в какой-то степени формальным моментом (наличием запятой или точки с запятой вместо возможной точки); при более детальном анализе эту небольшую группу предложений следовало бы рассматривать отдельно и соотнести с авторским сплошным повествованием.

¹³ Число двусловных ремарок по существу больше, чем это указано в таблице, так как предложения типа «сказал князь Андрей», «сказала графиня Ростова», где подлежащее выражено двумя (а иногда — тремя и более) словами, по характеру конструкции не отличаются от двусловных ремарок типа «сказал Пьер», «сказала Наташа».

¹⁴ Однословные ремарки являются очень редким исключением (их встретилось 9 на 9716 ремарок).

Авторское сплошное повествование

Распределение предложений в авторском сплошном повествовании отличается значительными индивидуальными особенностями, как это видно из табл. 4. Графики авторского текста отдельных произведений по типу приближаются к общему графику авторского текста всей художественной прозы в целом, но здесь нет таких совпадений, которые были характерны для индивидуальных и общих графиков речи персонажей и в авторских ремарках.

Такой показатель, как наиболее вероятный размер предложения, оказывается в этом компоненте художественной прозы индивидуальным для каждого писателя, причем в разных произведениях одного автора он, возможно, остается неизменным¹⁵. Ширина функции, взятая по половине максимальной вероятности, имеет хотя и менее ярко выраженный, но все-таки индивидуальный характер, и размах ее колебаний по отдельным произведениям слишком значителен, чтобы она могла служить определяющим показателем для всей художественной прозы в целом (от 13 до 28 слов).

Более общей чертой является сравнительно невысокая интенсивность наиболее вероятного размера предложений. Это означает, что предложения разных размеров распределяются в авторском тексте гораздо более равномерно, чем в ремарках и в речи персонажей. Если предложения из шести слов (наиболее вероятный размер предложения) появляются в авторском повествовании (в среднем) с вероятностью 4,8%, то предложения размером от 4 до 11 слов появляются хотя и с меньшей, однако довольно близкой вероятностью (около 4%).

Следствием относительно большой неопределенности распределения предложений является иное распределение текста в авторском повествовании, чем в двух других компонентах художественной прозы. Максимальное количество текста здесь никогда не приходится на предложение наиболее вероятного размера, как это было в речи персонажей (в среднем) и в авторских ремарках. Максима текста значительно сдвинута вправо и примерно совпадает со средним размером предложения ($17,2 \pm 3$ в среднем по всему материалу). Предложения размером от 1 до 10 слов составляют 33,7% (8052) всего числа предложений, но они покрывают только 12,2% всего текста, тогда как такое же примерно число предложений размером от 11 до 20 слов (8191, т. е. 34,2%) занимает 29,2% всего текста. В следующем десятке — от 21 до 30 слов — располагаются только 18% предложений (4342); на них, однако, приходится 25,4% всего текста. Даже на предложения четвертого десятка (от 31 до 40 слов), которых всего насчитывается 1859 (7,8%), приходится 15% текста, т. е. больше, чем на короткие предложения первого десятка.

Таким образом, на долю больших предложений приходится подавляющая часть текста, иными словами — большая часть содержания в романах выражена средними и немногочисленными длинными предложениями, тогда как самая многочисленная группа коротких предложений (от 1 до 10 слов) передает сравнительно небольшое количество содержания. (Подчеркиваем, что речь здесь идет именно о количестве, а не о характере и значительности содержания.) Отчасти этим обстоятельством, возможно, объясняется то, что в интуитивном представлении читателя проза Тургенева, Достоевского и Толстого характеризуется предложениями больших размеров, а не в 4, 6 и 10 слов (наиболее вероятные размеры предложений у этих писателей). В общей массе текста, насчитывающего, скажем, 25 000 слов (примерный размер авторского текста в «Казаках» и в двух романах Тургенева), потеря одного предложения в два слова или даже нескольких таких предложений может и не быть замечена читателем. Но потеря даже одного, а тем более нескольких предложений размером в 30, 40, 50, 60 и более слов обязательно будет воспринята как порча текста.

Другое возможное объяснение нашего «читательского» представления о господстве «длинных» предложений у тех или иных писателей (например, у Толстого) связано с комбинаторными возможностями таких предложений — для них эти возможности несравненно больше, чем для предложений немногословных; может быть, поэтому именно в них обнаруживаются характерные для данного писателя индивидуальные особенности построения предложения.

Письма

Как видно из табл. 5, в эпистолярной прозе, как и в авторском сплошном повествовании, нет строго определенных, единых для всех авторов параметров, а наблюдаются известные колебания в определенном интервале. Верхняя граница этого интервала приближается к нижней границе показателей, характерных для сплошного авторского повествования (например, средний размер предложений авторской речи в «Накануне» совпадает со средним размером в письмах Тургенева), а нижняя граница приближается к речи персонажей, т. е. к параметрам устной речи [ср. средний размер предложения в письмах Достоевского (11,4) и в речи персонажей в «Идиоте» (10,3)]. Промежуточный характер параметров предложений в письмах соответствует и всему

¹⁵ Различие этого показателя у Толстого в «Казаках» и в «Воине и мире» легко объяснить. Однако высказанное предположение нуждается в проверке на большом материале, так как совпадения в трех романах Тургенева и двух романах Достоевского могут оказаться и случайными.

характеру этой структуры письменной речи, которая и в лексике, и в синтаксисе также имеет много общего с устной речью. С другой стороны, и в авторском повествовании часто можно найти те же элементы «разговорности», непринужденной беседы с читателем, которые характерны для дружеской переписки и которые как бы имитируют устную речь (см. рис. 3)¹⁶.

Таблица 5

Письма 60-х годов XIX в.

Фамилии авторов писем	Всего предло- жений	Всего слов	Наиболее ве- роятный размер предложения	Его вероятность (maxima) (в %)	Средний размер предложения	Ширина функ- ции (в словах)	Начало «хвоста» функции	Первая точка обрыва	Самое длинное предложение
Достоевский	1 793	20 354	7	8,8	11,4	9	30	44	74
Ключевский	1 794	25 849	6	6,3	14,4	12	38	52	93
Толстой	1 776	25 594	11	5,9	14,4	15	34	55	97
Тургенев	1 446	23 573	9	5,4	16,3	17	38	48	90
Чернышевский	1 377	21 166	4	6,4	15,4	12	46	53	128
Итого	8 186	116 536	7	6,2	14,2	13	55	64	128

Научная проза

Наиболее интересными для сопоставления с авторским сплошным повествованием представляются в обследованном материале данные по научной прозе. Графики той и другой прозы легко сопоставимы (см. рис. 5), хотя очевидны и устойчивые количественные различия между их основными параметрами (см. табл. 6). Индивидуальные отклонения от средних для всей научной прозы параметров здесь не менее значительны, чем отклонения от средних «норм» авторского повествования в художественной прозе у отдельных авторов, однако отклонения эти не выходят за пределы определенного общего «типа».

Таблица 6

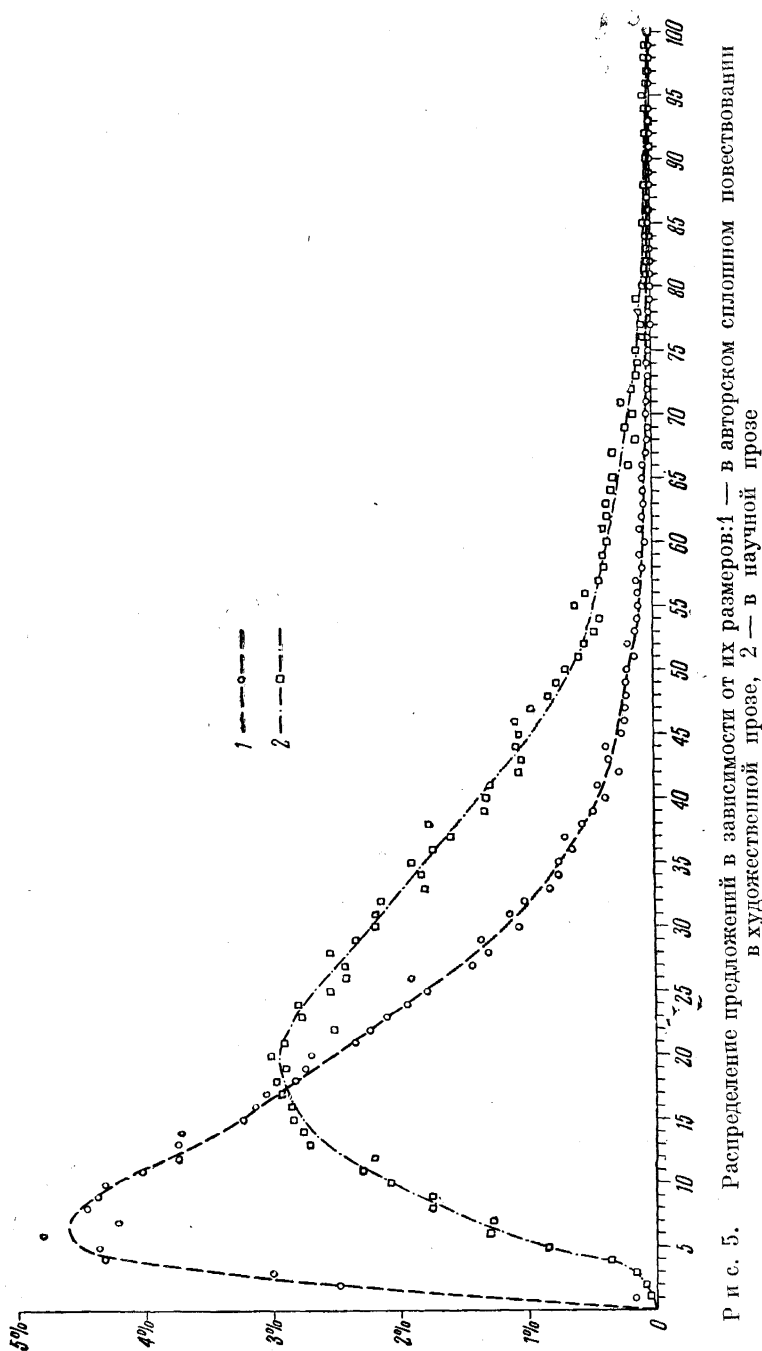
Научная проза 60-х годов XIX в.

Фамилия автора	Всего предло- жений	Всего слов	Наиболее ве- роятн. размер предложения	Его вероятность (maxima) (в %)	Средний размер предложения	Ширина функ- ции (в словах)	Начало «хвоста» функции	Первая точка обрыва	Самое длинное предложение
Бутлеров	6 054	159 259	18	3,9	26,3	23	75	92	136
Веселовский	1 927	60 634	17	2,9	31,5	38	82	84	180
Ключевский	2 320	62 072	20	3,8	26,8	22	66	81	139
Потебня	1 917	57 931	20	3,1	30,2	33	54	80	126
Сеченов	3 864	111 159	20	3,3	28,8	21	60	80	254
Чернышевский	1 220	33 703	13	3,5	27,6	27	48	78	129
Итог в абс. числах	17 302	484 758	20	3,3	27,9	31	76	107	254
Среднее арифмети- ческое	—	—	20	3,0	28,5	32	68	—	—

Разумеется, в любом достаточно большом научном тексте можно встретить предложения всех размеров, реально используемых в русском языке (в нашем материале — от 1 до 254 слов). Однако вероятность появления в научном тексте предложений из одного (0,02%), двух (0,04%) и трех (0,14%) слов так мала, что практически ею можно пренебречь. Основная масса предложений в научной прозе располагается в промежутке от 11 до 50 слов, на них приходится немногим менее 78% всего текста. На предложения размером от 1 до 10 слов приходится 2,4% текста; на предложения следующего

¹⁶ Материал по письмам, ввиду его небольшого объема, не был дифференцирован тематически, а потому выводы по нему нельзя считать окончательными.

десятка — 16,2%; третьего десятка — 24,1%; четвертого — 22,4%; пятого — 15,1%; шестого — 8,7%; седьмого — 5,3%; восьмого — 2,6%; девятого — 1,1%; десятого — 0,9%; на предложения размером более 100 слов приходится 1,2% текста¹⁷.



Р и с. 5. Распределение предложений в зависимости от их размера: 1 — в авторском сплошном повествовании, 2 — в художественной прозе.

Естественно, что при сокращении размера выборки колебания в средних размерах предложения будут возрастать. Однако даже при сокращении размера выборки до 100 предложений в нашем материале не встретилось такой сотни, средний размер предложения в которой упал бы до среднего размера предложений в авторском повествовании (17,2). Максимальный средний размер в таких выборках — 41,5 (у Веселовского), минимальный — 18,5 (у Бутлерова). С другой стороны, из 118 выборок по сот-

¹⁷ В авторском сплошном повествовании в художественной прозе на предложения размером более 100 слов приходится 0,89% текста.

ням из художественной прозы только в одной сотне (в экспозиции «Дыма») средний размер достиг и превысил средний размер предложения для всей научной прозы (28,5). Более того, даже при сокращении размера выборки до десяти предложений из 150 таких выборок (весь текст «Отцов и детей») только 5 достигли среднего размера предложения в научной прозе.

*

Как можно объяснить такую определенность и устойчивость различия интервалов для средних размеров предложения в научной и художественной прозе? С чем связаны колебания в средних размерах предложений в пределах одного интервала в рамках одного произведения для разных его частей? Если на схеме отложить по оси x номера сотен предложений (или глав) по порядку выборки, а по оси y — средние размеры предложений в каждой из этих сотен (или глав) и потом соединить все точки, получится ломаная кривая, дающая наглядное представление о колебаниях среднего размера предложений по сотням (или главам) в данном произведении¹⁸ (в любом научном или художественном тексте¹⁹). Не всегда эти колебания легко обосновать, иногда, может быть, их и вообще нельзя объяснить. Так, сравнительно небольшие отклонения (+2, —3) по сотням от среднего для всей книги Потебни размера предложения объяснить трудно, так как текст этой книги по содержанию довольно однороден.

Иначе обстоит дело в книге Бутлерова. Колебания здесь имеют больший размах (+6, —8), и они более последовательны. Эта книга состоит из двух неравных частей. В первой части (сотни № 1—13) излагаются общие теоретические основы и закономерности органической химии, ее методология. Средний размер предложения в этой части — 29,3. Во второй части (сотни № 14—59) дано описание конкретных классов и групп органических соединений, а также отдельных веществ. Средний размер предложений здесь заметно снижается; хотя в отдельных сотнях он и поднимается (№ 19, 21, 25, 36 и др.), но чаще он падает ниже среднего для всей книги размера (26,3); в «Заключении», где содержатся общие теоретические рассуждения, он опять поднимается. Совершенно очевидно, что эти колебания в средних размерах предложения по сотням в книге Бутлерова связаны с характером содержания той или иной сотни предложений. Чем конкретнее содержание, тем короче средний размер предложения.

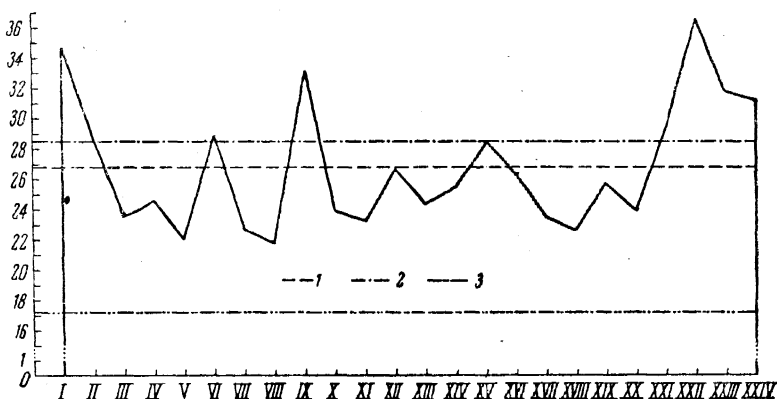
Такой вывод подтверждается и анализом книги Ключевского (см. рис. 6). Общий довольно низкий для научной литературы средний размер предложения в этой книге (26,8), очевидно, определен спецификой ее содержания: значительная часть книги содержит переложение суждений иностранцев о допетровской Руси, их рассказов о русских городах, обычаях, войске, земледелии и т. п. Во всех тех сотнях, где содержатся эти конкретные описания, средние размеры предложения ниже среднего для всей книги (№ 3, 4, 5 — описание ритуалов: встреча посла, его проезд до Москвы, прием посла, обед и др.; № 7, 8 — описание московского войска; № 10, 11 — описание управления, суда, пыток, наказаний; № 12, 13 — наместники и воеводы, борьба правительства с лихоимством, финансы, налоги, почему иностранцы возмущались московскими порядками; № 14 — описание климата и почвы, занятия населения; № 16, 17, 18, 19, 20 — описание городов, описание Москвы, Новгорода, Пскова). Большой средний размер предложений отмечен в сотнях № 1 (рассуждения автора о теме исследования), № 2 (анализ источников), № 6 (анализ взаимоотношений царя и бояр), № 9 (анализ отношения правительства к боярам и служилым людям), № 15 (анализ причин малолетности Московского государства), № 21, 22, 23 (анализ торговой политики), № 24 (монета). Представляется очевидной зависимость размеров предложения и в этой книге от степени конкретности содержания.

В этом убеждает нас также материал художественной прозы. Как известно, в «Войне и мире» от тома к тому усиливается публицистический элемент — авторские рассуждения на философско-исторические темы, отгесняющие пластику конкретно-чувственного изображения единичных предметов. И от тома к тому растет средний размер предложения в авторском повествовании: в томе первом он равен 17,7; во втором — 18,5; в четвертом — 19,7; в первой части «Эпилога» — 20,3, а во второй части «Эпилога», где содержатся только философско-исторические рассуждения автора, средний размер предложения равен 24,8, совпадая со средним размером предложения в педагогической статье Толстого «Прогресс и определение образования».

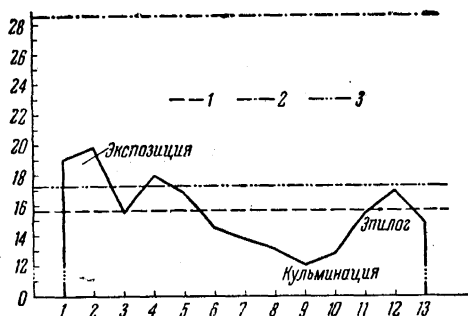
Схемы распределения средних размеров в сотнях предложений в романах «Накануне», «Дым» и «Казаки» (см. рис. 7, 8, 9) показывают характерную кривую, довольно точно отражающую композицию этих произведений. Vorgeschichte и экспозиция передаются (в среднем) большими предложениями, на завязку падают предложения значительно более короткие; развитие сюжета связано с уменьшением размеров предложений, но психологический анализ всегда передается сравнительно длинными предложениями. На кульминацию во всех трех романах падают самые короткие (в среднем) предложения; в эпилогах (в «Казаках» его нет) размеры предложений увеличиваются.

¹⁸ Аппроксимировать такую кривую нет нужды.

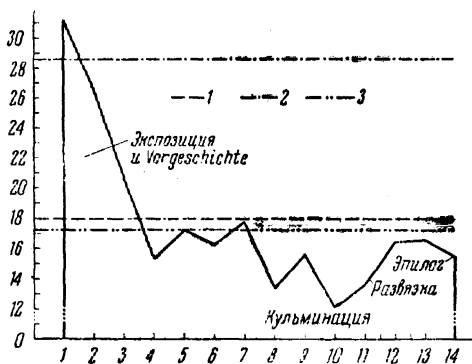
¹⁹ Здесь и всюду далее имеется в виду только авторское сплошное повествование, а не весь нерасчлененный текст художественного произведения.



Р и с. 6. «Сказания иностранцев о Московском государстве» Ключевского. Средние размеры предложений по сотням *



Р и с. 7. «Накануне» Тургенева. Авторское сплошное повествование. Средние размеры предложений по сотням



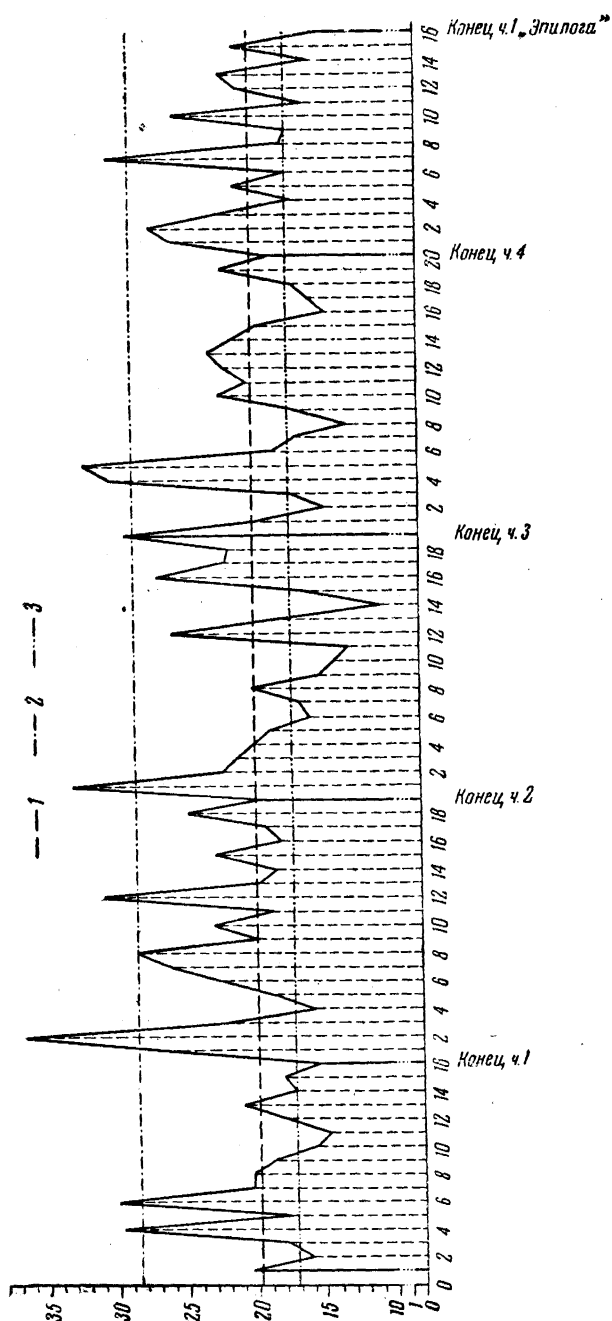
Р и с. 8. «Дым» Тургенева. Авторское сплошное повествование. Средние размеры предложений по сотням



Р и с. 9. «Казак» Л. Толстого. Авторское сплошное повествование. Средние размеры предложений по сотням **

* Условные обозначения для рис. 6, 7, 8, 9, 10: 1 — средний размер предложения в авторском сплошном повествовании в книге в целом, 2 — средний размер предложения в научной прозе в целом, 3 — средний размер предложения в авторском сплошном повествовании в художественной прозе в целом.

** Содержание текста «Казак» по сотням: I — отъезд Оленина из Москвы; этнографический очерк о гребенских казаках; II — III — этнографический очерк о гребенских казаках; IV — жизнь в станице и на кордоне; Лукашка убивает абрека; V — приход русских войск в станицу; Оленин; VI — знакомство Оленина с Ерошкой; VII — Лукашка и девки; Оленин и Ерошка; VIII — Лукашка и Ерошка; Оленин и Ерошка; IX — размышления Оленина в лесу [психологический анализ]; X — Оленин на кордоне; убитый горем; Лукашка; XI — Оленин и Белецкий [психологический анализ]; XII — вечеринка; XIII — нравственный мир Оленина; разговор; пьяный Ерошка у Оленина; XIV — сбор винограда; Оленин и Марьяна; XV — Оленин объясняется с Марьяной; XVI — праздник в станице; приезд Лукашки; XVII — Лукашка и Марьяна; Оленин и Марьяна; выезд за абреками; XVIII — битва с абреками; смерть Лукашки; XIX — отъезд Оленина.



Р и с. 10. «Война и мир» Л. Толстого, т. IV и «Эпилог», ч. 1. Авторское сплошное повествование. Средние размеры предложений по главам

Выборка в 100 авторских предложений может оказаться слишком большой для художественных произведений, не имеющих такой четкой «классической» композиционной схемы, как названные три романа, и тогда зависимость размеров предложений от внеязыкового содержания не будет столь очевидной. Например, деление на сотни предложений авторского текста тома первого «Войны и мира» дало не очень выразительную картину, а в «Отцах и детях» зависимость между содержанием и размерами предложений при таких выборках установить еще трудней.

Гораздо продуктивнее для наших целей расписывать некоторые произведения по главам, а именно — те, в которых, как в «Войне и мире» и в «Идиоте», главы довольно однородны по содержанию. Так, графическая схема средних размеров предложения по главам четвертого тома «Войны и мира» (см. рис. 10) показывает зависимость этих средних размеров от конкретной темы повествования: ч. 1, гл. 1 — салон А. П. Шерер в день Бородина; гл. 2 — известие о Бородине и об оставлении Москвы; смерть Элен; гл. 3 — доклад Мишо Александру I; гл. 4 — рассуждение о личных и общих интересах в истории; Николай Ростов в Воронеже; гл. 5 — Николай Ростов в Воронеже; бал у губернатора; гл. 6 — визит Николая Ростова к кн. Марье [психологический анализ]; гл. 7 — молитва Николая Ростова; письмо от Сони; гл. 8 — сложная ситуация в семье Ростовых; гл. 9 — Пьер на гауптвахте; допрос в комиссии; гл. 10 — Пьер и Даву; гл. 11 — расстрел пленных; гл. 12 — встреча Пьера с Каратаевым; размышления Пьера; гл. 13 — Платон Каратаев [авторская характеристика]; гл. 14 — приезд кн. Марьи к Ростовым; гл. 15 — встреча кн. Марьи с умирающим кн. Андреем; гл. 16 — сон кн. Андрея; смерть; ч. 2, гл. 1 — рассуждение о причинности и закономерности в истории; анализ военных действий; гл. 2 — анализ военных действий; гл. 3 — борьба честолюбий; анализ военных действий; гл. 4 — распоряжения перед Тарутиным; генеральский бал; гл. 5 — гнев Кутузова; гл. 6 — сражение; гл. 7 — анализ сражения; сравнение истории с диагонально параллелограммом сил; гл. 8 — анализ действий Наполеона; гл. 9 — распоряжения Наполеона в Москве; гл. 10 — анализ распоряжений Наполеона; гл. 11 — жизнь пленных; их отношения с французами; гл. 12 — психологический анализ состояния Пьера в плену; гл. 13 — положение пленных при отступлении французов; рассуждение о власти; гл. 14 — движение пленных; психологический анализ состояния Пьера; гл. 15 — военные события; Дорохов [авторская характеристика]; гл. 16 — приезд Болховитинова; Коновницын [авторская характеристика]; гл. 17 — размышления Кутузова; известие о бегстве Наполеона; гл. 18, 19 — анализ причин отступления французов; ч. 3, гл. 1 — рассуждение о народном характере войны 1812; гл. 2 — рассуждение о войнах, о силе и духе армий; гл. 3 — развитие партизанской войны в России; отряд Денисова; гл. 4 — Петя приезжает в отряд Денисова; гл. 5 — Тихон Щербатый; гл. 6 — разговор Денисова с Тихоном Щербатым; гл. 7 — обед у партизан; Петя и Винсент; гл. 8 — Долохов у Денисова; гл. 9 — Долохов и Петя в разведке; гл. 10 — Петя ночью перед боем; гл. 11 — смерть Пети; гл. 12 — Пьер в партии пленных; характеристика нового мироощущения Пьера; гл. 13 — рассказ Каратаева о купце; гл. 14 — смерть Каратаева; гл. 15 — сон Пьера; освобождение из плена; гл. 16, 17, 18, 19 — анализ военных действий; ч. 4, гл. 1 — анализ душевного состояния Наташи; гл. 2 — известие о смерти Пети; горе графини и Наташа; гл. 3 — анализ душевного состояния Наташи; ее дружба с кн. Марьей; гл. 4 — анализ военных действий; гл. 5 — анализ и оценка деятельности и роли Кутузова; гл. 6 — обращение Кутузова к войскам; гл. 7 — солдаты устриваются на ночлег; гл. 8 — разговор солдат у костра; гл. 9 — Рамбаль и Морель в пятой роте; гл. 10 — анализ военных действий; положение Кутузова; гл. 11 — новые цели войны; неизбежность ухода Кутузова; гл. 12 — душевное состояние и религиозное сознание Пьера; гл. 13 — нравственное перерождение Пьера; гл. 14 — возрождение Москвы; гл. 15 — Пьер встречает Наташу у кн. Марьи; гл. 16 — Наташа рассказывает Пьеру о смерти кн. Андрея; гл. 17 — Пьер рассказывает о себе Наташе и кн. Марье; гл. 18 — Пьер говорит кн. Марье о своей любви к Наташе; прощание Пьера с Наташей; гл. 19 — душевное состояние Пьера; гл. 20 — кн. Марья и Наташа говорят о любви Наташи и Пьера; «Эпилог», ч. 1, гл. 1 — несправедливость нападок на Александра I; философия истории; гл. 2 — движущие силы истории; гл. 3 — движение народов и судьба Наполеона; гл. 4 — роль Александра I в истории; гл. 5 — положение Ростовых; отношение Николая к Соне [автор рассказывает]; гл. 6 — объяснение Николая Ростова с кн. Марьей [автор показывает]; гл. 7 — хозяйственные способности Николая Ростова [автор рассказывает]; гл. 8 — перемены в характере Николая Ростова; гл. 9 — семейная сцена из жизни Николая Ростова [автор показывает]; гл. 10 — перемены в Наташе [автор рассказывает]; гл. 11 — приезд Пьера — семейная сцена [автор показывает]; гл. 12 — Николинка; характеристика Пьера и графини; гл. 13 — разговор за обедом о политических новостях; гл. 14 — разговор в кабинете Николая Ростова о тайных обществах; гл. 15 — разговор Николая Ростова и гр. Марьи; гл. 16 — разговор Наташи и Пьера; сон Николинки.

В «Отцах и детях», где главы по содержанию менее однородны, а «предыстории» отдельных действующих лиц сообщаются по ходу сюжета в связи с появлением этих персонажей, целесообразней оказалось расчленить авторский текст на десятки предложений. При таком членении обнаруживается зависимость размеров предложения от

непосредственных реальных ситуаций²⁰. Таким образом, размер выборки каждый раз определяется индивидуальными особенностями повествовательной манеры и композицией данного произведения. Но результаты всегда бывают приблизительно одинаковы.

Почему в *Vorgeschichte* и в эпилогах наблюдается высокий средний размер предложения, а в самом развитии интриги при описании действия наблюдается падение среднего размера предложения? Дело в том, что при непосредственном изображении событий, протекающих как бы на наших глазах, автор изображает конкретные, единичные предметы, людей и их действия д и с к р е т н о, именно как единичные факты, достигая этим большой пластичности и динамизма. В *Vorgeschichte* и в эпилоге автор дает сжатый обзор прошедших событий, они поставлены в некую причинную связь, дискретность преодолена связью логического авторского повествования, в котором уже не пластика единичных явлений, а осмысление этих явлений оказывается определяющей авторской установкой. Ср., например, I, II, III, IV главы второй части «Идиота». В I главе Достоевский дает обзор событий и судеб главных действующих лиц со времени встречи у Настасьи Филипповны. Детали как бы предполагаются несущественными и неинтересными для читателя, а поэтому их нет; глава представляет собой сплошное авторское повествование о прошлых событиях. Средний размер предложения в ней — 20,8. В трех следующих главах повествование ведется не в «прошедшем», а в «настоящем» времени, действие как бы происходит одновременно с повествованием: князь Мышкин приезжает в Петербург, едет на Пески к Лебедеву, затем на Гороховую к Рогожину — и люди, и предметы, и события входят в авторское повествование в той последовательности, как они возникают перед Мышкиным, и именно как единичные люди, вещи и факты. Средние размеры предложения в этих главах — 14,8; 14,4; 13,8.

Очевидно, в конечном счете это же различие в описании конкретного, единичного факта и в аналитическом осмыслении фактов с дальнейшим логическим обобщением результатов анализа, объединением фактов в цепь закономерных событий, различие в конкретно-чувственном, образном, пластическом видении и познании мира в искусстве и в логико-аналитическом познании мира в науке обуславливает различия в закономерностях распределения предложений в авторском художественном и научном тексте. Разумеется, это объяснение самого общего порядка, требующее еще большого дополнительного материала для проверки, не объясняет всех случайных отклонений, всех частностей. Следует также учитывать «требования жанра», в силу которых, например, даже философский эпилог «Войны и мира» не достигает средних параметров научной прозы и очень конкретные описания «единичных» фактов у Ключевского или Бутлерова по средним размерам предложения близки к философским выкладкам Толстого. Примечательно, например, что Ключевский в значительной части писем к Гвоздеву излагает лекции по богословию и философии своих университетских профессоров. Он очень основательно знакомит своего друга со взглядами Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Фихте, Гегеля, Фейербаха, однако средних размер предложения в его письмах остается все-таки в пределах параметров эпистолярной прозы.

Наконец, нужно иметь в виду и то обстоятельство, что постановка точки или запятой (точки с запятой) часто имеет случайный характер, и при конкретном анализе какого-либо произведения всегда следует учитывать и синтаксические особенности самой конструкции, а не только ее формальные (от точки до точки) размеры.

²⁰ Чертеж этот невозможно здесь привести ввиду его больших размеров.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА Л. В. ЩЕРБЫ

Рукописные материалы акад. Л. В. Щербы, впервые публикуемые ниже, относятся к разным периодам его научной деятельности. Рукопись, условно названная нами «О задачах лингвистики», представляет собой текст вступительной речи, произнесенной Л. В. Щербой на защите его докторской диссертации «Восточнолужицкое наречие» (Пг., 1915). Написана рукой Л. В. Щербы на двойном листе. Хранится в Архиве АН СССР (Ленинград), фонд 770, опись 1, № 36. В оригинале не имеет названия; в документации архива ошибочно описана (по первому абзацу) под заголовком «О взаимоотношении лингвистических дисциплин».

Не говоря уже о том, что это выступление Л. В. Щербы чрезвычайно интересно с историко-биографической точки зрения, оно имеет существенное научное значение. Прежде всего в нем, пожалуй более ясно, чем в любой другой работе Л. В. Щербы, выступает свойственное всей петербургской школе понимание предмета и задач лингвистики, идущее от И. А. Бодуэна де Куртенэ. Это касается как места, отводимого общему языкознанию в системе лингвистических дисциплин¹, так и призыва исследовать «конкретный, живой язык».

Мысли, высказываемые в публикуемом выступлении, довольно близко подходят к системе воззрений лингвистического психолингвизма. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Л. В. Щерба в этот период своей научной деятельности вообще больше, чем другие ученики Бодуэна, склонялся в сторону психолингвизма². Во-вторых, выступление носит явно полемический характер: Щерба противопоставляет свою концепцию концепции «модернизованных филологов» типа А. И. Соболевского. А при этом основным пунктом расхождения являлась, конечно, именно трактовка языка как «средства выражать наши мысли и чувства» в противоположность оперированию с «разными абстракциями» исторического характера. Отдельные идеи и даже формулировки выступления были позже использованы Л. В. Щербой в «Предисловии» к сборнику «Русская речь» (I, Пг., 1923)³.

Тезисы доклада «Что такое словообразование?» хранятся в машинописной копии (2 стр.) в Архиве АН СССР (Ленинград), фонд 770, опись 1, № 93. К сожалению, осталось невыясненным, где и когда Л. В. Щерба прочитал этот доклад и был ли он вообще прочитан. В тезисах мы находим оригинальное развитие общеграмматической концепции Л. В. Щербы, известной нам по напечатанным работам⁴. Следует отметить, однако, ряд особенностей этого доклада.

Во-первых, нельзя не обратить внимания на «формальную возможность» «соединить словообразование и морфологию в узком смысле слова в морфологию в широком смысле»: такое слияние несостоятельно для Щербы лишь семантически. По существу из того же тезиса о «действенном характере грамматики вообще и словообразования в частности» исходит распространенная в современной лингвистике концепция

¹ Ср. высказывания Е. Д. Поливанова по этому вопросу, приведенные в статье: А. А. Леонтьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики, ВЯ, 1961, 4, стр. 120—121.

² См. там же, стр. 117—118.

³ «...язык есть деятельность человека, направленная всякий раз к определенной цели, к наилучшему и наилучнейшему выражению своих мыслей и чувств... Отсюда возрождение интереса к живому языку как к данному в опыте явлению, к живому процессу речи... Народными говорами языковедение интересуется уже давно, но по преимуществу с точки зрения находимых в них остатков старины» (стр. 9—10).

⁴ См. особенно: «Очередные проблемы языковедения», «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958; «Преподавание иностранных языков в средней школе», М., 1947. См. также: В. В. Виноградов, Синтаксические взгляды и наблюдения акад. Л. В. Щербы, «Уч. зап. [МГУ]», III. Труды кафедр русск. языка..., 1950; его же, Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951.

грамматики как совокупности правил порождения последовательности структурных моделей, удовлетворяющих разным последовательностям лексем⁵.

Во-вторых, интересна данная Л. В. Щербой классификация видов словообразования, отличная от известной нам по «Востоchnолужичскому наречию», но приближающаяся к классификации в статье «Очередные проблемы языковедения». Особенно важно, что полное понимание существа словообразовательных процессов связано для Л. В. Щербы как с особенностями системы конкретного языка, так и с «историей общества и его потребностей». В-третьих, отметим, что деление на «производительные» и «непроизводительные» способы словообразования не совпадает с делением на «живые» и «мертвые». Исследователю научной биографии Л. В. Щербы это тем более интересно, что в 1904 г. «критерием психического существования или несуществования данного (словообразовательного) типа» для Л. В. Щербы являлась «способность его давать новообразования»⁶. Вопрос о различии этих категорий остается пока открытым; не имел ли здесь в виду Л. В. Щерба грамматически закономерных, но не обусловленных системой словообразования случаев типа *съесть собаку на чем-либо* (следует помнить, что для Щербы это — с л о в о)? Исходя из сопоставления тезисов с указанными в примеч. 4 печатными работами Л. В. Щербы, можно датировать их примерно концом 30-х — началом 40-х годов.

Рукопись статьи «О дальше неделимых единицах языка» на 16 листах, переписанная рукой жены Л. В. Щербы, хранится в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ⁷. На обложке название статьи повторено рукой самого Л. В. Щербы. При переписке были оставлены широкие поля, по-видимому, с целью облегчить дальнейшую работу над статьей, оставшейся незаконченной. Рукопись не датирована; однако хронологически она явно предшествует двум другим публикуемым работам, относясь, вероятнее всего, к периоду между 1904 и 1910 гг.⁸

Несмотря на то, что данная работа по существу является ученической, в ней содержится целый ряд положений, позднее не нашедших отражения в трудах Л. В. Щербы или переосмысленных им по-иному, но представляющих значительный интерес с точки зрения достижений и перспектив современной лингвистики. Прежде всего в этой работе очень ясно выступает идущее от Бодуэна положение о связи проблемы лингвистических единиц с методикой лингвистического анализа — положение, в наши дни ставшее аксиомой. Щербе здесь удалось убедительно показать, что проблема лингвистических единиц есть проблема не лингвистической онтологии, а лингвистической методики. Ссылки же на онтологию при рассмотрении вопроса о лингвистических единицах обычно лишь прикрывают собой неясность или прямую путаницу в методике.

В этой связи характерно, как подходит Л. В. Щерба к вопросу о слове. Здесь он отстаивает следующий основной тезис: слово семасиологически является производным от предложения, а грамматически — от морфемы. Этот тезис, в дальнейшем мало разрабатывавшийся Л. В. Щербой, безусловно справедлив. Из него следует, между прочим, что слово как семантическая единица и слово как грамматическая единица генетически (и функционально, что особенно подчеркивал Е. Д. Поливанов) не обязательно совпадают⁹. Отсюда первая из известных нам формулировок критерия «потенциальной изолируемости» слова в русской лингвистике¹⁰.

Речь, не подвергнутая лингвистическому анализу («рассматриваемая вне психической организации», как звуковая данность), представляет собой континуум. Это положение, затронутое также в статье «Субъективный и объективный метод в фонетике»¹¹, до сих пор, как ни странно, является предметом дискуссии. Сторонники противо-

⁵ Ср.: «Грамматика того или иного языка есть совокупность правил и перечней (lists), необходимая и достаточная для производства всех грамматических, и только грамматических, предложений этого языка» (F. W. Householder, On linguistic primes, «Word», XV, 2, 1959, стр. 231). См. также: N. Chomsky, Syntactic structures, 's-Gravenhage, 1957. У самого Щербы встречается характерная формулировка: система языка есть «сборник правил речевого поведения» (ср. А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 122—124).

⁶ «Психологический элемент в фонетике», л. 26 (Архив АН СССР, фонд 770, опись 1, № 75).

⁷ Приносим искреннюю благодарность М. И. Матусевич и Л. Р. Зиндеру за содействие при публикации настоящей работы.

⁸ На такую датировку указывает почти полное принципиальное совпадение изложенной в статье общefonетической (отчасти также грамматической) концепции со взглядами И. А. Бодуэна де Куртене этого периода. В то же время в статье еще отсутствует мысль о смысдоразличительной функции фонемы, впервые появляющаяся в печати в 1911 г. (см. L. Ščerba, Court exposé de la prononciation russe, Suppl. du «Maître phonétique», [P.], 1911).

⁹ См. также: Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5; А. А. Леонтьев, О понятии формально-грамматического слова (на материале немецкого языка), «Третья научн. сессия по вопросам германского языкознания. Тезисы докладов», М., 1961, и др.

¹⁰ См. также: О. В. Плетнер и Е. Д. Поливанов, Грамматика японского разговорного языка, М., 1930, стр. 144—147.

¹¹ См. «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 11.

положной точки зрения не придают должного значения тому факту, что всякое лингвистическое членение потока речи является функциональным, и различие между так называемым «звуком» (т. е. звуковым типом) и фонемой заключается только в самой функции.

В заключение необходимо пояснить последний абзац публикуемой статьи. Речь идет в нем об аналитических формулах исторического изменения «звуков» латинского языка, приведенных в монографии И. А. Бодуэна де Куртенэ «Из лекций по латинской фонетике» (Воронеж, 1893). По существу, Бодуэн выдвинул в этой монографии и в последовавших за ней работах¹² понятие дифференциального признака фонемы.

А. А. Леонтьев (Москва)

Л. В. ЩЕРБА

[О ЗАДАЧАХ ЛИНГВИСТИКИ]

Несколько лет тому назад, на моем магистерском диспуте я имел случай публично высказаться по вопросу о взаимоотношении разных лингвистических дисциплин.

Я говорил тогда, что если подходить к науке безо всяких посторонних интересов, каких-нибудь культурно-исторических или праисторических, то логически главное место должно занять общее языкознание, а история языков будет лишь доставлять материал для его построений.

Говорю логически, так как на практике каждый лингвист будет и должен, конечно, всегда заниматься историей языков в том или другом виде.

Однако этой логической точки зрения не следует упускать из виду, потому что она в значительной степени должна бы определять выбор материала для обработки.

Книга, которая сегодня должна явиться предметом диспута, задумана и написана под знаком такого понимания вещей, понимания, усвоенного мною от моего глубокоуважаемого учителя, профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ, понимания, от которого я не имел причин до сих пор отказываться.

В виду всего этого мое вступительное слово является собственно лишним; но мне хотелось бы обратить Ваше внимание на одно обстоятельство.

Не подлежит никакому сомнению, что лингвистика произошла из филологии.

Благодаря введению так называемого «сравнительного» метода, а также благодаря контакту с такими науками, как психология и даже физиология, лингвистика сделала в короткое время колоссальные успехи.

Но забравшись в отдаленные дебри «п р а я з ы к а» и «п р а я з ы к о в», она потеряла в известной мере связь с филологией, а в конце концов даже и с «языком», как это ни кажется странным.

В самом деле оказалось, что лингвистика стала оперировать по преимуществу с разными абстракциями, в лучшем случае с отдельными словами и формами, а конкретный, живой язык, орудие общения между людьми, остался в конце концов несколько в тени, вне поля научного наблюдения.

Отнюдь не собираясь кого-либо и что-либо сбивать, наоборот, полагая, что это естественный ход вещей, естественное развитие науки, я думаю, однако, что следовало бы все же обратить внимание на получившееся положение вещей, в силу которого наука о языке мало занимается языком, как непосредственно данным в опыте явлением.

И я позволяю себе думать, что необходимо в известной мере *г i t o r n a l s e g n o*, возвратиться к филологии, к любви к языку, как к средству выражать наши мысли и чувства.

Правда, филология тоже эволюционировала в значительной мере от любви к языку в сторону истории, истории литературы, искусства и т. п.

Да и повиная-то я то, что назвал филологией, несколько иначе, чем это делали в старину.

Филолог в популярном понимании — это любитель книги, для которого старопечатное, а тем паче давно написанное, является исключительно предметом поклонения.

Ведь даже модернизированный филолог, изучающий современные говоры, ищет в них лишь остатки, отражения старины и не считает эти говоры явлениями, достойными наблюдения сами по себе.

Я же зову любить, наблюдать и изучать человека, обнаруживающего свои переживания (между прочим и человека, пишущего книгу), и человека, повинаящего внешние знаки этих переживаний, вообще человека, как единственного истинного носителя языка, как выразительного средства.

Я зову наблюдать и изучать те связи, которые существуют между всевозможными и тончайшими оттенками мысли и чувства и знаками, их выражающими.

Я зову так же наблюдать и изучать язык в процессе языка.

Насколько смог, я попытался ответить на этот призыв в книге, которую представляю на Ваш суд.

¹² «Сравнительная грамматика славянских языков», СПб., 1902; J. Baudouin de Courtenay, Zarys historii języka polskiego, Warszawa, [1922], и др.

ЧТО ТАКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ?

(тезисы доклада)

1. Простейшими единицами «речи» являются не слова, а синтагмы.
2. Синтагмы служат как для обозначения отдельных понятий, так и для обозначения единичных предметов мысли, а также для выражения отдельных эмоций.
3. Синтагмы, обозначающие наличные уже в данном коллективе понятия или дифференцированные эмоции, являются простейшими единицами «языка», которые и следует называть «словами».
4. Синтагмы, обозначающие единичные предметы мысли, могут быть словами или сочетаниями слов.
5. Так как вновь возникающие понятия могут обозначаться сочетанием названий старых, то и обозначения отдельных понятий могут быть «сочетаниями слов», являющимися в таком случае «словами» или по крайней мере потенциальными словами.
6. Сочетания слов, являющиеся словами, могут состоять: I) из двух семантически полноценных элементов: *белый медведь, белая мука, домашний врач* и II) из одного «формального» и одного полноценного элемента: *быть в толстовке, носить толстовку, ходить в толстовке; делать уборку, заниматься хозяйством*.
7. Сочетания слов, являющиеся «словами», т. е. обозначающие наличные в данном коллективе понятия, естественно стремятся тем или иным способом обособиться от прочих сочетаний; отсюда наряду с сочетаниями слов, являющихся словами, появляются: III) сложные слова и IV) производные слова, из которых и те и другие отличаются от первых двух категорий лишь формально.
8. Наряду с этими четырьмя способами обозначений новых понятий, сводящихся в сущности к одному — сочетанию слов, — существует еще один — V) применение старых слов с изменением их значения.
9. Взаимоотношение между этими пятью способами обозначения новых понятий меняется от языка к языку и от эпохи к эпохе и должно составлять один из предметов ведения общего языкознания.
10. Очевидно, что второй и четвертый способы позволяют не только образовывать обозначения для новых понятий, но и выражать разные отношения понятий вообще. Здесь лежит формальная возможность соединить словообразование и морфологию в узком смысле в морфологию в широком смысле.
11. Семантическая несостоятельность этого слияния. Критика «понятия формы» Фортунатова и установление «понятия формы слова», как оно реализуется в фактах языка.
12. Словообразование и морфология в их взаимоотношениях.
13. Понятие слова в конкретных языках.
14. Действительный характер грамматики вообще и словообразования в частности.
15. Грамматика «активная» и «пассивная» (говорящие и слушающие).
16. Различение производительных и непродуцируемых способов словообразования.
17. Различение «живых» и «мертвых» способов словообразования.
18. История словообразования в конкретных языках. Возможность ее полного понимания лишь при совокупном рассмотрении всех пяти способов словообразования и истории общества и его потребностей.
19. Формальная эволюция суффиксов, префиксов и форм сложения.
20. Семантическая эволюция суффиксов, префиксов и форм сложения.
21. Переход сложения в словообразование.
22. Семантическое словообразование.

О ДАЛЬШЕ НЕДЕЛИМЫХ ЕДИНИЦАХ ЯЗЫКА

Хотя за последнее время положение, гласящее, что язык есть одно из проявлений психической деятельности, и стало, можно сказать, общим местом, однако оно далеко не вполне прочувствовано всеми лингвистами.

Недостаточно только знать это положение: необходимо, чтобы оно вошло, так сказать, в плоть и кровь, чтобы оно стало краеугольным камнем лингвистического *credo*, чтобы оно проникло во все уголки лингвистического мышления и стало необходимо интегрирующей частью всех дальнейших суждений в области языкознания.

Между тем мы видим, что психологическая природа языка признается большинством лишь теоретически и остается таким образом каким-то ненужным балластом без практического употребления.

Особенно это справедливо по отношению к фонетике. Поэтому, не вдаваясь в причины этого в общем понятного явления, можно только сказать, что никогда не будет лишним еще и еще раз подчеркнуть необходимость ни на минуту не упускать из виду той сферы, в которой происходят языковые явления.

Поэтому вполне может быть уместным исследование настоящей природы основных языковых понятий, тех основных единиц, с которыми мы оперируем при изучении языка.

Так как язык, рассматриваемый статически, т. е. в определенный данный момент времени, есть весьма и весьма сложная система ассоциаций, рассматриваемый динами-

чески, представляет из себя ряд психологических процессов известного рода, состоящих в смене представлений, которые являются членами языковых ассоциаций, то очевидно, что и языковые единицы могут быть только психологического порядка, т. е. представлениями.

Во всех науках основные понятия отыскиваются путем анализа представляющихся нашему опыту явлений. Тот же метод следует, конечно, приложить и при разыскании языковых единиц.

Если обратить внимание на представляющуюся нам массу языковых явлений, то легко можно заметить, что вся эта масса распадается на некоторые части, которые принято называть предложениями и которые можно охарактеризовать как представление некоторого звукового комплекса, ассоциированное с известным динамическим мыслительным актом. Я не даю более развитого определения предложения, так как это один из неокончательно решенных в науке вопросов и так как для моих целей вполне достаточно того определения, которое я дал. Не могу не подчеркнуть того признака, который я позволил себе назвать динамическим, так как по моему для понятия о предложении он является наиболее существенным. Ведь семасиологическая сторона предложения именно и отличается своим активным характером: это не пассивное длительное состояние, а некоторый процесс, требующий некоторого напряжения, некоторой психической энергии.

Лишив предложение этого признака, мы тем самым уничтожаем самое предложение, которое распадается на части — отдельные представления, уже не имеющие этого динамического характера, или, вернее, имеющие его лишь в скрытом виде — в виде возможности образовывать новые предложения.

Таким образом, поскольку мы не отвлекаемся от тех мыслительных процессов, которые составляют семасиологическую сторону языка, мы должны сказать, что предложения являются неделимыми единицами языка.

Но раз мы только отвлечемся от этой динамической стороны значения и будем рассматривать явления, так сказать, статически, то наша речь распадется на целый ряд звуковых комплексов, ассоциированных с известным, определенным значением, и далее с точки зрения значения неделимых это будут так называемые морфемы — общее понятие, под которое подходят столь употребительные понятия, как корень, суффикс, префикс, окончание. Для большей ясности возьму пример и разложу его на морфемы, до которых, как, впрочем, всегда и везде в науке, мы доходим путем анализа, т. е. путем сравнения: *Я-при-ше-л-к-теб-е-с-при-вет-ом*. В этом примере требует некоторого пояснения *тебе*: я отделяю *теб-е*, так как есть *теб-я* и *тоб-ою*, и есть *изб'-е*, *верб'-е*, *рыб'-е* и таким образом можно говорить о корне *t'eb'-/tob-* и окончании *-е*. Можно даже считать *t'eb'-/tob-* за основу, имея в виду деление *т-еб-е* в виду *ты* и себя. Но все это относится к области туманных, неясных ассоциаций. Пользуясь случаем, чтобы подчеркнуть возможность колебания в определении корня и суффикса или префикса для данного слова. Так, например, одному мальчику казалось, что корень в слове *пришел* будет *при*, и он не мог хорошенько примириться с моими уверениями, что корень будет *ше*, и он был прав с известной точки зрения: наиболее существенной морфемой для значения будет именно префикс *при*. Таким образом, поскольку мы не будем отвлекаться от значения, от семасиологической стороны речи, постольку неделимыми дальше единицами языка будут морфемы.

Может показаться странным, что я ничего не говорил о словах. Но, как это ни удивительно, как ни привычно для нас деление речи на слова, едва ли слово может считаться одной из основных единиц речи. В самом деле, что такое слово? Несомненно, что это есть какая-то семасиологическая единица, содержащая в себе одну или большее число морфем. Но чем же оно отличается от этой последней? Мне кажется, что словом мы назовем часть предложения, которую мы можем, не изменяя значения, употребить самостоятельно, т. е. в виде отдельного предложения. Дело в том, что при рассмотрении языковых вопросов мы должны руководствоваться не искусственной книжной речью, а обыкновенным разговорным языком, перед которым первая является почти что величиной исчезающей.

Между тем, если мы будем наблюдать за разговорной речью, то увидим, что она зачастую состоит из отдельных слов, которые составляют каждое самодовлеющее предложение в установленном выше смысле.

Для уяснения дела разберем уже приведенный пример, разделив его на слова: *Я-пришел-к-тебе-справителю*. *Я* будет несомненно слово, так как постоянно употребляется самостоятельно: *Кто это сделал?* — *Я*. Толкования грамматикой о неполных предложениях могут быть совершенно справедливы, но факт налицо, что кроме я других слов не было употреблено, а значение предложения, в указанном выше смысле, оно вполне имеет. Далее: *шел*, конечно, будет слово, что следует из следующих фраз: *Что ты вчера делал, когда я тебя встретил?* — *Шел*. Но *при* отдельно не употребляется (в разговорном, современном [...] языке оно несомненно употреблялось и отдельно¹) и потому составляет с *шел* одно слово, которое постоянно употребляется самостоятельно: *пришел*, говорит позванный или наконец достигший своей цели человек. *Тебе* может так же быть употреблено отдельно, но *к* нет: поэтому *к-тебе* составляет одно слово, и наше традиционное деление на слова несколько отстывает от истинного.

¹ Так в ркп. После слова «современном» следует пропуск для одного слова.

Вполне понятно, что предлоги составляют одно слово с тем, к которому относятся, так как они собственно ничем не отличаются по своей функции от окончаний. Впрочем, некоторое основание для традиционного отделения предлогов имеется, например, в шуточном выражении: спрашивают, положить ли сахар в чай: *с или без* и т. д.

Оговорка, что словами называются такие части предложения, которые могут употребляться отдельно без изменения значения, сделана в виду слов, как *пароход, паровоз*. Очевидно, что с *пар* в этих словах мы вовсе не связываем того, что обыкновенно связываем, когда употребляем это слово отдельно.

Мне кажется, что при подобном понимании слов становятся ясными многие явления фонетические, т. е. те представления фонетические, которые обыкновенно ассоциируются со словом, т. е. ударение, гармония гласных в урало-алтайских и резьянских языках, находящаяся в связи с ударением особенная аффицируемость начала и конца слова (*sandhi*). Действительно, вполне понятно, что некоторый изолированный звуковой комплекс должен быть объединен фонетически тем или другим способом, т. е. иметь некоторый экспираторный или музыкальный центр, или иметь общую надставную трубу и т. д. Понятно, что чем далее от экспираторного центра слова, тем слабее становятся артикуляции и тем скорее они подвержены влиянию соседства при переносе изолированного слова в состав более сложного предложения. Понятными становятся те процессы, которые известны под именем «Auslautgesetz». Понятно и то, что начало слова сравнительно менее подвержено изменению, так как, как всякое начало, привлекает внимание и имеет своеобразный психический акцент.

Возможно далее, что слова, некогда употреблявшиеся отдельно, лишаются этой возможности, но как пережиток сохраняют свое ударение, подчиняя однако его ударению другого слова, с которым они составили сложное слово.

Таким образом, оказывается, что слово есть понятие вторичное и до некоторой степени, по крайней мере генетически, совпадающее с предложением.

Теперь, если мы отвлечемся от значения и станем рассматривать нашу речь лишь с фонетической точки зрения, то она распадется на новый ряд представлений, которые проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ назвал *фонемами*, в отличие от соответствующих им в исполнении звуков. Наша речь, рассматриваемая вне психической организации, является непрерывным рядом и лишь на почве психической она делится на части, на некоторые звуковые представления, которые далее уже неделимы.

Эти представления получают нами посредством объединения целого ряда впечатлений, получаемых нами от произнесения приблизительно одного и того же звука. Ведь звуков вообще говоря бесчисленное множество, и можно даже сказать *a priori*, что нет звуков абсолютно похожих друг на друга. Тем не менее мы свободно понимаем друг друга и самих себя, так как число звуковых представлений — *фонем* — сравнительно невелико для каждого данного языка. На некоторые колебания в произношении одной и той же фонемы мы не обращаем внимания и даже не замечаем их, ашперцируя все подобное имеющимся у нас в душе общим представлениям.

Способность различения может колебаться в зависимости от разных условий, и там, где мы видели раньше одну фонему, потомки наши, может быть, будут различать несколько. Может быть и обратный случай: способность к различению может притупиться и несколько различавшихся фонем могут слиться, как это можно предполагать из истории ариоевропейских заднеязычных.

Но нельзя окончить обзор языковых единиц на фонемах.

Дело в том, что каждая фонема ассоциирована с целым рядом представлений физиологических работ, необходимых для произнесения данной фонемы. Эти работы могут выполняться или нет в зависимости от разных условий; так, например: в слове *окно* при произношении первой фонемы губная работа, входящая в состав фонемы *о*, обыкновенно не выполняется ввиду отсутствия ударения. В слове с *Иваном* среднеязычное сближение при фонеме *и* не выполняется, заменяясь более задним сближением (*suwán'ym*). Могут быть случаи, когда ни одна из намеченных работ не выполняется, как, например: фонема *л* в *солнце*, ср. *солнышко* [но в малорусск. *сонце* (*сонечко*)]. Это будут так называемые факультативные фонемы. Успех каждой науки зависит от того, как далеко простирается ее анализ. И мне кажется, что языковедение сделает большой шаг вперед, если обратит внимание на языковые единицы — на представления отдельных физиологических работ.

Некоторые попытки в этом направлении уже были сделаны английскими фонетиками Bell'ем, Sweet'ом, а также Jespersen'ом. Но они не принимали в соображение психологии, и главной побудительной причиной явилось у них желание создать универсальную схему для фонем всех языков, которые однако с трудом укладывались на это Прокрустово ложе.

{Много}² больше дал профессор И. Ал. Бодуэн де Куртенэ в своих [...] фонем (см. Лекции по латинской фонетике), так как исходил из психологического понимания вещей.

² В ркп неразб.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИКА ЯЗЫКА ХИНДИ В ОСВЕЩЕНИИ ИНДИЙСКИХ ЛИНГВИСТОВ

Язык хинди обладает богатой и этимологически разнообразной системой синонимов, сложившейся в специфических исторических условиях развития языка. Проблема синонимии в хинди представляет значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Поэтому она привлекает внимание большого числа современных индийских лингвистов, которые рассматривают синонимы языка хинди в аспектах лексикологии, лексикографии и грамматики.

В аспекте лексикологии синонимы хинди освещаются во многих трудах индийских ученых, в том числе в ряде кратких грамматик языка хинди. Так, не давая определения синониму, Бабулал Гоял и Рамкришна Шарма приводят несколько синонимических рядов слов хинди, например: *rātri* «ночь» — *kṣapā*, *niśithinī*, *triya-mā*, *rajinī*, *yāminī*, *niśā*, *kṣāpada*; *prthvi* «земля» — *dharā*, *dharitrī*, *dharanī*, *bhūmī*, *bhū*, *mahī*, *kṣiti*, *vasudhā*, *vasudharā*, *vasu-mati*, *rasā*, *acalā*, *avani*; *vāyu* «ветер» — *pavan*, *samir*, *mārūt*, *anil*, *jagatprān*, *prakampan*; *parvat* «гора» — *bhūddhar*, *śail*, *mahidhar*, *giri*, *ṣṛṅgi*, *adri*, *acal*, и др.¹

Приведенный Б. Гоялом и Р. Шармой перечень синонимических рядов свидетельствует о том, что авторы не стремились к систематизированному обзору синонимов хинди. Большинство из приведенных синонимов представляют собой существительные, обозначающие предметы и явления природы, названия некоторых частей человеческого тела, а также имена божеств индийского пантеона. Отметим, что в составе синонимических рядов здесь приводятся преимущественно санскритские слова, а также немногие слова исконно хинди; слова же иностранного (главным образом арабо-иранского) происхождения в представленных синонимических рядах отсутствуют, хотя эти слова употребляются в языке хинди в течение многих веков, глубоко проникли в лексику языка и не ощущаются носителями языка как иноязычные. Так,

в ряду слов со значением «земля» отсутствует слово иран. *zamīn*, в ряду слов, обозначающих «ветер», нет слова иран. *havā*. Иногда авторы опускают даже слова исконно хинди (типа тадбхава). Например, среди синонимов слов, обозначающих «ночь», нет слова хинди *rāt*, среди слов со значением «гора» нет слова хинди *puhār* и т. д. С другой стороны, многие из санскритских слов, представленные в этих синонимических рядах, в настоящее время непонятны для носителей языка хинди и фактически отсутствуют в лексике современного хинди. Исходя из этого, можно констатировать, что приведенные синонимические ряды в большей степени относятся к санскриту, нежели к хинди. Подобное своеобразное освещение синонимов языка хинди наблюдается в трудах ряда индийских языковедов. Возможно, что такой подход к проблеме объясняется стремлением представлять синонимии хинди, привлекая синонимию только санскрита и используя при этом соответствующие санскритские синонимические словари, традиция составления которых была развита еще в древней Индии.

Определения синонимам даются лишь в небольшом числе трудов, посвященных языку хинди, причем обычно они формулируются весьма лаконично. Определения синонимов можно найти также в толковых словарях языка хинди. Так, в большом словаре хинди «Хинди шабдасагар» синонимы определяются как *samānārthvācī śabd* «слова, выражающие одинаковое значение» или *samānārthak śabd* «слова с одинаковыми значениями»; эти определения иллюстрируются примерами: «синонимом слова *indra* „Индра (имя божества)“ является *pakṣāsan*, синонимом слова *viś* „яд“ — *halāhal*»². Подобное же определение можно найти в словаре, составителем которого является Навадджи³. Несколько более развернутое определение синонима дается в словаре Рамчандры Вармы. Повторяя приведенные выше определения

¹ B ā b u l ā l G o y a l t a t h ā R ā m k ṛ ṣ ṇ a Ś a r m ā, Saral hāi skūl vyākaran, Bareilly, 1950, стр. 189—190.

² «Hindī śabdasāgar», Nāga IV, sam-pāḍak — Śyamsundar Dās, Nāgarī Pracāriṇ ī Sabhā, Kāśī, 1922, стр. 226.

³ «Nālanda viśāl śabdasāgar», sampāḍak — Navalji, Dehli, 1951, стр. 809.

синонима, он, помимо того, отмечает, что синоним — это «ek śabd ke vicār se uske arth kā sūcak dūsrā śabd» «другое слово, выражающее значение первого слова» и «kiśi śabd ke saman arth rakhnevālā dūsrā śabd» «другое слово, содержащее значение, подобное [значению] данного слова»; в качестве примера синонимов Р. Варма приводит санскр. *jal* и *vari*, обозначающие «вода»⁴. Подобная законичность определения может иногда привести к недостаточному четкому выделению синонимов. На это, в частности, обращает внимание Бхоланатх Тивари в предисловии к своему «Большому словарю синонимов»: «часто под синонимами понимают слова, обладающие единым значением, однако в действительности синонимами называют слова с близкими значениями». При этом он приводит примеры синонимов, обладающих семантическими отличиями: индуистский бог Кришна может иметь ряд имен-эпитетов, в том числе *rādhāramāṇ* «Услава Радхи» и *kansanikāndaṇ* «Убивающий Кансу». Выбор этих слов должен производиться в соответствии с контекстом. Среди приводимых Б. Тивари примеров есть также идеографические синонимы, обозначающие «шлепок»: *śāṇtā* «звонкий шлепок», *thappar* «менее звонкий, но сильный шлепок», *zarādā* «очень быстрый и сильный шлепок», и т. д.⁵.

Большинство индийских лингвистов, рассматривающих синонимы языка хинди, не проводят их классификации. Так, Сарьюпрасад Агравал в своей книге «Языкознание и хинди» приводит несколько синонимов, употребляющихся в различных стилях языка, в частности глаголы *dekhnā* «смотреть» и *darśan karnā* «созерцать»; он указывает на стилиевые различия этих и подобных синонимов, не подразделяя их, однако, на различные группы⁶. В некоторых случаях индийские лингвисты приходят к необходимости классифицировать синонимы; при этом они подразделяют синонимы хинди на две категории — *ekārthī* «обладающие единым значением» и *samānārthī* «обладающие близким, сходным значением»; такую классификацию синонимов проводит Бабурам Саксена в своем труде «Семаснология»⁷. Среди слов, приводимых в качестве примеров синонимов типа *ekārthī*, можно найти как абсолютные, так и стилиевые синонимы. К абсолютным синонимам следует отнести слова *ḍākhār* и *ḍākhānā* «почтовое отделение». К числу стилиевых синонимов, примеры которых можно обнаружить у Б. Саксены среди синонимов типа

ekārthī, можно отнести слова *pitā* — *bāp* — *vālid* «отец», *pustak* — *kitāb* «книга», *satā-carpatra* — *akhbār* «газета» и др. Однако, приводя эти пары и ряды синонимов, Б. Саксена не отмечает того факта, что хотя эти слова и обладают одним и тем же значением, различие между ними все же существует: оно заключается в том, что эти слова употребляются в различных стилях языка. В отдельных случаях Б. Саксена подходит весьма близко к выделению группы стилиевых синонимов. Так, он отмечает, что «в одном и том же языке имеются различные, отличающиеся по своим качествам группы слов. В них могут выступать различные слова, служащие для выражения одного и того же понятия, как, например, *baiṭhiye* „сидитесь“ — *taśrif rakhiye* „присаживайтесь“, *āie* „приходите, пожалуйста“»⁸. Б. Саксена обращает внимание также и на тот факт, что в отдельных случаях заимствования принадлежат к более высокому стилю, нежели слова собственно хинди; ср. хинди *bhaṅgī* «мусорщик» — иран. *mehtar* «мусорщик», хинди *nāī* «брадобрей» — англ. *bārbār* «парикмахер». Несмотря на подобные отдельные замечания, Б. Саксена, как и другие индийские ученые, все же не выделяет особой группы стилиевых синонимов. В качестве примеров синонимов типа *satā-nārthī* Б. Саксена приводит слова *kulī* «грузчик» — *mazdūr* «рабочий», *skūl* — *pāṭh-śālā* — *maktab* «школа»; последние три слова, обозначающие «школа», имеют определенные семантические различия: в *skūl* преподавание ведется главным образом на английском языке и на хинди, в *pāṭh-śālā* обычно преподается санскрит, а в *maktab* — арабский, персидский языки и др.

Рассматривая синонимы языка хинди, индийские ученые не могли обойти вопроса, касающегося путей развития синонимии языка хинди. В частности, Б. Тивари в своем труде «Языкознание» приводит большое количество синонимов, образовавшихся в результате развития значения слов⁹. Так, в значении «жених» в хинди используются слова *var* и *dūlhā*. Однако ранее слово *dūlhā* (точнее, его древнеиндийская форма *durlabha*) означало «труднодоступный»: так как население Индии делилось на касты и найти подходящего жениха было делом весьма сложным, в значении «жених» и закрепилось слово *durlabha*, которое после фонетических изменений приобрело форму *dūlhā*; в настоящее время первоначальное значение этого слова, его внутреннюю форму носители языка не ощущают; об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что на базе слова *dūlhā* «жених» при помощи морфемы *-in*, производящей имена женского рода, образовалось слово *dulhin* «невеста». Слово *ganvār* первоначально озна-

⁴ «Prāmāṇik hindī koś», sampādak — Rāmācandra Varmā, dūsrā sanskaraṇ, Banāras, 1954, стр. 767.

⁵ Bholānāth Tivārī, Vrahat parayāyvacī koś, Ilāhābād, 1954, стр. 7—10.

⁶ Sar'yūprasād Agravāl, Bhāṣā-vijñān aur hindī, Ilāhābād, 1957, стр. 100—101.

⁷ Bābūrām Saksenā, Arthvijñān, Paṭnā, 1951, стр. 55—58, 129—148.

⁸ Там же, стр. 143.

⁹ Bholānāth Tivārī, Bhāṣā-vijñān, sanśodhit aur parivarddhit sanskaraṇ, Ilāhābād, 1957.

чало «житель деревни» (от *gāñv* «деревня»), но сейчас это слово выступает в значении «некультурный, необразованный», в результате чего оно стало синонимом слов *asabhyā*, *asanskṛt* «некультурный».

Б. Тивари указывает еще на один путь образования синонимов в хинди — посредством проникновения в лексику литературного языка отдельных диалектизмов. Так, из диалекта бходжури в лексику хинди проникло слово *daṇṭ* (от санскр. *daṇḍ*), которое синонимично слову *jurmānā* «штраф». Из этого же диалекта в хинди вошло слово *māhur* (от санскр. *mādhur* «сладкий»); в хинди это слово синонимично слову *viṣ* «яд». Бходжпурский диалектизм *gūh* (санскр. *guhya* «тайный») в хинди синонимичен слову *purīṣ* «экскременты» и т. п.

Большое количество синонимов в языке хинди образовалось в результате проникновения в его лексику иностранных слов. На это явление обращают внимание индийские языковеды. Много примеров синонимических пар и рядов, в которые входит слова иностранного происхождения, приводит в своем вышеупомянутом труде Б. Саксена: например, санскр. *pustak* — араб. *kitāb* «книга», санскр. *mādhū* — араб. *ṣaḥad* «мед», санскр. *samay* — араб. *vakt* — англ. *ṭaim* «время» и многие другие.

На особенности употребления синонимов различными социальными группами носителей языка хинди также обращает внимание Б. Саксена. В частности, он указывает, что в языке хинди для обозначения понятия «овощи» имеются слова-синонимы *sabzi*, *tarkāri* и *sāg*. Однако представители касты каястха (каста писцов) употребляют слово *sāg* в узком значении — лишь для обозначения шпината, горчицы и других овощей, у которых используются листья (т. е. в данном случае слово *sāg* соответствует русск. *зелень*), а для обозначения овощей в широком смысле они употребляют слова *sabzi* или *tarkāri*. Представители же касты вайшнав (в которую входят главным образом торговцы) по религиозным соображениям воздерживаются от употребления слова *tarkāri* вследствие того, что это слово, точнее его омоним, может также обозначать и «пригодное для пищи мясо»; употребление же мяса, как известно, индуистская религия запрещает, поэтому вайшны для обозначения овощей в широком смысле употребляют слово *sāg*.

Индийские лингвисты обращают внимание и на явление синонимической конкуренции. Так, Б. Тивари в своей научно-популярной книге «Жизнь слов» указывает на то, что если в языке появляются два совершенно различных синонима, то один из них может вытеснить из употребления второй; в качестве иллюстрации данного явления Б. Тивари приводит случаи вытеснения слов — как происшедшие в языке хинди несколько веков назад, так и происходящие в настоящее время. Например, слово *sahas* «тысяча» (от санскр. *śahasra*) было вытеснено из лексики хинди заимствованием франкского происхождения *hazār* «тысяча». Также несколько веков назад было вытеснено из активного со-

става лексики хинди санскр. *nyāyādhiṣṭha* «судья» арабским словом *kāzī* «судья», которое, в свою очередь, было вытеснено впоследствии заимствованием из английского *jaṭ* «судья»¹⁰. Б. Саксена в вышеупомянутой работе отмечает (стр. 55), что синонимы выходят из активного слоя лексики языка также вследствие утраты ими своих семантических различий. Это произошло, например, со словами *aśva*, *haya*, *vāji*, *sapti*, *turaga* и *turangama*, обозначающими «конь». Так как эти слова потеряли свои семантические различия, они в лексике хинди не употребляются, и теперь для обозначения понятия «конь» используется только слово *ghoṛā*.

Помимо лексикологического аспекта, индийские ученые работали над синонимами хинди и в плане лексикографическом. Эта работа выразилась в составлении двух синонимических словарей языка хинди. Автором первого такого словаря (1-ое издание которого вышло в свет в 1935 г.) был пандит Шрикришна Шуклат¹¹. В своем труде он преследовал практические цели — дать пособие учащимся, писателям и поэтам. При составлении словаря Ш. Шукла использовал ряд санскритских синонимических словарей, в том числе словарь, составленный Амарой¹², а также индийскую традиционную медицинскую и астрономическую литературу. Так же, как и в санскритских синонимических словарях, в данном словаре словарные статьи расположены не по алфавиту, а по тематике. Весь словарь разбит на четыре крупных раздела: 1) мифология, 2) география, 3) человек и 4) животный мир. Каждый из этих разделов имеет большое количество подразделов. Всего словарь содержит 2251 словарную статью. Каждая из них представляет собой перечень слов, синонимичных главному слову статьи. Словарные статьи в подразделах также даются не по алфавиту, а по принципу «от более значительного к менее значительному» («сверху вниз»). Так, перечень наименований человеческого тела начинается с названия головы и кончается названием пят, перечисление наименований каст начинается с названия касты брахманов, которая считается, согласно индийской традиции, высшей, и кончается словом *bhikṣuk* «нищий». Вполне понятно, что такой принцип расположения статей основан на чисто субъективном подходе; это сказывается и на подаче материала в словаре: слова внутри словарной статьи — синонимического ряда — располагаются то в алфавитном порядке, то совершенно

¹⁰ Bholānāth Tivārī, *Ṣabdon kā jīvan*, Dillī-Bambāī-Nāī Dillī, 6. г., стр. 110—115.

¹¹ Śrīkrīṣṇa Śukla, *Hindī paryayavācī koṣṭha*, sanśodhit evam parivarddhit dvitīya sanskaraṇ, Banāras, 1949.

¹² «Amarakoṣa. With the commentary of Maheśvara», enlarged by Raghunāth Shastri Talekar, Bombay, 1907.

произвольно; все это не может не затруднять пользования словарем.

Выход в свет этого первого синонимического словаря хинди явился тем не менее большим событием в лексикографии хинди; словарь был встречен положительно выдающимися индийскими учеными. Для Ш. Шуклы характерно то, что автор отдает предпочтение санскритской лексике, многие слова которой либо очень редко встречаются в лексике хинди, либо вообще не употребляются в этом языке. Таким образом, фактически данный словарь больше знакомит читателя с синонимией санскрита, чем с синонимией хинди. Помимо санскритской лексики, автор приводит и наиболее употребительные слова арабо-иранского происхождения. Так, в ряду синонимов, обозначающих «неделя», наряду с санскр. *saptāh* приводится также и иран. *haftā*. В ряду синонимов со значением «мир, вселенная» выступает санскр. *sansār* и араб. *dunīyā*. Надо сказать, однако, что во многих случаях иранские заимствования в синонимических рядах не представлены. Так, в ряду слов, обозначающих «год», нет иран. *sāl*, в ряду слов, объединяемых значением «город», нет иран. *šahar*, хотя оба эти слова глубоко проникли в лексику хинди и не ощущаются носителями языка как заимствования. Следовательно, в словаре не выдержан единый принцип составления словарных статей; часто в них опущены заимствования. Каждая словарная статья (синонимический ряд) в этом словаре содержит лишь перечень слов; никаких помет относительно сферы употребления того или иного слова в языке, относительно принадлежности слова к той или иной стилистической разновидности языка не дается. Не указываются также и те семантические отличия, которыми обладают слова, составляющие синонимические ряды. Наличие такого рода помет, оснащение словарных статей примерами на употребление синонимов в контексте значительно обогатило бы словарь и одновременно облегчило бы пользование им.

Вторым словарем синонимов языка хинди является названный выше «Большой словарь синонимов», составленный Б. Тивари. Словарный материал расположен в этом труде по следующим разделам: а) религия, б) искусство и наука, в) живые существа, г) растения, металлы и минералы, д) отдельные предметы, е) место, ж) время, з) отвлеченные понятия. Расположение словарных статей по этим разделам также является весьма произвольным; чтобы облегчить отыскание в словаре необходимой словарной статьи, словарь снабжен специальным индексом. Слова в синонимических рядах даются в алфавитном порядке. В отличие от словаря Ш. Шуклы, словарь Б. Тивари более полно представляет лексическую синонимию современного хинди: здесь представлена лексика и исконно хинди, и заимствования из санскрита, а также слова арабо-иранского происхождения и

заимствования из английского. Сравнение словарных статей этих двух синонимических словарей показывает, насколько шире представлена синонимия хинди в словаре Б. Тивари. Так, в словаре Ш. Шуклы словарная статья «год» содержит лишь шесть слов, и все они являются санскритскими словами, в то время как словарь Б. Тивари содержит в этом же синонимическом ряду семнадцать слов, среди которых, помимо санскритских слов, имеются также слова исконно хинди (*baras*) и заимствования из иранских языков (*sāl*). Синонимический ряд со значением «город» у Ш. Шуклы содержит семь слов (все они — заимствования из санскрита), в словаре же Б. Тивари этот синонимический ряд состоит из четырнадцати слов, среди которых, помимо заимствований из санскрита, представлено также и заимствование из иранских языков — *šahar*. Последнее зафиксировано в двух формах — *šahar* и *saḥar*, из которых вторая претерпела фонетические изменения: звук *š* перешел в *s*, что является характерным для ряда народно-разговорных диалектов языка хинди. Из этого примера следует, что словарь Б. Тивари фиксирует не только литературные формы слов, но и их дублиеты, характерные для народно-разговорного языка. Помимо синонимов, словарь Б. Тивари во многих случаях приводит также и антонимы. Хотя словарь Б. Тивари представляет лексическую синонимию языка хинди намного полнее, чем словарь Ш. Шуклы, тем не менее словарные статьи обоих словарей ограничиваются лишь перечнями синонимов; никаких помет к словам, поясняющих их семантические оттенки или стилистическую принадлежность, в этих словарях не дается; нет также и примеров, иллюстрирующих употребление различных синонимов в контексте.

Помимо специальных синонимических словарей, лексическая синонимика хинди находит отражение также и в словарях другого типа, в частности в двуязычных словарях. В этом отношении для нас наибольший интерес представляет «Русско-хинди словарь», составителем которого является Вир Раджендра Риши¹³. Характерной особенностью словаря В. Р. Риши является то, что в словарной статье он на первое место выдвигает слова, принадлежащие к литературному языку и чаще всего — к стилю «высокий хинди», после чего даются их синонимы, относящиеся к нейтральному стилю языка. Так, например, русскому *помощь* в словаре соответствуют санскр. *śahāyatā* и араб. *maḍād*, русск. *вопрос* соответствуют санскр. *praśn* и араб. *saḥāl*. Первые слова этих синонимических пар относятся к «высокому хинди», вторые — к нейтральному стилю языка. В отдельных случаях В. Р. Риши дает лишь слова, относящиеся к «высокому хинди», но не приводит их синонимов, принадлежащих нейтрально-

¹³ Vīr Rājendra Rīṣi, Rūṣi-hindī śabda koṣ, Nai Dillī, 1957.

ному стилю языка; так, слово *необходимость* он передает посредством санскр. *avaśyaktā* (не приведено араб. *zarūrat*), *дружба* — санскр. *mītrātā* (нет иран. *doštī*), *возраст* — санскр. *āyu* (нет араб. *umr*), *радость* — санскр. *prasañnatā*, санскр. *harṣ* (нет иран. *khušī*). Таким образом, в ряде случаев словарь В. Р. Ринчи недостаточен полно передает синонимии языка хинди, характерную для различных стилей языка и особенно — для нейтрального стиля.

Помимо изучения синонимов хинди в аспектах лексикологии и лексикографии, индийские лингвисты рассматривают синонимы и в аспекте грамматики. На вопросе, касающемся участия синонимов хинди в образовании синонимических повторов, специально остановился в своем труде «Грамматика языка хинди» Дуничанд ¹⁴. При этом он привел как повторы, оба компонента которых этимологически однородны, так и повторы, состоящие из генетически различных синонимов, например, хинди-хинди *kām-kā* «работа», санскр.-араб. *rīti-rivāj* «обычай и право». Однако Дуничанд не дает анализа приводимых им синонимических повторов, ограничиваясь лишь одними примерами. В разделе грамматики, посвященном словосложению, мы находим у Дуничанда примеры сложных слов — синонимических двандв, причем среди них также имеются как генетически однородные, так и гибридные двандвы, бытующие в языке хинди (например: хинди-хинди *lūt-mār* «разбой», араб.-санскр. *kāgaz-patra* «документы»).

На наличие в языке хинди синонимических двандв указывает также и Камта-прасад Гуру в своем труде «Грамматика хинди» ¹⁵. Он отмечает, что сложные слова этого типа могут быть гибридными, и отдельно дает примеры синонимических гибридных двандв, например: иран.-санскр. *ciṣ-vastu* «вещи», хинди-иран. *moṭā-tāzā* «дородный». Помимо синонимических сочетаний существительных и прилагательных, К. Гуру приводит и ряд синонимических глагольных сочетаний, отмечая при этом, что при спряжении таких сочетаний из-

менения претерпевают оба компонента например: *apnā kām dekho-bhālo* «следите за своей работой», *bāt samīhī-būjhī jāyagī* «дело будет понято» и др. Аналогичные примеры можно найти и в труде Кипоридаса Ваджпей «Грамматика языка хинди» ¹⁶. Например: *dekhhe-bhālne kaun jāegā?* «кто пойдет наблюдать?» Говоря о повторах прилагательных, К. Ваджпей отмечает, что синонимические повторы более выразительны, чем повторы тавтологические, и поэтому они широко употребляются в хинди (например, *uskā cehrā lāl-surkh ho gayā* «его лицо стало пунцовым»). Ближний по своему содержанию материал содержит книга Удайнараяна Тивари «Возникновение и развитие языка хинди», где приводятся примеры генетически однородных и гибридных синонимических двандв ¹⁷.

Внимание к проблеме лексической синонимии современного хинди особенно проявилось в последние годы в независимой Индии, когда развитию и изучению языка хинди во всех его аспектах стали придавать особо важное значение. В настоящее время индийские языковеды продолжают работу по изучению синонимов языка хинди. Об этом свидетельствует, в частности, выход в свет в конце 1959 г. работы Хардева Бахри «Семантика хинди», где значительное внимание уделяется определению синонима и дается подробный анализ источников синонимии хинди, в конце книги приводится список наиболее употребительных в хинди синонимических пар, состоящих из слов арабо-иранского происхождения и их синонимов — слов исконно хинди и заимствованных из санскрита ¹⁸ (эта книга еще не получена библиотеками СССР, и, естественно, разбор ее не мог быть включен в настоящую статью). Нет никакого сомнения в том, что изучение важной и интересной проблемы синонимии хинди будет продолжаться в дальнейшем еще более интенсивными темпами.

П. А. Баранников

¹⁶ Kiṣoridās Vājpeyī, *Hindī śabdānuśāsan*, Kāśī, 1958, стр. 511—513.

¹⁷ Udaynarāyaṇ Tivārī, *Hindī bhāṣā kā udgam aur vikās*, Prayāg, 1956, стр. 473.

¹⁸ Hardev Bahri, *Hindī semantics*, Allahabad, 1959.

¹⁴ Duniṣand, *Hindī vyākaraṇ*, Hoṣyārpur, 1951, стр. 227, 311.

¹⁵ Kāmtāprasād Guru, *Hindī vyākaraṇ*, saṁśodhit saṁskaraṇ, Kāśī, б. г., стр. 404—405, 495—497.

РЕЦЕНЗИИ

H. Spang-Hanssen. Probability and structural classification in language description. — Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 1959. 231 стр. + 2 табл.

Настоящая работа (докторская диссертация автора, инженера по образованию) представляет интерес прежде всего как опыт построения точной теории на глоссематической основе. Автор использует некоторую (не очень большую) глоссематическую терминологию (вполне, однако, переводимую на общезыковедческую). Проблемы, которые его занимают, также характерны для глоссематики: это прежде всего проблема произвольности выбора системы для данного текста (произвольности классификации данного материала), которую автор решает, предлагая конкретный критерий оценки. Как и глоссематиков, автора интересует вопрос вторичного анализа — предполагается уже произведенным некий анализ, выделены элементы и получены дистрибуционные диаграммы, характеризующие их сочетаемость. Далее автор предлагает конкретные методы обнаружения типа зависимости между элементами по этим диаграммам.

При этом представляется, что некоторые положения автора объясняются исключительно связью с глоссематикой, но не стоят в необходимой связи с его теоретическими построениями. Сюда, по-видимому, можно отнести его рассуждения о знаковости языка; думается, что автор может обойтись без теории знака в своем анализе, так как он разбирает язык в одном плане. Как кажется, выводы автора представляют интерес для лингвистов, занимающихся синхронной лингвистикой, независимо от того, используют ли они глоссематические термины. Позиции автора можно было бы охарактеризовать как неdeskриптивистские.

Глава 1 озаглавлена «Системное и случайное». Здесь даются методологические предпосылки, из которых исходит автор. При лингвистическом анализе язык можно рассматривать как закрытый текст или как открытый текст. В первом случае лингвист работает исключительно над данным конкретным материалом. Во втором случае лингвист рассматривает данный текст лишь как образец открытого, т. е. бесконечного материала (текста бесконечной протяженности). При последнем подходе, как показывает Х. Спанг-Хансен, неизбежна постановка гипотез — именно гипотезы о случайности (или неслучайности) яв-

ний, наблюдаемых в закрытом материале. Иными словами: высказывается гипотеза, что некоторые явления, обнаруженные в закрытом тексте, встречаются в любом тексте данного языка. По мнению автора, практически при рассмотрении сочетаемости элементов указанная гипотеза сводится к следующей конкретной проблеме: как различать ограниченную встречаемость и случайную невстречаемость какого-либо сочетания (т. е. вопрос о возможных и исключительных сочетаниях).

Противопоставление открытого и закрытого текста по сути близко к противопоставлению «система—текст» или «langue—parole» и удачным образом отражает различие между концепциями дескриптивистов и последователей де Соссюра. Сам Х. Спанг-Хансен стоит на сосюрских позициях. Язык понимается как «имманентная структура, ... независимая от узуса». По мнению автора, имманентный структурный анализ может применяться только в отношении открытого материала; закрытый материал не нуждается в нем — разве что для педагогических целей (из соображений системности). При этом под структурой понимаются зависимости между элементами, которые могут быть представлены на разных уровнях. Таким образом, структура языка есть иерархия отношений между его единицами.

Для описания языковых отношений автор использует глоссематическую классификацию функций и функтивов (глава II «Структурные отношения и типология дистрибуций»). Функтивы (члены функций) делятся на: а) постоянный (его присутствие — необходимое условие для наличия функтива, к которому он относится); б) переменный (его присутствие не является необходимым условием для наличия функтива, к которому он относится). Различаются следующие функции: а) солидарность — функция между двумя постоянными, б) селекция — функция между постоянной и переменной, в) свободная комбинация — функция между двумя переменными¹. Считается, что при по-

¹ Определение функтива, функции и видов функций см. Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, сб. «Новые в лингвистике», I, М., 1960, стр. 284—288, 292—299.

мощи этих функций можно описать структуры плана выражения и плана содержания всех языков.

Далее ставится задача: на основании диаграммы дистрибуции элементов найти ту или иную функцию между этими элементами. Задача иллюстрируется конкретным примером: требуется найти селекцию между датскими графемами, т. е. определить, какие элементы находятся друг к другу в отношении селекции, и, таким образом, разделить их на гласные и согласные².

При составлении дистрибуционной диаграммы исходят из какой-то эмпирической единицы — слога, слова и т. д. (исходной величины) и из элементов, которые могут составлять эту исходную величину³. Автор строит диаграмму, где исходной величиной служит датское «графическое слово» из одной и двух букв, причем в качестве элементов берутся 8 датских графем. На диаграмме из 64 (8×8) полей (возможных комбинаций) заполнено 21 (21 сочетание выступает в качестве исходной величины). При этом обычно для удобства считается, что сочетание из одного элемента (например, *i*) представляет бинарное сочетание из того же элемента (*ii*) и заполняет соответствующее поле диаграммы (сочетание из одного элемента называется автокомбинацией).

Предварительно устанавливаются классы селекции: I. «селектирующий» — класс элементов, никакие взаимные сочетания которых (включая автокомбинацию) не могут составить исходную величину, но каждый из которых может составить исходную величину в сочетании с элементами класса II (например, согласные); II. «селектируемый» — класс элементов, которые могут составить исходную величину, сочетаясь как сами с собой, так и с элементами класса I (например, гласные); III. «ни селектирующий и селектируемый» — класс элементов, которые не могут составить исходную величину в сочетании с элементами класса I, но каждый элемент может составлять исходную величину как в автокомбинации, так и в сочетании с элементами класса II (например, русские предлоги *в*, *к*, *с*); IV. «ни селектирующий, ни селектируемый» — класс элементов, которые не могут составить исходную величину в сочетании с элементами классов I, II, III, но каждый элемент составляет

исходную величину в автокомбинации (например, элемент *&* в письменном датском, а также в письменном английском и др.).

Строится типическая диаграмма, иллюстрирующая типы селекции:

	I	II	III	IV
I	-	+	+	+
II	+	+	+	+
III	-	+	+	+
IV	-	-	-	+

Эту диаграмму можно проиллюстрировать, если взять в качестве элементов следующие датские графемы: класс I — *p, r, s, t*; класс II — *i, o, u*; класс III — *y*; класс IV — *&*.

Далее имеющаяся эмпирическая диаграмма перестраивается так, что приводится к виду типической диаграммы. Указываются процедура перестройки: в диаграмму вписываются все сочетания элементов независимо от порядка, т. е. если имелось сочетание *at*, то вписывается и сочетание *ta*, хотя бы оно и не было зафиксировано (поскольку при выделяющихся классах селекции порядок не может иметь значения); затем последовательно в диаграмме отбираются горизонтальные графы, которые не включают автокомбинаций и характерные элементы⁴ которых не сочетаются друг с другом; эти характерные элементы помещаются в левый верхний угол диаграммы. В результате перестройки в левом верхнем углу диаграммы имеем пустое поле, представляющее незаполненные сочетания элементов, которые не образуют сочетаний ни друг с другом, ни в автокомбинации (т. е. элементов класса I). Если удастся получить в диаграмме такое пустое поле, это значит, что диаграмма обнаруживает селекцию.

Из различных возможных классификаций выбирается та классификация, диаграмма которой располагает самым большим пустым полем; т. е. при классифицировании надо стремиться к получению наибольшего числа селектирующих элементов I. Это положение автора весьма важно: он предлагает конкретный метод разрешения произвольности классификаций, стремясь к максимальной степени систематизации.

Аналогичными методами определяется солидарность (если в перестроенной диаграмме в поле, соответствующем полю II. II типической диаграммы, сочетаний

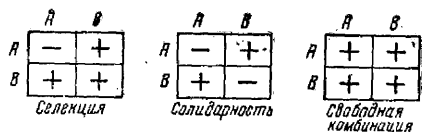
² Х. Спанг-Хансен ссылается на Л. Ельмслева, который определяет гласные и согласные через селекцию.

³ Простейшая дистрибуционная диаграмма представлена таблицей, на горизонтальной и вертикальной осях которой выписаны один и те же элементы. Элементам соответствуют вертикальные и горизонтальные графы, пересечения которых образуют поля. Таким образом, любое возможное сочетание из 2 элементов имеет соответствующее поле. Сочетания, отмеченные в тексте, заполняют соответствующие поля; остальные поля остаются пустыми.

⁴ Характерные элементы суть элементы, которые выписаны по осям таблицы; они участвуют в каждом сочетании соответствующей графы.

нет, дистрибуция обнаруживает не селекцию, но солидарность) и свободная комбинация (случай, когда вообще нет пустых полей).

Следующие типические диаграммы показывают различие этих трех функций:



Разбираются остальные случаи возможного распределения классов разных типов из одной дистрибуции. В соответствии со сказанным необходимо прежде всего выделять селекцию. Показывается, что если в исследуемой дистрибуции не заполнено менее половины полей, то исключается возможность солидарности, а дистрибуция может обнаруживать только селекцию или свободную комбинацию.

Автор обсуждает вопрос последовательности выделения классов разных типов из одной дистрибуции. В соответствии со сказанным необходимо прежде всего выделять селекцию. Показывается, что если в исследуемой дистрибуции не заполнено менее половины полей, то исключается возможность солидарности, а дистрибуция может обнаруживать только селекцию или свободную комбинацию.

Также рассматривается вопрос: как быть со сложными сочетаниями (более чем из 2 элементов), для которых нельзя построить диаграмму предложенным способом. Предлагается при классификации исходить из бинарных сочетаний и результат затем проверять на более сложных.

Автор показывает возможность применения предложенных им методов к дистрибуции элементов, принадлежащих к заведомо разным классам, т. е. когда на горизонтальной и вертикальной осях диаграммы расположены разные элементы. Однако подчеркивается, что выводы относительно систематичности по дистрибуции такого рода гораздо менее показательны, так как пустое поле в такой диаграмме может быть вызвано случайными причинами. Вообще автор различает лишь два вида заполнения полей — отсутствие заполнения и наличие заполнения. Однако может оказаться полезным сравнивать, сколько раз зарегистрировано заполнение данного поля: рекомендуется это делать в сомнительных случаях.

Выше говорилось о том, как можно установить тип функции, исходя из обнаруженной дистрибуции; однако анализ производился на основе закрытого материала. В главе III «Гипотеза структурной классификации» рассматривается специфика открытого материала.

В главе I была показана неизбежность постановки гипотез при имманентном структурном анализе. В связи с этим необходимо учесть возможное несовершенство гипотетической системы: надо предусмотреть возможность противоречащих случаев. Х. Спанг-Хансен предлагает производить языковое описание в терминах: правило, исключе-

ние, противоречие. «Правило» и «исключение» задаются при описании; «противоречие» представляет эмпирически найденный в каком-то конкретном материале случай, который не покрывается описанием (противоречит гипотезе и не входит в перечисленные исключения). Примерами противоречия могут служить различные оговорки, опечатки, заимствования из другого языка, сознательные отклонения от «нормального» языка и т. д. В практической работе с такими случаями нельзя не считаться.

Это положение очень показательно как для позиции автора, так и для направления работы. В самом деле, если мы рассматриваем анализируемый материал как один из образцов открытого текста и строим некую систему для этого открытого текста, мы должны допустить возможность того, что в каком-то тексте встретится случай, противоречащий нашей системе. Это неизбежно: даже при самой совершенной системе такие противоречащие случаи могут появиться в связи со всякого рода «помехами» (оговорки, опечатки и т. д.). Всякое явление, которое не покрывается системой, мы можем считать такого рода помехами (ср. «шумы» в теории связи). Описание так же зависит от классификации, как и классификация от описания (если мы определяем нечто, описывая его свойства, тем самым мы классифицируем, подразделяя эмпирический материал на случаи, которые удовлетворяют этим свойствам, и на те, которые не удовлетворяют). Автор утверждает имманентность и внутреннюю непротиворечивость устанавливаемой системы.

В самом общем виде гипотезу структурной классификации можно было бы сформулировать как гипотезу о соотносимости эмпирического материала с устанавливаемой системой.

Возможность противоречащих случаев приводит автора к следующему важному выводу: в самом исследуемом (закрытом) материале могут быть случаи, противоречащие устанавливаемой системе. Поскольку мы признаем неизбежность противоречащих случаев в «открытом» материале и случайность выбора данного закрытого материала, естественно сделать вывод о возможности противоречащих случаев и в закрытом материале. Следовательно, при анализе закрытого материала необходимо предварительно выделить такие противоречащие случаи, т. е. некоторые явления объявить несистемными. На это можно было бы возразить, что при увеличении текста эти противоречащие случаи могут разрастись очень сильно. Однако, по-видимому, автор так не думает и считает закрытый текст прямым отражением открытого текста.

Обсуждаются различные конкретные вопросы, связанные с выделением противоречий при предварительном анализе; предлагается некоторая методика такого выделения. Одним из оснований выделения может служить частота встречаемости элементов.

Как видно, рассуждения автора в главах I—III носят весьма общий характер и приложимы к разным языковым уровням. Свои положения автор иллюстрирует, классифицируя датские графемы (глава V). В связи с этим обсуждаются некоторые конкретные вопросы, принимаются определения некоторых понятий, высказы-

вается ряд частных методических соображений (глава IV «Фонема и графема»). Представляется оправданным выбор письменного текста для анализа — письменный текст очень упрощает предварительную методику (например, тем самым решается проблема сегментации).

Б. А. Успенский

C. L. Ebeling. *Linguistic units*. — 's-Gravenhage, 1960, 143 стр. («Janua linguarum. Studia memoriae N. van Wijk dedicata». Edenda curat C. H. van Schooneveld, XII).

Книга голландского фонолога, слависта и кавказоведа К. Эбелинга посвящена общирному кругу спорных вопросов методики лингвистического исследования, а также уточнению понятий некоторых его единиц. В кратком введении и автор указывает, что язык, будучи средством коммуникации, является системой знаков, которая не может функционировать без четких различий между ее элементами. Поэтому исходной точкой работы является убеждение автора в том, что возможность проведения ясной грани между элементами звучания или значения есть необходимое условие для установления этих элементов как релевантных единиц языка (стр. 13). Книга состоит из семи разделов: два первых посвящены парадигматическому и синтагматическому разграничению фонем, два следующих парадигматическому и синтагматическому разграничению семантических единиц, пятый раздел посвящен морфеме и два последних касаются более крупных лингвистических единиц и некоторых вопросов развития языковой системы в целом.

Сущность замечаний К. Эбелинга в адрес методики фонологического исследования, принятой пражской школой и зависимыми от нее направлениями, можно кратко охарактеризовать как упрек в фонетизме, т. е. в отходе в ряде случаев от функциональной точки зрения в фонологии. Считая, что в фонологическом анализе определение дифференциальных признаков должно предшествовать установлению фонем, определяющихся в дальнейшем уже как пучки дифференциальных признаков (ср. новое мнение Р. Якобсона¹), автор усматривает непоследовательность Р. Якобсона и А. Мартине в применении функционального критерия при отождествлении самих дифференциальных признаков. По К. Эбелингу, эта непоследовательность заключается в том, что если при отождествлении фонем фонетическое сходство признается совершенно недостаточным критерием, то при отождествлении дифференциальных признаков

и Р. Якобсону и А. Мартине представляется достаточной констатация факта, что, например, признак, различающий /b/ в *beak* от /p/ в *peak*, идентичен признаку, различающему /b/ в *cab* от /p/ в *cap*, именно с артикуляционно-акустической, т. е. с фонетической точки зрения. По мнению К. Эбелинга, различие взглядов Р. Якобсона и А. Мартине состоит лишь в том, что последний прямо признает, что отождествление дифференциальных признаков в отличие от идентификации фонем осуществляется на фонетическом, а не на фонологическом уровне² (стр. 20). Автор заключает отсюда, что в результате такого игнорирования функционального аспекта языка при отождествлении дифференциальных признаков Р. Якобсон в подходе к фонемам странным образом сближается с английским фонетистом Д. Джоунзом³ (стр. 26). Далее, рассматривая дифференциальные признаки как функциональные качества фонем, К. Эбелинг предлагает свою процедуру отождествления дифференциальных признаков (и, следовательно, идентификации фонем в различном окружении), состоящую в тесте на функциональную субституцию самих дифференциальных признаков сопоставляемых сегментов (стр. 27—29).

Второй раздел работы посвящен проблеме сегментирования потока речи на фонологическом уровне. Автор выступает здесь против допускаемого иногда в специальной литературе чисто структурного подхода. Приводя известные попытки монофонематической интерпретации потенциально бифонемных сегментов типа *c* или *ç*, «нарушающих» общие фонетические закономерности, допустим, начала слова в исследуемом языке⁴, К. Эбелинг спрашивает, что же

² Ср. A. Martinet, *Phonology as functional phonetics*, London, 1949, стр. 3.

³ Критическую оценку фонологической позиции Д. Джоунза у самого Р. Якобсона см. в кн.: R. Jakobson and M. Halle, указ. соч., стр. 12; ср. также: A. Martinet, [реп. на кн.:] D. Jones, *The phoneme: its nature and use*, «Word», VII, 3, pt. 3, 1951, стр. 253—254.

¹ См. R. Jakobson and M. Halle, *Fundamentals of language*, 's-Gravenhage, 1956, стр. 3—5, 20—45. Ранее Р. Якобсон, придерживаясь обратной последовательности, сначала выделял фонемы и лишь затем выявлял их дифференциальные признаки; ср.: R. Jakobson, *On the identification of phonemic entities*, в кн. «Recherches structurales 1949» (TCLC, V), 1949.

⁴ См. об этом: N. Trubetzkoy, *Grundzüge der Phonologie*, TCLP, 7, 1939, стр. 50; A. Martinet, *Un ou deux phonèmes?*, «Acta linguistica», I, 2, Copenhagen, 1939, стр. 90; его же, *Occlusives and affricates with reference to some problems of Romance phonology*,

собственно можно возразить против следующей формулировки: «В этом языке в начальной позиции встречается лишь по одной согласной фонеме и ограниченное число сочетаний двух согласных, скажем, сочетаний, состоящих из смычного и гомоорганного спиранта (или даже одно такое сочетание)»? (стр. 62—63). Автор находит решение всей этой проблемы в трудах Н. С. Трубецкого, А. Мартине и Ф. Хинтце⁵ неудовлетворительным опять-таки с фонологической точки зрения (стр. 63, 64). Он считает, что А. Мартине, решительно отмежевывающийся от чисто фонетических критериев Н. С. Трубецкого, в конечном счете не свободен от них и сам: звук интерпретируется им как бифонематический, если он не является единством ни с точки зрения теста на функциональную субституцию, ни с точки зрения фонетической⁶. Фонетическим фактором обусловлено практически решение вопроса и у Р. Якобсона⁷. К. Эбеллинг считает, что решение проблемы по существу дается в первом разделе его работы, где выдвигается требование установления дифференциальных признаков без предварительного расчленения последовательности звуков на фонемы. Далее автор спрашивает: если, инвертируя фонологический анализ, мы сначала устанавливаем дифференциальные признаки, то насколько необходимым элементом исследования является фонема? Теоретические основания для введения понятия фонемы имеются, так как анализ действительно обнаруживает определенные пучки дифференциальных признаков; сами же дифференциальные признаки не являются частями речевого звука и, следовательно, не являются присовокупляемыми сущностями (стр. 68). Второй раздел завершается критическими замечаниями по поводу распространенного мнения о возможности построения различных фонологических моделей языка⁸.

Третий и четвертый разделы посвящены вопросам семантического анализа. Здесь подчеркивается, что если фонологическая система в принципе

может быть определена и вне учета фактора значения (со ссылкой на известное высказывание Б. Блоха), то описание семантической стороны языка без учета формальной исключено. Тот факт, что форма легче поддается анализу, еще не свидетельствует о второстепенности анализа языкового значения; по мнению К. Эбеллинга, значение следует анализировать так же всесторонне, как и форму (стр. 83—84). Автор возражает здесь против взгляда о необходимой симметричности языковой структуры в своей основе. Согласно его мнению, и взгляд С. Ульмана, считающего минимальной значимой единицей языка слово⁹, и взгляд идущего ступенью дальше Л. Блумфильда, который приурочивает конец семантического анализа к морфеме¹⁰, не оправданы, подобно обратной попытке — при анализе значения «членить его на фонемы» (стр. 86). Возможность семантического анализа на «подморфемном» уровне, как полагает К. Эбеллинг, показывают работы Р. Якобсона¹¹; при этом имеется в виду, что содержание также разложимо на низшие семантические элементы («семантические минимумы») (стр. 87). По мнению автора, С. Ульман забывает, что «семантические минимумы» Р. Якобсона также не поддаются расчленению на формальную сторону и содержание и что они тоже могут рассматриваться как различители слов; значение в целом реализуется в семантическом континууме, так же как форма — в звуковом. Отсюда К. Эбеллинг допускает симметрию лингвистической сущности обоих планов и возможность вычленения их минимальных единиц. Далее, проводя принципиальную грань между нелингвистическим дифференциальным признаком значения и семантическим минимумом, он предлагает свою методику определения семантического минимума, основанную на построении пропорций между элементами, соотносимыми с лексическим значением (стр. 91—94); надо сказать, что в какой-то мере его методика повторяет соответствующую методику Л. Ельмслева¹². Так, например, «пропорция англ. „stallion (жеребец): mare

«Word», V, 2, 1949; K. L. Pike, *Phonemics: a technique for reducing languages to writing*, Ann Arbor, 1959, стр. 131.

⁵ См.: N. Trubetzkoy, указ. соч., стр. 50; A. Martinet, *Un ou deux phonèmes?*, стр. 94—103; F. Hintze, *Zur Frage der monophonematischen Wertung*, «Studia linguistica», IV, 1—2, 1950, стр. 14—24.

⁶ Ф. Хинтце находит, однако, что А. Мартине в своей методике удалось избежать фонетических аргументов (см. F. Hintze, указ. соч., стр. 16).

⁷ См. R. Jakobson, указ. соч., стр. 208.

⁸ Cp. Yuen Ren Chao, *The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems*, в сб. «Readings in linguistics», ed. by M. Joos, Washington, 1957.

⁹ См. St. Ullmann, *The principles of semantics*, Glasgow, 1951, стр. 30.

¹⁰ См. L. Bloomfield, *Language*, New York, 1933, стр. 161.

¹¹ См. R. Jakobson, *The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelations*, «Actes du sixième Congrès international des linguistes. Rapports», Paris, 1948, стр. 4—18; cp. также E. A. Nida, *A system for the description of semantic elements*, «Word», VII, 1, 1951, стр. 6—7, где в составе морфемы допускается наличие нескольких «этносем» или «лингвисем».

¹² Cp. L. Hjelmslev, *Omkring sprogteoriens grundlæggelse*, København, 1943, стр. 63—64 (русс. перевод: Л. Ельмслев, *Пролегомены к теории языка*, в сб. «Новое в лингвистике», 1, М., 1960, стр. 327—328).

(кобыла) = ram (баран): ewe (овца)“ обна-
руживает пару противоположных семан-
тических минимумов, а именно дифферен-
циальные качества, общие обоим полови-
нам равенства: „male (самец): female (сам-
ка)“. Эта же пропорция может быть пре-
образована в „stallion (жеребец): ram (ба-
ран)=mare (кобыла): ewe (овца)“. Так мы
получаем другую пару семантических
минимумов: „horse (лошадь): sheep
(овца)“. Семантический минимум
„horse (лошадь)“ является tertium compara-
tionis сопоставления: „stallion (жере-
бец): mare (кобыла)“. С лингви-
стической точки зрения, сопоставление
„wood (лес, дрова): forest (лес)“ не ведет
к вычленению tertium comparationis. Не
ведет к его вычленению и сопоставление
„male (самец): female (самка)“; конечно,
это противопоставление повторяется в
„stallion: mare“, однако общий элемент
здесь равняется нулю» (стр. 96). Далее
указывается, что хотя в приведенном
случае выявленные семантические мини-
мумы находят отдельное выражение в
языковых формах (male, female и horse,
sheep), последнее обстоятельство не явля-
ется решающим требованием анализа; так,
например, семантический минимум «ро-
дительный падеж» во многих языках встре-
чается лишь в комбинации с другим се-
мантическим минимумом — «ед. число» или
«мн. число» (стр. 96—97).

Пятый раздел работы, посвя-
щенный морфеме, построен у автора в
форме полемики с положениями, разви-
ваемыми в известной работе Ю. Найды,
самом пространным и исчерпывающем —
по признанию К. Эбелинга — исследова-
нии морфемки¹³. В начале раздела рас-
сматриваются два возможных понимания
морфемы как минимальной значимой ед-
ницы языковой структуры — одно, вос-
ходящее к Л. Блумфилду и предполагаю-
щее необходимость наличия реального
звукового коррелята тому или иному
грамматическому значению (наиболее от-
четливо это понимание выражено в по-
следнее время Ч. Хокеттом), и другое,
сформулированное де Гроотом, понимаю-
щим под морфемой всякую грамматически
дифференцирующую черту. К. Эбелинг
примыкает к первому из этих мнений.
Далее принимается инвариантный харак-
тер морфемы, предполагающий ее раз-
личную актуализацию в синтагматической
цепи, и признается, что отождествление
морф (например, -s в cat-s и -en в ox-en)
в качестве вариантов одной морфемы за-
висит от функционально-дистрибутивных
критериев, а не обуславливается характе-
ром фонемных последовательностей, со-
ответствующих им линейно на фонологи-
ческом уровне (стр. 125—133). Необходи-
мость использовать понятие морфемы
в лингвистическом анализе, по мнению
автора, объясняется тем, что морфема
является элементарным знаком, едини-
цей, где начинает действовать семиотиче-

ская функция языка. Более крупные ед-
ницы (слово, предложение) обладают дву-
сторонним формально-семантическим ха-
рактером, так как они состоят уже из
этих элементарных знаков (стр. 111).

После сделанного в шестом раз-
деле замечания о том, что даже наи-
более удачное, операционное по своему
характеру определение слова, предло-
женное Дж. Гринбергом¹⁴, страдает
односторонностью, так как не учитывает
семантического аспекта языка (стр. 134—
135), в последнем разделе
работы К. Эбелинг затрагивает некоторые
вопросы диахронической лингвистики, свя-
занные с функционированием ранее рас-
смотренных автором лингвистических ед-
ниц. Он признает здесь правомерность опи-
сания языковых фактов как в синхрониче-
ском, так и в диахроническом аспектах.
Настоящие изменения в системе языка,
по автору, происходят лишь тогда, когда
ареал языкового континуума расширяется
введением новой фонологической или се-
мантической разграничительной линии
либо, наоборот, когда две минимальные
единицы сливаются в одну; однако это
может произойти лишь внезапно (стр.
137). Поэтому, продолжает К. Эбелинг,
лингвисты, отрицающие идею скачкооб-
разного развития языка, правы лишь
тогда, когда они ограничиваются нелинг-
вистическими аспектами языка; однако,
если исследуется код какой-либо языковой
общности, определенная идентичность
идиолектов ее членов, приходится допу-
стить, что постепенное изменение исклю-
чено. В этой части работы автор неодно-
кратно касается решения соответствую-
щих проблем в наиболее известной моно-
графии Э. Косеру, солидаризуясь, в
частности, с особо подчеркнутым там
положением о том, что лингвистические
изменения манифестируются в синхронии¹⁵.

Наиболее интересными и оригиналь-
ными в книге К. Эбелинга являются два ее
первых раздела, трагующие спорные
вопросы фонологии. Эта часть работы
представляется определенной реакцией на
те трудности, с которыми столкнулись
пражская лингвистическая школа и за-
висимые от нее направления (А. Марти-
не, голландский лингвистический кружок,
московская фонологическая школа и др.);
вследствие того, что представители этих
направлений используют в фонологиче-
ском анализе понятие дифференциальных
признаков фонем, соотносимых с акусти-
ческими инвариантами, самое понятие
фонемы у них тяготеет в известной мере
к представлению звукотипа. Упрек автора
в адрес представителей пражской школы

¹⁴ См. J. Greenberg, The word as a linguistic unit, «Psycholinguistics. A survey of theory and research problems» (Suppl. to «Journ. of abnormal and social psychology», XLIX, 4, pt. 2), Baltimore, 1954, стр. 66—71.

¹⁵ См. E. Coseriu, Sincronía, dia-
cronía e historia. El problema del cambio
lingüístico, Montevideo, 1958.

¹³ E. A. Nida, Morphology: the descrip-
t analysis of words, Ann Arbor, 1949.

в непоследовательном применении функционального критерия к идентификации дифференциальных признаков фонем и к решению проблемы монофонематической интерпретации, по-видимому, имеет свои основания. В известной мере упрек пражцам в их фонетизме поддерживается и представителями московской фонологической школы, сомневающимися, как известно, в возможности установления акустических коррелятов дифференциальных признаков фонем методами экспериментальной фонетики¹⁶.

Особенность позиции представителей московской школы, однако, состоит в том, что они настаивают на определении дифференциальных признаков лишь после установления состава самих фонем, различия между которыми очевидны уже из специфики их дистрибутивных моделей. Вместе с тем нельзя не отметить того странного обстоятельства, что, выступая за последовательное проведение функционального подхода к фонологии, К. Эбеллинг, ссылаясь на часто цитируемое высказывание Б. Блоха, по-видимому, солидаризуется с идеей возможности определения фонемного состава языка исключительно на основе дистрибутивных, т. е. чисто структурных критериев (стр. 83); не следует забывать при этом, что фонема в понимании З. Харриса и Б. Блоха, будучи дистрибутированным звуко-типом, является фонетической, а не фонологической единицей (в металыке американо-лингвистики содержание пражской фонологии скорее отвечает морфофонемике, имплицитно или эксплицитно учитывающая функцию фонемы в слове) и поэтому не совпадает с фонемой в понимании К. Эбеллинга¹⁷.

Несмотря на то, что в свое время К. Эбеллинг посвятил вопросу семантического анализа специальную статью¹⁸, соответствующие разделы его работы обнаруживают значительно меньшую самостоятельность по сравнению с предыдущими.

¹⁶ См., например: П. С. Кузнецов, О дифференциальных признаках фонем, ВЯ, 1958, 1, стр. 55—59; см. также А. А. Реформатский, Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка, в сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961. На фонетизм пражцев в решении фонологических проблем З. Харрис обратил внимание еще в 1941 г.; см. Z. S. Harris, [реп. на кн.:] Grundzüge der Phonologie, by N. S. Trubetzkoy, «Language», XVII, 4, 1941; см. также: Ch. F. Hockett [реп. на кн.:] «Recherches structurales (TCLC, V)», IJAL, XVIII, 2, 1952, стр. 95—96.

¹⁷ Cp. B. Bloch, A set of postulates for phonemic analysis, «Language», XXIV, 1, 1948, стр. 5; см. также: Z. S. Harris, Structural linguistics, Chicago, 1959, стр. 25—96 и 219—242.

¹⁸ См. C. Ebeling, Phonemic and functional semantics, «Lingua», III, 1953.

Здесь совершенно очевидна его зависимость от путей, намеченных ранее Р. Якобсоном и особенно Л. Ельмслевом.

Нельзя не согласиться с автором, равно как и с Ч. Хокеттом и А. Мартине¹⁹, в том, что целый ряд вопросов морфемки в книге Ю. Найды не нашел удовлетворительного решения; действительно, не говоря о конкретных недостатках этой книги, ее можно назвать образцом непоследовательности в методике анализа (с одной стороны, здесь, например, смешиваются понятия, на четком разграничении которых описательная лингвистика настаивает, с другой стороны — разделяются ее некоторые формалистические крайности). Достоинством раздела рецензируемой работы, посвященного морфеме, является принятие автором представления о морфеме как инварианте, реализующемся в конкретных алломорфах, выдвинутого, по-видимому, З. Харрисом²⁰, и по существу чуждого пражской школе и зависимым от нее лингвистическим направлениям: в процедуре идентификации морфемных сегментов пражцы и их последователи обычно признают релевантным критерий тождества фонологического состава этих сегментов (иными словами, на протяженности морфемы допускаются только аллофонические чередования и не остаются места для алломорфических). Между тем такое различие в подходе к методике выделения морфем обуславливает серьезные расхождения в устанавливаемом морфемном «лексиконе» исследуемого языка. В то же время на трактовке ряда вопросов в работе К. Эбеллинга не могло не сказаться безоговорочное принятие автором распространенного в лингвистике тезиса о знаковом характере морфем, нуждающегося в специальном обосновании.

Следует отметить, что языковая система представляется К. Эбеллингу объективно данной реальностью, в процессе познания которой исследование выявляет ее неотъемлемые элементы (фонемы, морфемы и другие единицы). Полемизируя с Ю. Найдой, автор спрашивает: почему лингвист не должен воспроизводить факты такими, какими они ему даны, почему он должен представлять во что бы то ни стало как тождественное то, что в реальности различно? (стр. 111). По мнению автора, разительные расхождения между языковыми структурами должны адекватно отражаться и в описательном анализе.

Книга К. Эбеллинга, охватывающая спорную проблематику формально-грамматического и семантического анализа

¹⁹ Cp. Ch. F. Hockett, [реп. на кн.:] E. A. Nida, Morphology..., «Language», XXIII, 3, 1947; см. также: A. Martinet, [реп. на кн.:] E. A. Nida, Morphology..., «Word», VI, 1, 1950.

²⁰ См. Z. S. Harris, Morpheme alternants in linguistic analysis, «Language», XVIII, 3, 1942, стр. 170—177.

языка, представляет собой интересную попытку преодоления трудностей в методике исследования, с которыми столкнулись некоторые лингвистические школы. Исследовательский метод работы свидетельствует о том, что ее автор стоит на позициях структурно-функционального направления, наиболее плодотворного в языкознании последних лет. Вместе с тем особенность функциональной позиции автора заключается в том, что в фонологическом анализе он ограничивается лишь положительной или отрицательной реакцией информанта на вопрос о тождестве или различии предложенной ему сопоставляемой пары слов. Совершенно очевидно, что в этом отношении К. Эбелинг, подобно некоторым другим европейским фонологам, несколько сближается с умеренными представителями школы Л. Блумфилда, оперирующими понятием так называемого «дифференциального значения»²¹.

²¹ Ср. Н. Hoijer, *Native reaction as a criterion in linguistic analysis*, «Reports for the eight International congress of linguists», II, Oslo, 1957, стр. 114—117. Нельзя пройти в работе К. Эбелинга

Работа К. Эбелинга более сильна в своей критической части, особенно если учесть, что она содержит целый ряд замечаний общего характера и в адрес некоторых представителей описательной лингвистики. Эти замечания касаются формалистических крайностей в их методике морфемного анализа (например, введения категории морфем-заместителей), односторонности различного рода операционных определений, трудностей последовательного применения анализа по непосредственно составляющим и т. п. Что же касается позитивной стороны книги К. Эбелинга, то она в целом имеет несколько меньшее значение (например, предложенная автором процедура отождествления дифференциальных признаков фоном не гарантирует исследователя от субъективности в анализе; трудно согласиться и с трактовкой К. Эбелингом «семантических минимумов» как «подморфемных» единиц плана содержания).

Г. А. Климов

га и мимо некоторых других элементов синтеза положений пражской школы и А. Мартине и идей, выдвинутых в описательной лингвистике.

ДВЕ ПУБЛИКАЦИИ СТАРЫХ БАЛТИЙСКИХ ТЕКСТОВ *

Хотя письменные памятники балтийских языков стали появляться лишь в середине XVI в. (в это время в связи с развитием реформационного движения на протяжении нескольких лет выходят переводы трех прусских катехизисов, литовского катехизиса М. Мажвидаса и несколько позже — латышского католического и лютеранского катехизисов), значение старых текстов для воссоздания общей картины исторического развития балтийских языков несравненно существеннее, чем можно предполагать, основываясь на их позднем появлении. Два обстоятельства придают особую ценность этим переводным и, к тому же, весьма однообразным по содержанию текстам. Во-первых, они возникли в период, когда не могло еще быть и речи о создании балтийских литературных языков или хотя бы некоторой относительно унифицированной нормы (отсюда — независимость от скользящих схем единого эталона и

разнообразие языка и стилистических манер в этих древнейших текстах). Во-вторых, эти ранние тексты написаны на разных диалектах, которые, как известно, весьма сильно дифференцируют балтийскую языковую область. Таким образом, диалектный «разброс» старых балтийских памятников в известной степени компенсирует чрезвычайную ограниченность временных расхождений и делает эти тексты полноценным историческим источником и основой для реконструкции дописьменного периода. Оба эти обстоятельства хорошо объясняют пристальное внимание старых авторов или переводчиков к языку и пристрастие к явной или скрытой полемике с языком и (пире) с принципами перевода других текстов (особенно — однородных по содержанию или жанру). Ср. явную противопоставленность протестантского (кальвинистского) «Катехизиса» М. Петкявичюса (1598 г.) «Катехизису» М. Даукши (1595 г.); моркуновской «Литовской постиллы» (1600 г.) — «Католической постилле» Даукши (1599 г.); 2-го катехизиса на древнепрусском языке — 1-му катехизису (ср. также «Энхиридион» в переводе Абея Вилля в 1561 г.) и ряд других не менее убедительных примеров. Благодаря им современный исследователь истории балтийских языков обладает как бы несколькими версиями этих языков, тем более ценными, что они относятся к одному и тому же времени и, по существу, представлены одинаковыми по содержанию или очень сходными текстами. Поэтому каждая новая публикация старых текстов на балтийских языках должна рассматриваться как примечательное событие не только в области изучения

* «Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament», II — tekst, Wydali Cz. Kudzinowski — J. Otrębski. — Poznań, 1958 («Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk. Wydział filologiczno-filozoficzny. Komisja filologiczna»). Предлагается выпустить первый том с воспроизведением подлинного текста и третий том, в котором будет дан анализ памятника и индексы.

«Evangelien und Episteln ins Lettische übersetzt von G. Elger nebst einem Register seiner geistlichen Lieder aus der Zeit um 1640», hrsg. von K. Draviņš, I — Texte. — Lund, 1961 («Slaviska Institutionen vid Lunds Universitet. Text- och materialutgåvor», 1).

истории культуры балтийских народов, но и в чисто лингвистическом плане.

Среди очень немногочисленных изданий последних лет следует выделить публикацию двух больших и важных памятников — литовской библии Хилинского и латышских евангельских текстов Эльгера. Оба памятника относятся к середине XVII в.; сведения о них до сих пор ограничивались краткими и мало авторитетными указаниями, которые не могли удовлетворить специалистов.

В 1958 г. в Познани Ч. Кудзиновский и Я. Отрембский издали новозаветный текст литовской библии Хилинского, занимающий более 400 страниц большого формата, сопроводив его тремя вступительными статьями (параллельно на польском и английском языках). Судьба этого памятника удивительна. В 1657 г. в Оксфорде Самуэль Богуслав Хилинский начал переводить на литовский язык библию. В скором времени перевод был закончен, и в 1660 г. в Англии приступили к его печатанию. Однако литовские реформаты, группировавшиеся вокруг кружка кальвинистов в Кедайняй, признали качество перевода библии Хилинского неудовлетворительным и предложили продолжить работу над переводом двум пасторам — Божимовскому и Скродкскому. Несмотря на то, что ими была использована рукопись первого литовского перевода библии, выполненного в конце XVI в. И. Бреткунасом и, к сожалению, до сих пор не изданного, работа не была закончена. В течение двух с лишним веков библия Хилинского оставалась почти полностью забытой, пока в 1877 г. известный специалист по балтийским языкам А. Беценбергер не обратил на нее внимания библисфилов. Затем последовал ряд ценных находок: в библиотеке Петербургской духовной академии в 1887 г. был обнаружен неполный экземпляр этого памятника; в следующем году в Берлине нашли еще одну часть библии — так называемый «Щецинский» фрагмент, а в 1893 г. в Британском музее обнаружили лондонский экземпляр, в два с лишним раза меньший, чем оба предыдущих экземпляра. Стараниями Г. Рейнгольда и Хр. Станга было установлено, что речь идет о переводе Хилинского. Наконец, в 1932 г. рукописный отдел Британского музея приобрел автограф сделанного Хилинским перевода Нового завета. Поскольку принадлежность этого перевода Хилинскому была установлена польским историком С. Котом, Польше было предоставлено право издания этого памятника. Однако вторая мировая война нарушила планы публикации текста. Фотокопия оригинала была потеряна. Лишь в 1958 г. оказалось возможным опубликовать этот текст.

История перевода библии Хилинского, дальнейшая его судьба и интересные подробности биографии переводчика (любопытный эпизод из истории англо-литовских связей в XVII в.)¹ освещены в обстоятельной вводной статье С. Кота. Некоторые вопросы, связанные с источником пе-

ревода Хилинского (возможно, им были голландский перевод библии 1647—1648 гг. — Хилинский учился в Голландии — или текст, послуживший источником и для так называемой «Гданьской библии») и с выяснением причины, по которой печатание библии Хилинского было приостановлено, разбираются в заметке Я. Отрембского, сопровождающей издание текста. Весьма любопытны некоторые наблюдения над языком перевода в сопоставлении с Вульгатой и польским переводом библии, сделанным Вуйком в 1599 г. (особенно показательны некоторые германизмы, существующие для установления источника перевода, а также языковые различия в переводе Ветхого и Нового заветов²). Нельзя не согласиться с Отрембским в том, что суровая оценка, данная переводу Хилинского в Литве, не может быть пока признана вполне справедливой, поскольку неизвестен текст, с которого был сделан перевод. Нужно думать, что установление источника перевода библии Хилинского является сейчас, пожалуй, наиболее важной задачей в этой области. Только решив ее, можно говорить о качестве перевода Хилинского и о том, какое значение имеет этот перевод для создания научной истории литовского языка.

Принципы издания перевода Хилинского (а он является по существу черновым вариантом, который не был выправлен автором до конца) и палеографические особенности текста описаны в статье Ч. Кудзиновского. Несомненно, что качество издания Нового завета в переводе Хилинского нужно признать образцовым. Точное воспроизведение весьма сложного текста и обильные ссылки на варианты облегчают работу над ним. Нужно надеяться, что лингвистический комментарий перевода не заставит себя долго ждать. С его появлением будет восстановлена еще одна страница в истории литовского языка.

Латинский перевод евангельских текстов и посланий, сделанный около 1640 г. Г. Эльгером и изданный теперь в Люнде К. Дравиньшем³, в ряде отношений на-

¹ См. теперь также: J. Balčikonis, 1680 metų katekizmas, «Kalbotyra», III, Vilnius, 1961, стр. 239—242.

² Ср., например, употребление аллатива и адвессива в Ветхом завете (что, видимо, отражает родной диалект Хилинского) при стремлении к замене этих форм в переводе новозаветного текста. С другой стороны, заслуживает внимания старый кондиционалис на *-mb-* в Новом завете при формах на *-m-*, типичных для перевода Ветхого завета.

³ Латинское название эльгеровского перевода таково: «Evangelia et epistolae toto anno singulis dominicis et festis diebus iuxta antiquam ecclesiae catholicae consuetudinem in episcopatu Vendensi, et tota Liuania Lothaus praeflegi solita ex latino in lothauicum idioma translata per Georgium Elger e Societate Jesu». Под

поминает перевод Хиллнскогo. Время создания этих двух памятников, их характер (прежде всего содержание) и последующая судьба во многом одинаковы. Перевод Эльгера в течение трехсот лет оставался практически неизвестным, пока Г. Геруллис не обнаружил его в одной из вильнюсских библиотек во время последней войны. После войны рукопись попала к Хр. Стангу, а потом в «Славянский институт» Лундского университета к К. О. Фальку, который и передал ее для опубликования видному специалисту в области латышского языкознания К. Дравиньшу.

Эльгер принадлежит к числу известных латышских писателей XVII в., однако все его труды, дошедшие до нас, относились к 70—80-м годам, т. е. ко времени, когда уже были известны произведения Хр. Фюрекера, Г. Манцеля и некоторых других писателей, знаменовавшие успехи латышской литературы и письменности в XVII в. Естественно, что на фоне этих произведений поздние труды Эльгера не могли рассматриваться как явления первостепенной важности. Значение опубликованных теперь текстов эльгеровских переводов заключается прежде всего в том, что они написаны в первой половине

роbnые сведения об Эльгере можно найти у Кучинского. См.: S. Kučinskis, J. Elgera mūža gājums, «Dzimtenes Balss», Eskiļstuna, 1953, VIII, 11 — стр. 11—17; 12 — стр. 21—26; 1954, IX, 1 — стр. 28—35. Перевод евангельских текстов и посланий был сделан Эльгером в Даугавпилсе вскоре после его возвращения из России.

XVII в. (до Фюрекера). В связи с этим возникает вопрос о конкретизации вклада, сделанного Эльгером в историю латышской письменности, и об учете языковых особенностей этого раннего перевода Эльгера (в частности, в сравнении с его последующими работами).

К переводу евангельских текстов, занимающему 70 листов, приложен список духовных песен. Он представляет интерес, между прочим, потому, что первое издание духовных песен, осуществленное Эльгером еще в 1621 г. в Браунсберге, до нас не дошло, а известное издание 1673 г. было дополнено рядом новых текстов. Вводная статья к настоящему изданию перевода евангельских текстов, посланий и списка духовных песен знакомит читателя с рукописью (ср. также два факсимиле, приложенные к изданию), в частности с графикой и через нее с некоторыми фонетическими особенностями текста (впрочем этот переход от графики к фонетике предоставляется сделать в основном самому читателю). В связи с тем, что кое-что в рукописи осталось не до конца ясным, издатель сопровождает текст целым рядом комментариев (среди них содержатся и попытки конъектуры). Более подробный анализ рукописи, включая, видимо, и лингвистический разбор текста, а также исследование некоторых вопросов, связанных с литературной деятельностью Эльгера, будут даны в следующем томе. Высокие филологические достоинства первого тома публикации эльгеровского перевода дают известную гарантию надежности будущих лингвистических выводов.

В. Н. Топоров

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВТОРОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К серии серьезных критических обзоров синтагматической теории прибавилась рецензия Е. А. Седельникова на мои «Принципы синтагматики»¹ [R. F. Mikuš, *Principi sintagmatike—rasprava o sintagmatsko-strukturalnom jedinstvu čovječjeg govora*, Zagreb, 1958 (ротапринт)]. Ниже я отвечаю на некоторые вопросы, затронутые в этой рецензии.

Стр. 73. Синтагматика и фонетика. Я думаю, что Е. А. Седельников неправильно оценил положение фонетики до появления синтагматической теории. На стр. 9 «Принципов синтагматики» я говорю о том, что исключаю из области синтагматики «фонологические синтагмы» Ш. Балли², так как считаю, что синтагма может быть лишь означающей («семиологической») структурой. На стр. же 93 «Принципов синтагматики» я говорю, что синтагматическая теория коснется фонетики и под ее влиянием сложится новая фонетика, основанная на фонетических количествах (квантах). Квантовая фонетика находится еще в периоде своего зарождения, но она неизбежно вытекает из синтагматической теории (и из синтагматического «мировоззрения»). В связи с этим я позволю себе процитировать из новой редакции «Принципов синтагматики» (готовится к печати): «При абсолютно... простом знаке синтагматический анализ исчерпывает себя и скачкообразно переходит в фонетический анализ. Синтагматический анализ относится к содержанию, т. е. при этом анализе принимаются во внимание значения и то, чтобы они не были нарушены. Между ним и фонетическим анализом есть определенный разрыв, поскольку последний асемантичен, т. е. не считается со значениями. Но никакого разрыва нет в смысле линейности: речь „до конца“ линейна, и ее линейность базируется на линейных частях, которые получаются в результате материального анализа, что, однако, не нарушает пространственно-временной непрерывно-

сти речи. Назовем эти частицы фонетическими квантами и удовлетворимся в данном случае лишь практическим определением: фонетический квант — это последний пространственно-временной отрезок речи, до которого может распространяться непрерывно-линейный анализ речи (этим отрезком может быть и знак, но не обязательно; например, во французском языке /ā/ есть знак в *an*, *en*, но не является знаком в *enfant*). Заметим, что слог есть эмпирически-примитивнее понятие для фонетического кванта».

В квантовой фонетике не будет места для понятия «фонема», которое очень неопределенно; в ней не будет и понятий «звук», «гласный», «согласный», которые наивно-реалистичны и эмпирически-примитивны. Но в ней найдут свое место некоторые новые категории, которые «затусневывались» указанными выше понятиями. Несомненно, эти положения как чисто «декларативные» требуют обстоятельного объяснения, которое я дам, как только среди специалистов обнаружится к этому некоторый интерес. В квантовой фонетике найдется место и для фонетики синтагмы, которая эмбрионально содержится уже в классической фонетике.

Стр. 73. Структура синтагмы. Синтагмы бинарны, они состоят из двух непосредственно составляющих членов («immediate constituents»). Лишь простейшие синтагмы состоят из двух формальных минимумов. Комплексные синтагмы состоят из нескольких таких минимумов; при этом всегда спариваются по два непосредственно составляющих члена синтагмы.

Стр. 74. Координация и синтагматика в «сложных предложениях». В «сложных предложениях» координация и синтагматика не отличаются от тех же закономерностей в «простых» предложениях. Так в,

Vrijeme je lijepo.

«Погода хорошая. Мы пойдем на прогулку»

Idemo u šetnju

... (1)

¹ См. Е. А. Седельников, Еще о синтагматической теории, ВЯ, 1961, 1.

² Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, § 163.

мы имеем два координированных высказывания [дикто-модальных (ДМ) синтагмы; при этом все высказывания — гомофункциональны]. То же самое в

- *Veni. Vidi. Vici.*

В приводимых же ниже примерах:

Vrijeme je lijepo, idemo u šetnju /./

«Погода хорошая, мы пойдем на прогулку.»

Veni, vidi, vici /./

... (2)

мы имеем по одному высказыванию с комплексным по координации диктумом.

Необходимо принять во внимание интонационные изменения в (1) и (2). В

Vrijeme je lijepo: idemo u šetnju /./

... (3)

«Погода хорошая: мы пойдем на прогулку»

мы имеем одно высказывание с диктумом, как в примере (2), но этот диктум находится уже на пути к синтагматизации («координация противопоставления» Ш. Балли³ — исходная позиция для синтагматики). Поскольку все диктумы синтагматически гомофункциональны [P

(различающие) члены в ДМ синтагмах; см. «Принципы синтагматики», новая редакция], то еще в (3) неясно, который из членов относится к серии О (отождествляющих) и который служит Р-членом синтагмы. Такие синтагмы мы называем баскулирующими (колеблющимися):

Vrijeme je lijepo:

idemo u šetnju

... (4)

О-член

Р-член

«Погода хорошая:

мы пойдем на прогулку»

Idemo u šetnju:

vrijeme je lijepo

... (5)

О-член

Р-член

«Мы пойдем на прогулку: погода хорошая».

«Баскулирующая» синтагма превращается в формальную синтагматическую диктальную систему, как только ее члены

функционально и формально определяются в пользу той или иной функции:

Vrijeme je lijepo, zato idemo u šetnju

... (6)

О-член

Р-член

«Погода хорошая, поэтому мы пойдем на прогулку»

Kako je lijepo vrijeme, idemo u šetnju

... (7)

Р-член

О-член

«Поскольку погода хорошая, мы пойдем на прогулку»

«Придаточные предложения» являются не чем иным, как диктумом формально построенного Р-члена синтагматической диктальной системы, в которой второй диктум строится как О-член («главное предложение»). Деление предложений на О- и Р-члены не является интуитивным: связь «причина-следствие» мы отождествляем с причиной и различаем следствие (6) или наоборот (7). Но в то время как в (4) и (5) «баскулирования» еще возможны, в (6) и (7) причинные и следственные действия выражены синтагматически оформленными О- и Р-членами, которые являются структурально и функционально направленными синтагмами. В рамках оформленных таким образом О- и Р-членов диктальных систем мы можем получить и большее число координированных членов. Представим себе серию координированных высказываний:

Погода хорошая.— Мы хорошо отдох-

нули.— Мы выспались. Мы пойдем на прогулку.— Будем рвать цветы.— Будем купаться.— Будем загорать на солнце... (8)

Эта система может трансформироваться и перейти в синтагматическую диктальную систему, в которой О- и Р-члены являются комплексными по координации:

Поскольку хорошая погода, поскольку мы хорошо отдохнули и выспались (Р-член), мы пойдем на прогулку, будем купаться и загорать на солнце (О-член)... (9)

Эта система соответствует приведенному выше примеру (7). Примеру (6) соответствует система:

Погода хорошая, мы хорошо отдохнули и выспались (О-член), поэтому мы пойдем на прогулку, будем купаться и загорать на солнце (Р-член).

Именно синтагматическое «баскулирование» создает широко известный стилистический эффект в двуступиши:

Il est brisé, n'y touchez pas:

N'y touchez pas, il est brisé,

где первое *il est brisé* есть О-член, а второе, — Р-член диктальных систем. При

формально-синтагматическом оформлении последние принимают вид:

Il est brisé (О-член), aussi n'y touchez pas (Р-член)

N'y touchez pas (О-член), car il est brisé (Р-член)

³ Ш. Балли, указ. соч., § 78.

Этого, конечно, не знает ни один французский грамматик, лингвист или стилист, т. к. они не занимаются синтагматикой.

Стр. 74. Распределение *О*- и *Р*-членов в синтагме. Это распределение в некоторых случаях является трудным вопросом теории, потому что в него следует внести положения, относящиеся к семантике, да и к *Weltanschauung*. Он не может быть разработан сразу, так как нужно систематически рассмотреть все синтагматические иерархические типы. Остановимся здесь на синтагмах типа *Красная армия*. Как и все знаки, находящиеся на более низком уровне, чем высказывание, существительные и прилагательные являются носителями фрагментарного содержания высказывания (ДМ-синтагмы) и их положение определяется в синтагматической иерархической схеме специализированными синтагматическими функциями членов именных характеризующих синтагм. Эти функции выполняются в семантическом плане *ОР*-знаками «субстанции» и «свойства (субстанции)».

Имя существительное есть виртуальный (абстрактный, неактуализированный) *ОР*-знак класса «субстанций» (или пространственной характеристики). Само по себе имя существительное не является *ОР*-знаком какого-нибудь одного из конкретных данных: *chien* не обозначает какую-нибудь конкретную собаку, но оно может путем актуализации стать *ОР*-знаком каждой конкретной собаки. Будучи таким знаком, оно имеет свою значимость («понятийное содержание»: «понятие» является содержанием виртуального знака, поскольку логические категории сводятся к лингвистическим) и свой объем. Под объемом мы понимаем всю сумму данных, относящихся к указанному классу.

Между «прилагательными» и «существительными» генетически нет различия, и знаки в этом смысле гомофункциональны. Все они обозначают свойство «субстанции», поскольку она доступна для непосредственного опыта только через свои свойства. Но так как одна субстанция имеет несколько характерных особенностей и так как одни и те же обнаруживаются и у других субстанций (*вода* — мокрая, подвижная, зеленая...; *листья* — сухие, крошечные, зеленые...), один из этих признаков «воплощается» в «существительном», т. е. в знаке субстанции: он становится *О*-членом синтагмы, в которой знаком некоторого иного свойства является *Р*-член. До тех пор, пока знаки не автоматизированы в той или иной функции, синтагма остается «баскулирующей». Таковы (благодаря некоторым случайностям) синтагмы: *savant* (*О*-член), *russe* (*Р*-член); *Russe* (*О*-член), *savant* (*Р*-член).

Но в связи со специализацией и автоматизацией знаков в сторону отождествления (*О*) или различия (*Р*) [т. е. с созданием формальных *ОР*-знаков для субстанции (существительного) и для свойства (прилагательного)] синтагма перестает быть «баскулирующей» и становится

категориальной. В этой синтагме определяются функции «*caractérisé*» (*О*-член) и «*caractérisant*» (*Р*-член); ср. также *Красная* (*Р*-член) *армия* (*О*-член).

В семантическом плане этой синтагмой образован синтагматизированный *ОР*-знак для подкласса соответствующих пространственных показателей. По своему содержанию синтагма *белая лошадь* шире существительного *лошадь*, поскольку содержание прилагательного синтагматически «продолжает» содержание существительного. По объему, однако, синтагма *белая лошадь* уже существительного *лошадь*, так как класс белых лошадей заключает в себе меньше данных, чем класс лошадей. Характеристикой, таким образом, расширяется содержание и уменьшается объем виртуального *ОР*-знака для класса определенных пространственных показателей. Приведенные выше положения отнюдь не заимствуются нами из логики. Необходимо помнить, что логика свои законы и категории извлекла из речи.

Понятия «субстанции» и «свойства» появились в тот момент, когда знаки автоматизировались — один в сторону *О*- и другой в сторону *Р*-членов именной характеризующей синтагмы. При этом возник и данный синтагматический тип, а в синтагматически-ассоциативном плане родились формальные классы знаков «существительного» и «прилагательного». Эти знаки функционально направлены так, что одни выполняют *О*-, а другие — *Р*-функцию в именной характеризующей синтагме. О примере *малыш читает* см. ниже. Парадигма здесь не может быть решающей.

Стр. 75. Язык. Языком я считаю всю сумму речевых навыков (постоянные величины: автоматизированные знаки, синтагматические схемы и формализмы), которые в рамках данной общности выступают в виде стимулов и реакций. Эта сумма бесконечно расчленена, и каждый человек в отдельности никогда не может ее в полной мере охватить. Тот ее сектор, которым владеет один человек, можно назвать, если хотите, «психической» реальностью, которая неопределима и интуитивна.

«Языковая система», вертикальные серии, парадигмы и т. д. являются, однако, построениями ученых, подобно тому, как таким построением является периодическая система элементов. В природе элементы никогда не располагаются по системе Менделеева; они чаще всего находятся в соединениях и очень «разбросаны». То же самое положение и в языковой системе: нигде в лингвистической реальности речевые навыки не находятся в системе, но — подобно элементам Менделеева — бесконечно разбросаны и обнаруживаются в связанном состоянии (в высказываниях), откуда ученые их извлекают, выделяют, анализируют, классифицируют и систематизируют. Говорящий не «выбирает», например, надежные формы из парадигм, так как отношения в парадигмах искусственны (так же как и в периодической системе элементов). В против-

ном случае говорили бы только те люди, которые учатся в школах, где изучают парадигмы. У нас есть общественно приобретенный навык употреблять, например, при глаголе *видеть* винительный падеж. Подобно тому как в нашей нервной системе автоматизирована реакция закрывания век при слишком ярком оптическом раздражителе, так же автоматизирован и синтагматический навык (схема и формы), который мы можем представить формулой: *Вижу... -а*, где *-а* выражает специализированную синтагматическую функцию *Р*-члена глагольного управления в синтагме (вин.пад.).

Стр. 76. Дикто-модальная синтагма. См. главу 5 «Принципов синтагматики» (в новой редакции). Здесь укажу только на то, что функция интонации нейтрализуется тем больше, чем распространеннее ДМ-синтагма. Но она остается в высказывании в редуцированном виде просто по инерции и создает фонетический аппарат внутренней синтагматической связи — аппарат, которым высказывание модально завершается.

Интонацию мы абстрагируем от высказывания (сегмента) на том же основании, на котором мы выделяем основу и «формант». Модальную интонацию следует отличать от «синтаксической» интонации, т. е. от высказывания (и синтагм). Высказывание неразрывно связано с интонацией, служащей синтагматическим формантом и средством его внутренней связи. Такую интонацию имеет, например, модальная синтагма *j'affirme que...* в ДМ-синтагме *J'affirme que Tartarin...* [/]

Стр. 77. Синтагматическая, как единственная теория. Сожалею, что мне не удалось убедить Е. А. Седельникова в том, что в каждом случае возможен только синтагматический анализ речи. Какой анализ имеет в виду Седельников, кроме синтагматического? Может быть его положение касается толкования «событий» (*dogadaja*, см. ниже), но все они синтагматические ⁴. Даже и примеры, приводимые Вандриесом в его книге «Язык»: [*lui-elle-cela-avec*]·[*tuer-homme-femme-couteau*] из языка chinook (который, как кажется, находится еще на достаточно координативной ступени развития), содержат синтагматические отношения между серией координированных «морфем» и серией координированных семантем.

Стр. 78. Отношения синтагматики и грамматики. Классическая грамматика есть лишь примитивный и весьма грубый синтагматический структурализм и функционализм, который приложим только к индоевропейским

языкам и видит в них только грубейшие синтагматические явления и категории.

На стр. 78 и в других местах — «Лингвистический знак». Дискуссию откладываю до другого подходящего случая.

На стр. 80 — разные типы диктума. Е. А. Седельников прав, когда говорит о том, что есть много способов описания событий [только это в «Принципах синтагматики» не упоминается; там принят лишь наш диктальный тип, т. е. тип *S — P* (субъект — предикат)]. Одна из возможностей заключается в феноменологической интерпретации ⁵, которая, кажется, господствует в некоторых кавказских языках. Согласно этой интерпретации, *В ушах шумит* анализируется синтагматически: *В ушах (Р-член) шумит (О-член)*, а *Светает* — просто *ОР*-знак события (на *О* и *Р*-члены не распадающийся). То же в сербскохорватском *ерми, сега*. По-французски *il pleut* имеет аналогичный *О*-член *il*, но и сам «безличный» глагол отбрасывает феноменологическую интерпретацию. Ср.

il pleut / des balles

О-член Р-член

Феноменологическая интерпретация и во французском (английском, немецком) языке очень часто встречается, и я анализирую *il est arrivé beaucoup de monde* так:

il est arrivé / beaucoup de monde

О-член Р-член

Выделение «логического» и «грамматического» подлежащего нельзя признать правомерным. «Подлежащее» («субъект») есть *О*-член диктальной и модальной синтагмы лишь в ингерентной и эферентной интерпретации события (тип *С — П*), а в феноменологической выражение пространственного указания дает *Р*-член.

Вполне возможно, что *rišet* генетически сводится к аферентной (более древней) интерпретации, которая позже была вытеснена эферентной в *ja (О-член) rišet (Р-член)*, где *-t* функционально выпало, но сохранилось в синтагме потому, что она весьма сжата.

*

Наши обсуждения и споры свидетельствуют о том, что синтагматическая теория переросла границы возможностей одного человека. Пусть они послужат нам уроком. Только хорошо организованная группа может дать положительные результаты исследования. На это я указываю, отчасти защищаясь от упреков в том, что в синтагматической теории не все еще ясно и разработано, а ряд положений этой теории продолжает быть «декларативным»...

Р. Ф. Мухом

Перевел с сербскохорватского
И. И. Толстой

⁴ Ср. R. Mikuš, Prostorni podatak dogadaja: teorija i govorni izraz, «Radovi [Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta], 1 — Razdio lingvističko-filološki, 1959/1960, Zadar, 1960.

⁵ См. Ш. Балли, указ. соч., § 573.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Научно-исследовательская работа в области языкознания в Таджикистане ведется сотрудниками Института языка и литературы им. Рудаки АН Тадж. ССР, а также членами языковедческих кафедр гос. университета и пединститутов. За последние годы одним из основных трудов языковедов республики является подготовка к выпуску очередного тома научно-описательной грамматики современного таджикского языка¹. Уже завершена работа над второй частью грамматики — синтаксисом. Ряд исследований посвящен изучению грамматического строя и лексики таджикского языка. К ним принадлежат законченные работы: «Именное сказуемое в таджикском языке» (канд. диссерт. А. Ишанджанова, Душанбе, 1959), «Синонимы в таджикском языке» (канд. диссерт. М. Мухаммадиева, печатается; автореф. «Синонимы в таджикском языке», Душанбе, 1960), а также находящиеся в стадии подготовки монографии: «Сложноподчиненные предложения в таджикском языке» (докт. диссерт. Д. Таджиева), «Глагольные словосочетания» (докт. диссерт. Ш. Ниязи) и «Редупликация (повторы) в словообразовании таджикского языка» (докт. диссерт. М. Турсунова).

По вопросам таджикского литературного языка опубликованы монографии Н. Масуми «Очерки таджикского литературного языка» (Душанбе, 1959), проф. Б. Ниязмухамедова «Очерки по некоторым вопросам таджикского языкознания» и «Простые предложения в современном литературном таджикском языке» (Душанбе, 1960), доктора филол. наук О. Джалолова «Категория множественного числа и некоторые вопросы современного таджикского языка» (Душанбе, 1961). Защищена кандидатская диссертация Н. Бозидова «Косвенное дополнение в современном таджикском литературном языке». Изданы монографии мл. научного сотрудника Института языка и литературы АН Тадж. ССР Х. Хусейнова «Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в современном таджикском языке» (Душанбе, 1960) и препод. Тад-

жикского ун-та М. Касымовой «Условные придаточные предложения в таджикском литературном языке» (Душанбе, 1961).

В последнее время оживилась научная работа в области сопоставительного языкознания. В 1960 г. вышла монография старшего преподавателя Таджикского ун-та Г.С. Михайличенко «Способы и средства выражения в таджикском языке русских надежных отношений» (Душанбе). Представлена к защите кандидатская диссертация Х. Артыковой «Пространственные и временные значения, выражаемые первообразными предлогами русского языка, и их эквиваленты в таджикском языке». Продолжается работа над составлением сопоставительной грамматики русского и таджикского языков группой научных сотрудников под руководством канд. филол. наук Л. В. Успенской.

Среди работ, посвященных изучению диалектов и местных говоров, следует отметить труды преподавателя Таджикского ун-та М. Эшниязова «Местонаимения в говоре таджиков хардури» (Уч. зап. Тадж. ун-та, XXV, 2, Душанбе, 1959) и «Некоторые заметки по лексике таджиков хардури» [ИАН Тадж. ССР, 1960, 1 (19)], а также изданную в виде монографии книгу К. Таировой «Таджикские говоры Бостандыкского района Узбекской ССР» (Душанбе, 1959). Готовятся работы, посвященные отдельным вопросам таджикских говоров: «Синтаксис говоров самаркандских таджиков (Н. Бегбуди), «Говор таджиков хардури» (М. Эшниязов).

Таджикский народ, как известно, еще до Великой Октябрьской социалистической революции имел некоторые толковые словари («Лугати фурс», «Лугати Хофизии Убахи», «Фарханги чахонгир», «Бурхони қотъ», «Чароғи ҳидоят», «Ғиё-ул-луғот» и др.). После Октября вышли двуязычные словари: «Русско-таджикский словарь» (М.— Душанбе, 1949) и «Таджикско-русский словарь» (М., 1954), а также школьные словари: «Краткий таджикско-русский словарь» (сост. Я. И. Калонтаровым, М., 1955) и «Русско-таджикский словарь» (сост. С. Д. Арзумановым и Х. К. Каримовым, М., 1957). В 1959 г. в Душанбе издан составленный Я. И. Калонтаровым «Орфографический словарь» для начальных и средних школ (17 тыс. слов).

¹ «Грамматикаи забони тоҷикӣ», I — «Фонетика ва морфология», Душанбе, 1956.

В настоящее время в словарном секторе Института языка и литературы АН Тадж. ССР с участием работников вузов готовится толковый словарь к произведениям таджикской классической литературы периода X—XIX вв. Разрабатывается фразеологический словарь таджикского языка, представляющий описание фразеологических, идиоматических сочетаний современного таджикского языка. Вышли в свет терминологические двуязычные словари по физике, математике. Скоро за-

вершится работа над русско-таджикскими терминологическими словарями по химии, ботанике, географии. Впервые в республике готовятся школьные англо-таджикский, немецко-таджикский, французско-таджикский словари. Крупной работой, над которой в данное время работает коллектив, является трехтомный русско-таджикский словарь, который выйдет в 1962 году.

А. Халилов, И. Л. Николаев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ (1958—1961 гг.)

С мая 1961 г. Институт языка и литературы АН Казах. ССР разделен на два самостоятельных института: Институт языкознания и Институт литературы и искусства. Они организовали в своем составе и новые отделы. В настоящее время в Институте языкознания (ИЯ) имеются отделы: истории и диалектологии казахского языка, современного казахского языка, прикладного языкознания, толкового словаря казахского языка, отдел двуязычных словарей и переводов, фонолаборатория, отдел уйгурского языка, сопоставительного изучения русского и казахского языков и отдел картотечного фонда. Вся языковедческая работа в Казахстане сочетается с тематическими планами этих отделов.

За последнее время в республике еще более обстоятельно и углубленно стал изучаться грамматический строй казахского языка. Языковедами республики был создан ряд монографических исследований, учебников и учебных пособий для школ и вузов¹. Еще ИЯЛ АН Казах. ССР принял в свое время решение выпустить на русском языке серию книг о современном казахском литературном языке с целью охвата более широкого круга читателей, особенно языковедов-тюркологов. В результате вышел в свет на русском языке «Современный казахский язык» (в двух книгах). Первая книга посвящена лексике современного казахского языка². В книге подробно анализируется словарный состав, семантика слов, пополнения и изменения казахской лексики в историческом плане. Анализ дается на базе обширного материала; все выводы и правила иллюстрируются примерами из казахской литературы. Вторая книга посвящена синтаксису словосочетания и простого предложения³. В ней дано подробное описание

основных типов словосочетаний и синтаксических категорий простого предложения современного казахского языка. Готовится к печати коллективом авторов и третья книга на русском языке по фонетике и морфологии казахского языка.

До сего времени у студентов вузов Казахстана не было ни одного учебника по литературному языку. Этот пробел восполнил недавно вышедший учебник «Вопросы казахского литературного языка»⁴ под редакцией проф. М. Б. Балакаева. Также для студентов педучилищ и вузов Казахским учебно-педагогическим издательством были выпущены учебники казахского языка⁵.

ИЯ с 1959 г. начал выпуск трудов по казахскому языкознанию. Первый том уже вышел⁶. Сектор востоковедения института выпустил тогда же первый том своих трудов, где освещаются вопросы грамматики современного уйгурского литературного языка, а вновь организованым отделом уйгурского языка издан в настоящее время сборник «Вопросы уйгурской филологии»⁷. Этот отдел готовит к печати и курс современного уйгурского языка (фонетика и лексика).

Более интенсивно стала изучаться история и диалектология казахского языка. Отделом, изучающим эту проблему, были изданы второй и третий выпуски сборника по вопросам истории и диалектологии казахского языка⁸. По данной проблеме самым крупным монографическим исследованием является труд ныне покойного проф. С. А. Аманжолова «Вопросы диалектологии и истории казах-

⁴ М. Балакаев, Е. Жанпейсов, М. Томапов, Қазақ әдеби тілінің мәселелері, Алматы, 1961.

⁵ См.: Г. Әбуханов, Қазақ тілі. Лексика, фонетика, және морфология мен синтаксис, Алматы, 1960; М. Балакаев, Т. Қордабаев, Қазіргі Қазақ тілі грамматикасы. Синтаксис, Алматы, 1961.

⁶ «Қазақ тіл білімі мәселелері», 1, Алматы, 1959.

⁷ «Труды сектора востоковедения», 1, Алма-Ата, 1959; «Вопросы уйгурской филологии», Алма-Ата, 1961.

⁸ «Вопросы истории и диалектологии казахского языка», Алма-Ата, 2—1959, 3—1960 [на казах. яз.].

¹ Состояние языковедческой работы в Казахстане за несколько последних лет было отражено в статье Ш. Ш. Сарыбаева «Языкознание в Казахстане» (ВЯ, 1958, 5). В данной статье автор рассматривает лишь литературу по языкознанию в основном начиная с 1958 г.

² Г. Г. Мусабаяев, Современный казахский язык. Лексика, Алма-Ата, 1959.

³ М. Б. Балакаев, Современный казахский язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения, Алма-Ата, 1959.

ского языка»⁹. Эта монография широко освещает как вопросы истории казахского языка и казахского народа, так и вопросы казахской диалектологии.

Вопросам топонимии посвящена работа А. Абдрахманова «Географические названия Казахстана»¹⁰. Особенно большой размах получила лексикографическая работа. Только за последние два-три года издано несколько словарей по разным отраслям науки. Самым большим событием в культурной жизни Казахстана является выход в свет положительно оцененного в республиканской печати «Толкового словаря казахского языка» (в двух томах)¹¹, составленного научными сотрудниками Отдела толкового словаря ИЯ, под общей редакцией акад. С. К. Кенесбаева. Первый том охватывает 10 тыс. слов, а второй — 15 тыс. слов. В словаре дается общеупотребительная и наиболее активная часть лексики современного казахского литературного языка. Главными источниками словаря, рассчитанного на широкий круг читателей, являлась современная художественная, публицистическая и научно-популярная литература.

ИЯ были выпущены также: орфографический словарь слитных слов¹² и «Уйгурско-русский словарь», охватывающий 16 тыс. слов¹³. Печатается большой орфографический словарь казахского языка и большой казахско-русский словарь. В данное время научные сотрудники ИЯ ведут работу над составлением много-томного толкового словаря казахского языка, краткого этимологического словаря казахского языка, словаря иноязычных слов, вошедших в казахский язык, и словаря языка Абая.

Отдел прикладного языкознания ИЯ совместно с другими учреждениями выпустил шесть томов русско-казахских терминологических словарей. Первый том охватывает термины по металлургии, промышленности, горному делу и физической географии, второй том — по математике, физике и астрономии, третий том — по геологии, четвертый том — по юриспруденции, педагогике и психологии, пятый том трехязычный: русско-латинско-казахский — по медицине и шестой том — по делопроизводству¹⁴.

Из работ по лексикологии отметим ис-

следование омонимов в казахском языке¹⁵. Казахским государственным издательством были выпущены «Краткий казахско-русский словарь» и «Краткий русско-казахский словарь»¹⁶. Данные словари охватывают лишь наиболее употребительные слова (в каждом словаре около 7 тыс. слов) современного казахского языка в переводе на русский язык и наоборот.

Казахское учебно-педагогическое издательство выпустило следующие словари: «Орфографический словарь» под редакцией Г. Г. Мусабаева для начальных, семилетних и средних школ; «Справочник по казахской орфографии и пунктуации», предназначенный для работников печати и преподавателей; «Школьный русско-казахский словарь» для восьмилетней и средней казахской школы, охватывающий 16 тыс. слов; «Политический словарь»¹⁷; «Англо-казахский словарь» для учащихся средней казахской школы, охватывающий 5300 слов¹⁸.

Значительное место занимают исследовательские работы по морфологии и синтаксису казахского языка. В 1958 г. были изданы две работы по морфологии: И. К. Уюкбаева «Категория вида в современном казахском языке» и Т. Ергалиева «Причастие в казахском языке»¹⁹. В 1959 г. были изданы три работы по морфологии. Среди них крупным монографическим исследованием является книга А. К. Хасеновой «Производные глагольные основы казахского языка»²⁰. Аффиксы производных основ глагола автором рассматриваются в двойном аспекте. Аффиксы, присоединяемые непосредственно к основам имени и глагола, относятся к первой группе. Такие аффиксы называются чисто лексическими аффиксами. Ко второй группе относятся аффиксы, выражающие лексико-грамматические от-

¹⁵ К. Аханов, Қазақ тіліндегі омонимдер, Алматы, 1958.

¹⁶ Р. Бегалиев, Х. Махмудов, Г. Мусабаев, Қазақша-орысша сөздің сөздік, Алматы, 1959; Г. Бегалиев, Х. Махмудов, Г. Мусабаев, Краткий русско-казахский словарь, Алма-Ата, 1959.

¹⁷ «Саяси сөздік». Орысша ред. басқарған Б. Н. Пономарев, Алматы, 1959.

¹⁸ Г. Мусабаев, А. Хасенова, Р. Сыздықова, Х. Арғынов, Орфографиялық сөздік, Алматы, 1960; Р. Сыздықова, Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағып, Алматы, 1959; Х. Махмудов, Г. Мусабаев, Т. Қордабаев, Орысша-қазақша мектеп сөздігі, Алматы, 1960; С. Ахметова, Ағылшын-қазақ сөздігі, Москва — Алматы, 1960.

¹⁹ И. Ұйықбаев, Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің көріністері, Алматы, 1958; Т. Ергалиев, Қазақ тіліндегі есімше категориясы, Алматы, 1958.

²⁰ А. Хасенова, Қазақ тіліндегі туынды түбір етістіктер, Алматы, 1959.

⁹ С. Аманжолов, Вопросы диалектологии и истории языка, ч. 1-я, Алма-Ата, 1959 [на русск. яз.].

¹⁰ А. Абдрахманов, Қазақстан иң жер-су аттары, Алматы, 1959.

¹¹ «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», Алматы, 1—1959, 2—1961.

¹² Г. Жаркешова, Біріккен сөздер мен сөз тіркестерінің орфографиялық сөздігі, Алматы, 1960.

¹³ Алма-Ата, 1961.

¹⁴ «Орысша-қазақша терминология сөздігі», Алматы, 1, 2—1959; 3, 4—1960; 5, 6—1961.

ношения, а также дополняющие различные грамматические значения глаголов.

Категории прилагательных в современном казахском языке посвящена работа Ж. Шакинова²¹. Междометия и подражательные слова в казахском языке разбираются в работах Ш. Ш. Сарыбаева²². В этом труде дается краткий обзор категорий междометий, их общая характеристика, определяется состав слов каждой категории и приводится их классификация. Союзы в казахском языке подвергнуты анализу в работе Р. Амирова, а местоимение — А. Ибатов²³. По проблемам синтаксиса казахского языка опубликованы еще следующие работы: Р. Мадина, Безличные предложения в современном казахском языке; Ф. М. Мусабекова, Основы пунктуации простого предложения в казахском языке и «Правила казахской пунктуации»²⁴.

Большое внимание уделяется вопросам сопоставительного изучения русского и казахского языков. По этой отрасли плодотворно работают канд. филол. наук В. А. Исенгалиева, которая только за последние годы выпустила две работы: «Русские предлоги и их эквиваленты в казахском языке», «Употребление падежей в казахском и русском языках»²⁵.

²¹ Ж. Шакинов, Қазақ тіліндегі қазақ тіліндегі сын есім категориясы, Алматы, 1961.

²² Ш. Ш. Сарыбаев, Междометие в казахском языке, Алма-Ата, 1959; Ш. Сарыбаев, Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер, Алматы, 1960.

²³ Р. Әмиров, Қазақ тіліндегі жалғаулықтар, Алматы, 1959; А. Ибатов, Қазақ тіліндегі есімдіктер, Алматы, 1961.

²⁴ Р. Мадина, Қазақ тіліндегі жақсыз сөйлемдер, Алматы, 1959; Ф. М. Мусабекова, Қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы, 1959; Р. Сыздықова, К. Неталиева, Қазақ пунктуациясының ережелері, Алматы, 1961.

²⁵ В. А. Исенгалиева, Русские предлоги и их эквиваленты в казахском

В данное время коллектив авторов готовит к печати курс сопоставительного изучения русского и казахского языков.

В период с 1958 по 1961 гг. было защищено более десяти кандидатских диссертаций по различным актуальным вопросам казахского и уйгурского языков. Г. Г. Мусабаяев защитил докторскую диссертацию на тему «Лексика современного казахского языка» (1960). Защищены кандидатские диссертации: Г. Байтұғайев, Сложные определительные конструкции (развернутые определения) в современном казахском языке (1958); Н. Демесиева, Порядок слов в простом предложении русского и казахского языков (1958); Е. Жанпейсов, Модальные слова в современном казахском языке (1958); Р. Сыздықова, Основные морфологические особенности языка Абая (1959); Н. Карашева, Грамматические особенности языка казахской публицистики начала XX в. (на материале журн. «Айқап») (1959); М. Томапов, Словосочетания, выражающие временные отношения в казахском языке (1959); Г. Айдаров, О языке памятника в честь Топтыкука VIII в. и его отношении к некоторым современным тюркским языкам (1959); Т. Талипов, Система гласных в современном уйгурском языке (1960); С. Омарбеков, Мангышлакский говор казахского языка (1960); М. Сертова, Конструкции с ред. падежом в русском и казахском языках (1960); Ю. Цунвазо, Словообразование существительных в дунганском языке (1961); Р. Сарсенбаев, Лексико-стилистические особенности казахских пословиц и поговорок (1961); Х. Есенов, Условные и уступительные придаточные предложения в современном казахском языке (1961) и Т. Жанузаков, Лично-собственные имена в казахском языке (1961).

Х. М. Есенов

языке, Алма-Ата, 1959; В. А. Исенгалиева, Употребление падежей в казахском и русском языках, Алма-Ата, 1961.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

5—8 сентября 1961 г. в Лондоне состоялась организованная английской Национальной физической лабораторией Первая международная конференция по машинному переводу и анализу языков. В работе этой конференции приняли участие ученые СССР, США, Англии, Франции, Италии, Чехословакии, Японии и других стран, всего свыше 40 человек. На конференции было представлено 37 докладов.

Большая группа докладов была посвящена различным проблемам построения алгоритмов машинного перевода или алгоритмов анализа для различных языков. В Национальной физической лаборатории ведутся работы по составлению правил морфологического анализа для русского языка, о которых в своих выступлениях рассказали сотрудники этой лаборатории Дж. Мак-Дональд и С. Уэллен — «Грамматичес-

кая интерпретация русских флексивных форм с использованием словаря основ» и Д. Девис и А. Дей — «Техника последовательного разложения русских слов». Л. Миклисен (США) в докладе «Определение единиц переводимого языка посредством табличного поиска и с помощью словаря большого объема» описал словарь, устроенный с таким расчетом, чтобы для каждого русского слова однозначно определялся вход словаря и вместе с тем он был бы не слишком большого объема, в связи с чем в словаре некоторые слова записаны целиком, а для других даны только основы, причем указаны также методы анализа слов и оборотов при помощи этого словаря.

Различные подходы к автоматизации синтаксического анализа были предложены в докладах: С. Лема (США) «О механизации синтаксического анализа»; И. Сааян

(Япония) «Синтаксис при универсальном переводе», где описывается некоторая универсальная схема алгоритма перевода, которая может быть применена для анализа любого языка при условии, что для него составлены определенного вида таблицы преобразований структуры фразы (работа схемы поясняется на примерах перевода с английского языка на японский); М. К о р б е и Р. Т а б о р и (Франция) «Введение в автоматический английский синтаксис (средством анализа фрагментов)», где описывается метод анализа, разбивающего данное английское предложение на фрагменты (сочетания определенных классов слов), которые отыскиваются в специальном словаре. В докладе «Предварительная система структурных преобразований» У. Д. Ф а у с т и Ю. У о к л и н г (США) изложили результаты изучения преобразований структуры предложения при переводе с русского языка на английский. Интересная модель синтаксиса, при построении которой используются методы, понятия и обозначения математической теории структур, а также возможные приложения этой модели к автоматическому анализу текстов, были предложены Ф. П а р к е р-Р о у д е с о м (Англия) в докладе «Новая модель синтаксического описания».

Несколько сообщений было сделано по вопросам предсказуемости синтаксического анализа. М. Ш е р р и (США) в докладе «Отождествление гнездовых структур при предсказуемом синтаксическом анализе» рассказал об анализе предложений при помощи списка предсказаний о членах предложения, которые должны появиться. По этому списку устанавливают роль очередного слова путем нахождения первого совпадения информации слова (или одной из его информации в случае омонимии) с одним из предсказаний списка. Все остальные совпадения также запоминаются и используются в том случае, если анализ фразы оказывается ошибочным. После обработки очередного слова список изменяется: некоторые предсказания уточняются, отбрасываются те, которые уже не могут исполниться, добавляются новые в зависимости от результата анализа очередного слова. Ф. А л ь т и И. Р о у д е с (США) в докладе «Распознавание синтаксических групп и фраз при машинном языковом переводе» изложили правила определения границ синтаксических групп внутри предложения при условии, что эти группы не перекрещиваются, причем указателями границ групп служат выделенные слова. С. К у н о (США) в докладе «Предварительный подход к автоматическому переводу с японского языка на английский» рассказал о составленном им алгоритме предсказуемого синтаксического анализа японского языка, при помощи которого уже переведено несколько фраз.

В докладе А. Д ж а н и о т и с и Г. И о с с е л с о н а (США) «Многозначность при машинном переводе» описываются различные виды многозначности (омографы, грамматическая двусмысленность, идиоматичность и др.), с которыми приходится

иметь дело при машинном переводе с русского языка и для которых предлагаются либо структурные, либо вероятностные методы разбора.

Вопросы перевода химических терминов рассматривались в докладах Л. С а м е р з а (США) «Машинный перевод с русского языка на английский терминов органической химии посредством анализа и повторного синтеза их составных частей» и Дж. У о л г р е н а (США) «Лингвистический анализ русской химической терминологии».

В Массачусетском технологическом институте США ведутся интересные исследования синтезирующих моделей языка, о которых было сделано два доклада: «Случайное порождение английских предложений» В. И н г в е и «Анализ посредством синтеза применительно к предложениям естественного языка» Дж. М е т ь ю з а. Ингве делал об экспериментах по составлению машинной правильно построенных, но не обязательно осмысленных английских предложений. Они порождаются грамматикой, описание которой имеется в статье Ингве «A model and an hypothesis for language structure»¹. Конкретные правила грамматики и словарь, использованные в эксперименте, были получены из текста, содержащего 10 предложений. Программа, которая использовалась для построения предложений, а также построенные машинной предложения (около 100) приводятся в докладе. Программа записана на символическом языке COMIT, составленном В. Ингве специально для алгоритмов перевода. Дж. Метьюз предложил анализировать заданное предложение, восстанавливая процесс его построения, путем сравнения его с предложениями, которые можно построить при помощи порождающей грамматики, и описал методы, позволяющие сократить число операций машины и избежать перебора всех возможных печочек слов заданной длины.

Ряд докладов был посвящен возможности использования машин для изучения тех или иных свойств языка и построения алгоритмов перевода. О том, как машина может составлять правила анализа текста, если ей задан образец-текст, проанализированный человеком, и о результатах экспериментов по построению простейших алгоритмов анализа был сделан доклад «Составление при помощи машины алгоритма анализа текста» О. С. К у л а г и н о й (СССР). К. Х а р н е р (США) в докладе «Правила для определения дистрибутивных классов» изложил методы и результаты работы по составлению дистрибутивных классов слов, а также критерии, на основе которых эти классы выделяются, и примеры полученных классов русских слов. Классификация проводилась на основе рассмотрения русских текстов по физике объемом 250 000 слов, причем текст задавался уже проанализированный, т. е. в нем были указаны отношения зависимости между словами. Доклад Д. Х е й с а (США) «Об определении величины отношения зависимости» был

¹ «Proceedings of the American philosophical society», CV, 5, 1960.

посвящен решению следующей задачи. Предполагается, что синтаксическое отношение между словами можно характеризовать некоторым числом (названным «величина отношения»), причем таким, что правильный результат анализа текста получается, если при выборе одного из нескольких возможных управляющих для слова отдавать предпочтение отношению с большей величиной. Подбор характеристик, обладающих указанным свойством, может быть сделан машиной, если ей задается текст, в котором указаны отношения между словами. В докладе описано, как получаются указанные величины: методика поясняется на примере русск. х предлогов. Вопросам составления при помощи машины грамматики языка и классификации слов был также посвящен доклад П. Гарвина (США) «Автоматический лингвистический анализ — эвристическая проблема».

В нескольких докладах сообщалось о различных вспомогательных программах, которые могут быть полезны в работах по машинному переводу. К ним относятся доклады: «Механический анализ языка» М. Левинсона (Англия), в котором описывается программа, составляющая для заданного текста список слов в алфавитном порядке с указанием частоты появления каждого слова в тексте; «О проблемах адресации в автоматическом словаре французского языка» П. Мелля (Франция), где описывается метод свертывания кодов в словаре; «Автоматическое составление диаграммы предложений» У. Пласа (США), где описывается программа, которая для предложений уже проанализированных, строит диаграмму в виде дерева.

В Кембриджском университете ведутся исследования по вопросам семантики, о которых было сделано два доклада: М. Мастерман «Исследование семантики сообщений для машинного перевода с использованием языка-посредника» и К. Спарк-Джонс «Механизированная семантическая классификация». В первом из них рассматривались способы построения сложных сообщений, исходя из некоторого набора исходных элементов (слов), причем для описания своих методов автор пользуется аппаратом математической теории структур. Во втором докладе описываются методы семантической классификации слов при помощи машины. Исходным материалом для машины служат ряды синонимичных слов, которые составляются человеком. Машина приводит объединение рядов в появившиеся группы, используя тот или иной критерий сходства рядов. В докладе приводятся результаты проведенных на машине экспериментов, в которых использовались три различных оценки меры сходства рядов. Проблемам семантики был посвящен еще доклад «О семантической классификации языковых единиц, имеющих структурную функцию» Э. Чарни (США) об изучении различных способов употребления в английском языке таких слов, которые не обозначают конкретных предметов, а служат для обозначения синтаксических связей (например, *all, only, each, any*).

Э. Клима (США) в докладе «Структура на лексическом уровне и ее приложения к грамматике соответствий» предложил характеризовать лексические единицы при помощи выделенных лексико-семантических элементов, причем для установления характеристик используются различные грамматические сочетания, в которых данные единицы появляются, и возможные преобразования этих сочетаний. Методика поясняется на примере характеристики английских глаголов. Доклад Р. Митчелла (США) «Заметки о категориальных грамматиках» был посвящен изучению теории и структуры категориальных грамматик, которые были предложены Бар-Хиллелем. Дж. Селтоном и Р. Торп (США) в сообщении «Один подход к проблеме сегментации при анализе речи и при машинном переводе» рассказали о способах разграничения слов в стенографической записи текста.

Об исследованиях, которые ведутся в Миланском университете, доложили: С. Чеккато и Б. Цонта «Человеческий перевод и перевод на машине 1»; Э. фон Глазерфельд, С. Першке и Э. Саме «Человеческий перевод и перевод на машине 2». Эти исследования имеют целью выяснение следующих вопросов: а) как строится человеком система основных понятий для описания окружающего мира?; б) что означает, что человек начинает перевод с понимания переводимого текста, а затем воспроизводит тот же смысл на другом языке?; в) как могут быть эти сложнейшие процессы имитированы в машине?

Проблемы трансформационного анализа были освещены в докладах М. Заречника (США) «Четвертый уровень лингвистического анализа», Д. С. Уорфа (США) «Трансформационные критерии для классификации предикативных конструкций с родительным падежом в русском языке». Об исследованиях по некоторым конкретным лингвистическим вопросам в связи с машинным переводом рассказали С. Четмен (США) «Классификация английских глаголов по типам дополнений», И. Линч (США) «Русские глаголы на -ся, употребляемые безлично, и случаи неразличения субъекта и объекта», Дж. Бартон (Италия) «Использование артикля в английском языке».

О. С. Кулагина (Москва)

С 18 по 23 сентября 1961 г. в Любляне проходил III конгресс Союза славянских обществ Югославии. Работа конгресса проходила в трех секциях: литературоведческой, лингвистической и педагогической. На объединенном пленарном заседании было прослушано три лингвистических доклада: доктора Й. Вуковича (Сараево) «Наша работа над национальным и общеславянским диалектологическим атласом», Б. Конеского (Скопье) «Выбор некоторых языковых элементов в диалектах», доктора П. Ивича (Новый Сад) «Актуальные проблемы сербскохорватской диалектологии» и доктора М. Бабовича (Белград) «О месте русского языка в наших школах и значении его изучения».

В повестке дня лингвистической секции стояли следующие доклады: доктора А. Баеца (Любляна) «Словенский литературный язык», доктора Л. Йонке (Загреб) «Проблемы акцентологии хорватско-сербского литературного языка», доктора З. Винце (Загреб) «Нормы современного хорватско-сербского литературного языка», Й. Топоришича (Загреб) «Послевоенные исследования словенского литературного языка и их задачи», С. Бабица (Загреб) «Нейтрализация прилагательных в хорватском или сербском литературном языке», Б. Терзича (Белград) «Вопрос формирования восточнославянских литературных языков в свете современной науки», Ф. Якопина (Любляна) «Проблема нормы в современном русском литературном языке», доктора Р. Угриновой (Скопье) «О некоторых стилистических особенностях употребления члена в македонском языке», доктора М. Стевановича (Белград) «Категория рода в глаголе и вопросы, связанные с ней», доктора Р. Алексића (Белград) «Возникновение причастий на *-lji* в сербскохорватском языке», Дж. Рашовича (Титоград) «О понятии времени в лингвистике», Б. Водушека (Любляна) «О лексикографических дифинициях и редактировании», доктора Б. Маркова (Скопье) «Понятия *velle* и *quære* в славянских языках», доктора И. Враны (Загреб) «Западный ареал кириллицы в XII и XIII вв.», доктора М. Ивич (Новый Сад) «Современные направления в исследованиях по лингвистике», доктора М. Кравара (Загреб) «Актуальные проблемы современной лингвистики», доктора С. Живковича (Загреб) «Лингвистика и грамматика», доктора Р. Коларича (Новый Сад) «Проблематика исторического изучения словенского языка», доктора М. Павловича (Новый Сад) «Процессы в древнейшую эпоху развития сербскохорватского языка», доктора М. Храсте (Загреб) «Имя собственное у югославын», доктора Ф. Безлая (Любляна) «Образование словенских географических имен», доктора Б. Финкз (Загреб) «Лексические проблемы в топонимистике», доктора В. Томановича (Скопье) «О необходимости изучения экспрессивной фонетики», Б. Погорелец (Любляна) «Включение союза в систему категорий слов», Г. Димитровского Тодор-Тодоровского (Скопье) «Проблемы перевода поэзии и прозы на македонский язык», М. Лалевича (Белград) «Проблема понятия предложения», Б. Полича (Загреб) «Заметки по языку произведения Тита Брезавачкого „Matijaš Grahačijaš dijak“», доктора П. Аси́ма (Белград) «Редукция звонкости в конце слов в сербскохорватском языке», доктора Б. Видоевского (Скопье) «Некоторые проблемы македонской диалектологии», доктора Ж. Милачица (Загреб) «Современная диалектология и этимология», доктора Б. Николича (Белград) «Происхождение шумадийско-воеводинского диалекта», доктора Д. Брозовича (Загреб) «О реконструкции домиграционной мозаики

хорватско-сербских диалектов», С. Поповича (Белград) «Результаты исследования говора чешского села Нова Вес», доктора Л. Вуйовича (Цетинье) «Существовал ли южнославянский говор в Черногории и северной Албании?», Д. Достинича (Цетинье) «Бокельский вариант восточногерцеговинского диалекта», Х. Купы (Сараево) «Произведения боснийских францисканцев с точки зрения исторической диалектологии».

Из докладов, представленных на литературно-исторической секции, лингвистических проблем касались доклады К. Пранича (Загреб) «Проблемы изучения стиля и языка современных хорватских писателей», Д. Канетановича «Текстология как первоначальный подход к литературному произведению».

Перед народной и университетской библиотекой в Любляне на площади Французской революции были открыты во время съезда памятники трем известным словенским филологам — Францу Кидричу, Райку Нахтигалю и Франу Рамовшу.

Н. Т.

С 27 сентября по 6 октября 1961 г. на филологическом факультете Ленинградского гос. университета проходила Межвузовская конференция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя². В конференции приняли участие представители многих научных учреждений РСФСР, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Латвии. Открывая конференцию, проф. Б. А. Ларин отметил характерную для этого съезда широту охвата материала, позволяющую обсудить разнообразные вопросы науки о слове.

В первые два дня были прослушаны доклады по исторической лексикологии. Проф. Ф. П. Филин (Ленинград) выступил с докладом на тему: «О лексических диалектизмах эпохи распада общеславянского языка». Он указал, что многочисленные древние изоглоссы на славянской языковой территории, не совпадающие с границами исторически засвидетельствованных славянских языковых групп и языков, говорят о сложности распада общеславянского языка, о том, что современные три славянских языковых группировки возникли далеко не сразу и в относительно позднее время. Реконструкция обильных реликтовых лексических изоглосс наталкивается на ряд трудностей, что позволяет пока лишь строить рабочие гипотезы.

Ф. П. Филин отметил, что изоглоссы реликтовых лексических явлений распадаются на несколько зон; в первую очередь выделяется севернославянская зона. Менее многочисленной является группа слов юго-восточной славянской зоны; другие диалектные зоны выделяются с большим трудом.

В докладе Н. И. Толстого (Москва) «Можно ли представить структурную

² См. тезисы докладов «Межвузовская конференция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя», Л., 1961.

типологию лексики славянских языков в лингво-географическом плане?» было указано на трудности, связанные с построением лексической типологии языка или диалекта и подчеркнута важность изучения отдельных семантических микроисем, которое имеет преимущество перед атомарным изучением отдельного слова. Докладчик отметил, что возможность разделить данную единицу из целого возникает при выяснении дистрибуции лексем, наложенных на программируемую максимально дифференцированную семантическую сетку ограниченного микрополя. Выявленные при этом различные конфигурации можно проецировать на карту и устанавливать изоглоссы.

Доклад Н. И. Толстого вызвал оживленные прения. Ф. П. Филин, указав на важность работ о семантических связях неродственных слов, отметил, что исчерпывающее изучение типов микрополей позволит исторической лексикологии подняться на новую ступень. Проф. А. П. Евгеньева (Ленинград) говорила о том, что докладчик убедительно критиковал метод прямого опроса при собирании материала, отметила важность составления идеографических словарей, однако подвергла сомнению возможность установления элементов лексической системы на основании нескольких микрополей.

Ряд докладов был посвящен этимологическим исследованиям, а также изучению языка отдельных памятников письменности. В выступлении проф. Б. А. Ларина (Ленинград) на тему «Из псковских материалов по истории слов» была раскрыта история древнерусского слова *буй*, имеющего скудную историческую документацию и почти исчезнувшего из народных говоров. Б. А. Ларин указал на сложность путей образования сначала гомотенных, а позже гетерогенных омонимов (*буй*¹, *буй*², *буй*³...), подчеркнув, что главным источником для изучения слова *буй* являются псковские материалы. Доклад проф. М. А. Соколовой (Ленинград) был посвящен рассмотрению греческих заимствований в «Домострое» и их дальнейшей судьбе. В прениях по докладу К. А. Тимофеева (Ленинград) и А. М. Филкель (Харьков) подчеркивали важность синхронного подхода при изучении заимствований, необходимость выяснения их функции и семантических связей в данный период. На примере истории одного заимствования Б. Л. Богородский (Ленинград) в своем докладе «Об одном итальянском морском термине на Волге (*пайола*)» наглядно продемонстрировал сложность путей проникновения слова в иноязычную среду.

Оживленные прения вызвал доклад Ю. В. Откущикова (Ленинград) «О происхождении названий озер Ильмень и Селигер». Докладчик выступил против традиционной точки зрения о финском происхождении этих гидронимов, рассматривая их как слова индоевропейского происхождения. Н. А. Мещерский (Петрозаводск) в своем докладе «О языке „Слова о

погибели Русской земли“», дал анализ, подерживающий точку зрения исследователей, считающих этот памятник самостоятельным литературным произведением, а не только вступлением к не дошедшей до нас светской биографии Александра Невского. Докладчик согласен и с более ранней датировкой «Слова», относя его появление к первой половине XIII в. в Северо-восточной Руси.

В снабженном большим фактическим материалом докладе И. А. Дзензелевского (Ужгород) «Украинско-западнорусские лексические ареалы» отмечалось, что при исследовании взаимосвязей родственных языков важно изучать не только одни заимствования, но и те общие и параллельные тенденции и явления, которые возникали в этих языках в разные периоды их истории. Некоторые конкретные вопросы развития средневековой правовой терминологии и употребления заимствований в островном литовском говоре БССР рассматривались в докладах З. Н. Закарьяни и М. К. Сивицкене (Вильнюс).

Большое внимание на конференции было уделено вопросам общей и региональной лексикографии. В докладе Л. С. Ковтуна (Ленинград) был проделан сравнительный анализ двух академических словарей (1847 г. и 1948 г.). Докладчица указала, что системность и историзм, свойственные обоим словарям, находят в каждом из них своеобразное понимание. Одно из основных отличий словаря Академии наук середины XX в. — несравненно более надежная база для объективного анализа семантики слова, подробная документация каждого из смысловых делений словарной статьи. Л. С. Ковтун подчеркнула, что цель словаря Академии наук СССР, в отличие от предшествующих словарей, — выявить не только значение, но и его переносные, образные и распространительные употребления; поэтому в данном словаре с наибольшей полнотой прослежены типы сочетаемости слов.

Доклад Э. Ф. Скороходько (Киев) был посвящен анализу различных видов определений слов в толковых словарях. Отметив типичные ошибки, встречающиеся при толковании значений слов, докладчик указал, что для их предотвращения при составлении толковых словарей целесообразно применять такую систему, которая позволила бы производить непосредственное сопоставление значений разных слов. При этом значение каждого слова должно иметь формальную модель, состоящую из элементарных семантических единиц, которые соответствуют слова, принимаемые в данном словаре за неопределяемые. По докладу Э. Ф. Скороходько выступали проф. Я. В. Лоя (Рига), А. П. Евгеньева и др.

Н. И. Толстой в докладе «Принципы построения резанского диалектального словаря И. А. Бодуэна де Куртене» отметил, что по своей структуре словарь был первым опытом славянского диалектального словаря, фиксирующим лексику, собран-

ую на небольшой территории полностью, без дифференциального по отношению к литературному языку подхода, с приведением всех фонетических, грамматических, а иногда и лексико-семантических вариантов по отдельным населенным пунктам. Выступая по докладу, Б. А. Ларин подчеркнул ценность сведений о подготовке И. А. Бодуэном де Куртене полного областного словаря для развития современной региональной лексикографии.

А. Н. Качалкин (Москва) в докладе «О принципах составления региональных исторических словарей» указал на необходимость использования при составлении областных диалектальных словарей всех известных доступных рукописных и печатных материалов прошлых веков, подчеркнул целесообразность объединения их лексического материала в специальных исторических словарях, если старинные документы сохранились в значительном количестве. Выделяя три типа исторических региональных словарей — полного, дифференциального и промежуточного, — докладчик отдает предпочтение дифференциальному типу словаря. Выступившие в прениях (Б. А. Ларин, Н. И. Толстой и др.) указали, однако, на нецелесообразность дифференциального словаря. Б. А. Ларин отметил, что компромиссный словарь привел бы к полному произволу составителя и в отборе, и в толковании слов. В докладе А. В. Никитина (Новгород) «О включении в областные словари местных географических имен» был дан новый диалектный материал, относящийся к географической терминологии (например, *бёрдо* «луг», «подводная мель» в районе озера Селигер).

По отдельным проблемам региональной лексикографии были зачитаны доклады Ю. П. Чумаковой (Барнаул) — «Об изучении словаря одежды на материале одного рязанского говора», Н. К. Соколовой (Воронеж) — «Лексико-фразеологическая характеристика говоров Воронежской области» (о принципах включения в региональные словари устойчивых сочетаний), А. С. Герда (Ленинград) «Имена существительные с суффиксами *-ух-а*, *-уш-а* в русских диалектах».

Особое место на конференции заняли доклады о подготовительных работах по псковскому областному словарю. Освещение особенностей псковских говоров было дано в докладах З. В. Жуковской (Псков) «Фонетическая группировка псковских говоров» и С. М. Глускиной и И. Т. Гомонова (Псков) «Морфологическая группировка псковских говоров». Псковские материалы легли в основу доклада В. И. Ереминой (Ленинград) «Символика растений в псковских говорах». На конференции был сделан также ряд сообщений о ходе работ над областными словарями.

О работе над словарем Закарпатья, составлявшемся Н. А. Грицаком (село Луг-Росишка), рассказали Б. А. Ларин и И. А. Дзедзелевский. В результате 30-летней работы, ныне почти завершенной,

Н. А. Грицаком создан общий словарь Закарпатья, примерно в 15 томов, хорошо истолкованный, включающий богатейший материал. К сожалению, несмотря на очевидную необходимость публикации, вопрос о напечатании составленного словаря полностью пока еще не нашел своего положительного разрешения. М. И. Онышкевич (Львов) поделился опытом работы над уже законченным им бойковским словарем. Присутствующие выслушали также сообщение Н. М. Малечи (Уральск) о ходе работ над словарем уральских казаков, Ф. Л. Скитовой (Пермь) о верхневшерском словаре, А. И. Чижик-Полейко (Воронеж) о воронежском словаре, О. Г. Гецовой (Москва) об архангельском словаре, В. И. Чагишевой (Ленинград) о брянском словаре и Л. В. Граве (Смоленск) о смоленском словаре.

Оживленный обмен мнениями способствовал уточнению ряда вопросов методологии и методики сбора материала и его истолкования (например, о включении в региональные словари общепародной и просторечной лексики, о фиксации употреблений слов, о месте фразеологии в областных словарях, о характере и формах накопления материала и т. д.).

*

Второй основной темой конференции было обсуждение вопросов языка писателя. Присутствующие прослушали около 20 докладов. Большое место заняли работы по языку М. Горького. Доклад М. Б. Боровой (Саратов) был посвящен особенностям словоупотребления в драматургии М. Горького. По мнению М. Б. Боровой, отличительной чертой языка драматического жанра является особый вид семантической дуплановости, которая возникает в результате разной субъективной смысловой направленности реплик. Излюбленные же М. Горьким в повествовательном жанре метафоры-олицетворения не свойственны драматическим произведениям в силу самой специфики жанра; здесь отличительной чертой метафор является предметная наглядность, бытовая основа ассоциации.

На материале повести М. Горького «В людях» рассматривался в докладе Ю. С. Язиковой (Владивосток) вопрос о выявлении эстетических значений слова. Докладчик показала, что при анализе индивидуального словоупотребления приходится выходить за пределы обычных лингвистических единиц (словосочетания, предложения) и реализации эстетических, семантически обогащенных значений слова требует много членения текста, широких контекстов, бывает часто обусловлена и внеязыковыми факторами. Вопросам языкового стиля Горького был посвящен и ряд других докладов конкретного характера; об индивидуальном употреблении фразеологизмов И. Л. Городецкой (Ленинград); об атрибутивных сочетаниях Ф. А. Коноваленко (Харьков); об употреблении глаголов *вспыхнуть*, *угас-*

нуть и др. О. И. Рак (Ленинград); о слове голубой С. В. Беквой (Ленинград) и др.

В. В. Гурбанов (Краснодар) в своем докладе «О лексике рассказов А. П. Чехова» говорил о приеме лексической актуализации. Он подчеркнул, что основа лексико-семантического новаторства А. П. Чехова заключалась в том, что он в ряде случаев трансформировал в рассказах конкретные существительные, придавая им образно-символическое значение. Е. П. Артеменко (Воронеж) в докладе «Стилистическое использование диалектизмов в драме Л. Н. Толстого „Власть тьмы“», отметила мотивированность диалектных единиц в лексической системе драмы, которая создается благодаря их особому подбору, а также своеобразным приемам включения диалектизмов в языковую ткань произведения. В докладе Е. А. Маймина (Псков) «Язык и стиль поэмы А. С. Пушкина „Медный всадник“» ставился вопрос об обусловленности языка произведения художественным замыслом поэта.

Средством выражения комического в художественной литературе был посвящен доклад П. П. Плещая (Киев) «О стиле и языке Степана Олейника». Близкая тема была затронута в докладе М. И. Приловой (Ленинград) «Юмористические и сатирические словари XIX в.».

Острую дискуссию вызвал доклад А. М. Финкеля (Харьков) «Стилистическое использование служебных слов (на материале стихотворения А. Блока „Незнакомка“)», в котором докладчик пытался показать, что многозначность и синкретизм свойственны в «Незнакомке» не только самостоятельным словам, но и служебным.

Особое место занял доклад Б. А. Ларина «„Чайка“ Чехова (опыт характеристики стиля)». Он раздвинул рамки конференции, приоткрыв перспективу дальнейших изысканий в области стиля писателя, стиля как взаимопроникающей системы всех элементов художественного произведения на фоне литературной жизни эпохи. Б. А. Ларин подчеркнул, что художественный аспект языка может быть изучен только в неразрывной связи со всеми остальными компонентами художественного произведения. Композицию «Чайки» докладчик сопоставляет со строением сложной фуги: последовательно-вторное развитие двух мотивов, обогащаемых совпадениями и контрастами этого параллельного развития. Анализируя многоплановость символа чайки, Б. А. Ларин показал, как всю систему образов пьесы пронизывают напряженно драматическая связь и противоборство. Докладчик указал, как композиция пьесы находит опору и в языке: косная стихия будничной бытовой речи — и высокая тональность поэтической мечты («речи в будущее») — это две поляризующиеся стихии, контрастирующие и взаимно усиливающие звучание до своего возможного предела.

Кроме рассмотренных выше, на конференции были прочитаны следующие доклады: А. И. Федорова (Ленин-

град) «Фразеологические сочетания в языке художественных произведений Л. Н. Толстого 50—60-х гг.», Н. П. Раздоровой (Рига) «О переносном и образном употреблении некоторых слов у К. Г. Паустовского», М. К. Максимовой (Ленинград) «Поэтическая лексика романтизма у А. И. Герцена (бура, гроза, волна, плосец)», И. И. Тараненко (Одесса) «Т. Г. Шевченко об украинском литературном языке», М. А. Генкель (Пермь) «Речевые средства создания образа у Мамина-Сибиряка», Н. А. Москаленко (Одесса) «Номинативные предложения и их стилистическая роль в поэзии П. Тычины» и О. Н. Семеновой (Таллин) «Наблюдения над семантической осложненностью в романе А. Н. Толстого „Петр I“».

Основными вопросами, обсуждавшимися в выступлениях по докладам, были: взаимодействие в художественном произведении языковых и внеязыковых факторов, правомочность использования нелингвистических приемов при анализе языка художественного произведения, вопросы терминологии, определения некоторых стилистических категорий, в частности понятия «образ» и др.

Последнее заседание конференции было посвящено вопросам составления словарей писателей. В. С. Ващенко (Днепропетровск) сделал доклад «О принципах составления словаря Т. Г. Шевченко», вызвавший оживленное обсуждение по ряду вопросов (о включении в словарь вариантов текста произведений, о стилистических пометах, о фразеологизмах и др.). Т. В. Баймут (Житомир) рассказал о работе над словарем «Зачарованной Десны» А. П. Довженко.

Подводя итоги конференции, Б. А. Ларин отметил единство в подходе к изучению вопросов исторической лексикологии, что дало возможность сделать ряд теоретических обобщений в этой области. Он указал на перспективность работы в области исторической лексикологии по сравнению с изучением последней лишь в синхронном плане, так как показания различных эпох, неравномерность развития лексических элементов дают основание для теоретических выводов и для создания объективных схем исторического развития слова. Б. А. Ларин отметил, что сравнительно мало было уделено внимания на конференции общеславянской лексике, изучение которой особенно важно при построении общей лексикологии.

Дальнейшей интенсивной разработкой требуются и проблемы топонимики, которые являются важным источником сравнительно-исторического изучения языков. Б. А. Ларин подчеркнул, что доклады по языку писателей представляют картину большего разноречия, однако и здесь намечаются пути методологического сближения дальнейших исследований. Становится очевидным, что не следует уделять внимания общепародным элементам языка пи-

³ Словарь этот готовится к выходу из печати.

сателей, а это приводит к выводу о том, что вопросы специфики грамматики писателя возможно плодотворно разрабатывать, лишь успешно решив основную задачу, уловив авторскую специфику в области лексики, композиции и т. д. Теоретические доклады по языку писателя на этой конференции — свидетельство длительной работы, накопленного опыта в этой области.

Б. А. Ларин отметил, что все больше проявляется тема композиционной функции языка. Остановившись на «спектральном» анализе стиля, он сказал, что лишь на основе многочисленных исследований по отдельным элементам стиля писателя можно говорить о своеобразии стиля во всей совокупности элементов литературной композиции, в которых может проявиться индивидуальность писателя.

О. Н. Семенова (Таллин)

5—7 октября 1961 г. в г. Владимире состоялась II научно-методическая конференция Московского зонального межвузовского объединения кафедр русского языка педагогических институтов. Основной темой конференции был вопрос о повышении качества преподавания лингвистических дисциплин в пединститутах в соответствии с Законом об укреплении связи школы с жизнью. В работе конференции приняли участие 70 научных работников 22 пединститутов, 2 университетов и АПН РСФСР, а также свыше ста учителей русского языка г. Владимира и Владимирской обл. Вступительное слово на открытии конференции произнес ректор Владимирского пединститута доц. Б. Ф. Киктев.

На пленарных заседаниях были прочитаны доклады: проф. И. В. Устиновым (Москва) «Повышение качества знаний по русскому языку в общеобразовательной школе и задачи пединститутов» и «О применении технических средств в преподавании лингвистических дисциплин»; доц. А. М. Иорданским (Владимир) «В. И. Чернышев — выдающийся педагог-методист и ученый-языковед»; проф. И. Г. Голановым (Москва) «Работа над русским литературным произношением на филологическом факультете».

На секции современного русского языка и методики его преподавания — руководители проф. И. Г. Голанов и доц. С. А. Фессалоницкий (Владимир) — было сделано 9 докладов и сообщений. В докладе доц. П. Г. Черемисина (Тула) — «Вопросы стилистики в курсе современного русского языка» — мотивировалась необходимость выделения «Стилистики» как особого раздела в теоретическом курсе современного русского языка. Доклад доц. Б. Н. Головина (Горький) был посвящен проблемным вопросам категорий вида и залога русского глагола. Рассматривая категорию вида как отражение реальных различий между предельными и непредельными процессами, докладчик возражал против понимания глаголов совершенного и несовершенного вида как глаголов, обозначающих целокупное и нецелокупное действия.

Б. Н. Головин полемизировал с теми, кто рассматривает категорию вида только как формообразовательную или только как словообразовательную категорию. Сам он считает ее своеобразной гибридной категорией. Исходя из того, что категория залога отражает активные и пассивные процессы, Б. Н. Головин полагает, что все глаголы обладают категорией залога, и устанавливает трехчленную систему залогов: действительный, страдательный и средний залого, соответственно отражающие активные «охватывающие», пассивные и активные «неохватывающие» процессы. С. А. Фессалоницкий поделился опытом изложения темы «Управление» в курсе современного русского языка и остановился на ряде дискуссионных вопросов, требующих дальнейшего изучения (управление как категория грамматическая и как категория лексико-грамматическая, система управления в русском языке, границы управления и др.). По мнению докладчика, для полного решения этих и многих других спорных вопросов управления необходимо составление специальных словарей употребления косвенных падежей. С. А. Фессалоницкий рассказал в этой связи о своей работе над таким словарем на материале басенного языка И. А. Крылова. Доклад доц. В. А. Шитова (Вологда) содержал детальную разработку и систематизацию видов и разновидностей сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными в современном русском языке. Ряд других докладов — доц. В. И. Тагуновой (Муром), доц. Т. А. Шаповаловой (Кострома), действ. чл. АПН проф. А. В. Текучева (Москва), ст. препод. А. М. Пудковой (Муром) — был посвящен отдельным проблемам методики преподавания русского языка в вузе и школе.

На секции истории русского языка и диалектологии — руководители проф. И. А. Василенко (Москва) и доц. А. М. Иорданский — было обсуждено 13 докладов и сообщений. В докладе И. А. Василенко говорилось о необходимости повышения научно-теоретического уровня преподавания дисциплин исторического цикла. Проблема профессионально-педагогической направленности курсов исторической грамматики русского языка и старославянского языка были посвящены доклады А. М. Иорданского и ст. препод. А. Б. Пенюков (Владимир). В докладах Е. А. Василевской (Москва) и доц. С. Я. Сердобинцева (Вологда) рассматривались отдельные вопросы курса истории русского литературного языка. Доц. А. Н. Кожин (Москва) рассказал об опыте проведения спецсеминара по языку писателя (на материале произведений К. Федина).

Особое внимание участников конференции привлек доклад доц. Л. Н. Шатерникова (Москва) о сопоставительном анализе языка художественных произведений. В качестве материала для наблюде-

ний было взято по 50 предложений из рассказа Л. Н. Толстого «Упустишь огонь — не потушишь», из его же романа «Воскресение» и из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». В процессе анализа сопоставлялись: а) количество и состав простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; б) употребление однородных членов — сказуемых и второстепенных членов; в) наличие определений, согласованных и несогласованных; г) употребление причастных и деепричастных оборотов. Качественный и количественный анализ избранных отрывков, проведенный с учетом единства формы и содержания художественных произведений, показал, что каждому из названных произведений присущи свои синтаксические особенности.

Выступавшие в прениях (Б. Н. Головин, Н. А. Мещерский, Е. А. Василевская, А. Б. Пенковский и др.) единодушно отметили высокие достоинства доклада Л. Н. Шатерниковой.

По мнению Б. Н. Головина, наиболее привлекательным в докладе является применение сопоставительного метода, который позволяет получить объективные результаты, и статистических приемов исследования, использованных так, что количественный и качественный анализы слиты в единое целое.

С сообщениями о работе по составлению диалектных словарей выступили доц. Е. А. Комшилова (Москва), А. Ф. Иванова (Москва), доц. А. И. Иванова (Смоленск), ст. препод. Т. С. Воронцова (Шуя), асп. Г. И. Зотов (Москва). А. И. Иванова сделала также сообщение на тему «Из истории слова *блонье*», а Т. С. Воронцова рассказала о подготовке словаря палехского искусства, материал для которого собран и в значительной части обработан. В сообщении доц. Д. И. Алексеева (Смоленск) и доц. В. Д. Бондалетова (Пенза) была выдвинута на обсуждение проблема составления словаря условно-арготической лексики русского языка. Было подчеркнуто, что такой словарь необходим в качестве справочного пособия для ограничения диалектной лексики от арготической, а также для изучения ряда общерусских лингвистических проблем. Д. И. Алексеев обратился с просьбой ко всем диалектологам при обнаружении (во время экспедиций) условной речи сообщать об этом в Пензу или в Смоленск, чтобы очаги условных языков могли быть взяты на учет.

Препод. Ю. П. Чумаков (Барнаул) выступила с сообщением на тему «Условные синонимии и синонимического использования слов в системе диалектных названий одежды (на материале одного рязанского говора)».

На заключительном пленарном заседании выступил с сообщением о применении технических средств на занятиях по лингвистическим дисциплинам ассистент Н. А. Крылов (Москва) с демонстрацией некоторых приемов работы

с магнитофоном. По всем обсужденным на конференции вопросам было принято возвращенное решение. Очередную зональную конференцию намечено посвятить проблеме проведения спецкурсов и спецсеминаров на филологических факультетах институтов.

В. Ф. Киприянов и А. Б. Пенковский (Владимир)

12—14 октября 1961 г. в Одесском гос. университете состоялась IV республиканская межвузовская славистическая научная конференция. В конференции приняли участие ученые Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ужгорода, Черновцов, Станислава, Запорожья и других научных центров Украины, а также ученые Ленинграда и Минска.

12 октября пленарное заседание конференции открылось вступительным словом ректора Одесского университета проф. А. И. Юрженко. 13—14 октября работали 4 секции: секция языкознания с подсекциями грамматики и истории славянских языков, секция литературоведения, секция фольклора и секция истории.

Первое заседание секции языкознания было посвящено вопросам языкового мастерства Т. Г. Шевченко. Ф. П. Медведев (Харьков) охарактеризовал Т. Г. Шевченко как величайшего мастера художественного слова и определил его отношение к языковой практике украинских писателей предшествующего периода. И. С. Олейник (Запорожье) на основе анализа рукописей поэмы «Гайдамаки» и баллады «Причинна» выяснил характер стилистических правок Шевченко, ведущих к усилению идейно-художественной выразительности произведений. М. А. Жовтобрюх (Киев) в докладе «До характеристики вокалізму поетичної мови Т. Г. Шевченка» остановился на тех отдельных явлениях украинского вокализма, отраженных в произведениях Шевченко, которые представляют значительную ценность для истории украинского языка и для украинской диалектологии. А. С. Колодяжный (Харьков) в своем сообщении говорил о значении внутренней рифмы в стихотворном языке Шевченко, а М. Ф. Бойко (Киев) в докладе «Леся Українка — продовжувач мовних традицій Т. Г. Шевченка» проследил поэтические средства художественного изображения в творчестве Леси Украинки сравнительно с творчеством Шевченко и пришла к заключению, что Леся Украинка развивала основные тенденции Шевченко в использовании традиционных лексических богатств украинского языка. Доклад А. А. Москаленко (Одесса) был посвящен вопросу о происхождении украинского литературно-письменного языка. Докладчик в литературном языке XIV — первой половины XVIII вв. усматривает три типа: 1) славяно-русский тип; 2) книжный украинский язык; 3) украинский письменно-литературный язык. Положения доклада вызвали оживленную дискуссию. Серьезные возражения вызвала попытка доклад-

чика установить различие между вторым и третьим типами литературного языка.

В подсекции грамматики в докладах рассматривались проблемы: 1) вопросы словообразования в славянских языках; 2) отдельные грамматические категории в славянских языках; 3) иноязычные элементы в украинских говорах. Н. И. Букатеви́ч (Одесса) доложил «О некоторых образованиях от местоименных корней в современных славянских языках». На материале семи славянских языков (русского, украинского, белорусского, польского, чешского, сербскохорватского и болгарского) рассмотрены были однокоренные образования от местоимений *я, ты, вы, себя, свой, сам, всякий, иной* и словообразовательная активность этих местоимений. И. И. Ковали́к (Львов) в своем докладе, отметив задачи изучения словообразования в славянских языках, дал характеристику словообразования названий живых существ женского рода в лужицких языках. Т. М. Возный (Львов) поделился интересными соображениями о некоторых образованиях с суффиксами *-ница (ти), -ича(-ти)* в восточнославянских языках. С. А. Сави́цкая (Одесса) доложила о формах инфинитива в славянских языках. Ф. П. Сма́гленко (Одесса) охарактеризовал активные и пассивные конструкции предложений в восточнославянских языках. С. Ф. Бе́звенко (Ужгород) рассмотрел вопрос о дат. падеже с окончанием *-ові* в украинском языке на общеславянском фоне. О западнославянских лексических элементах в украинских говорах Одесской области сообщила Л. С. Терешко́ (Одесса), о южнославянских элементах в украинских говорах юга Бессарабии — В. П. Дроздовский (Одесса). О славянских и романских элементах в топонимике Буковины доложил Ю. О. Карпенко (Черновцы). Прослушанные доклады вызвали живой обмен мнений между участниками конференции и способствовали выяснению поставленных вопросов словообразования, грамматики и лексики славянских языков.

В подсекции истории славянских языков часть докладов посвящена была вопросам лексики: характеристике словарного состава украинских деловых документов XVII в. (Ф. Е. Ткач — Одесса); лексике украинского литературного языка первой половины XIX в. (П. Д. Тимошенко — Киев); названиям денежных знаков в славянских языках (Н. Г. Рядченко — Одесса). Вопросы литературного языка рассмотрены были в докладах: «И. С. Нецуй-Левицкий о некоторых вопросах украинского литературного языка» (И. Е. Грицютенко — Львов); «К вопросу о взаимодействии чешского и русского литературных языков» (Г. А. Илич — Ленинград). Об основных этапах становления национального сербскохорватского языка доложил П. А. Дмитриев (Ленинград). Выяснению вопроса «О месте славянских языков среди других индоевропейских» посвятил свой доклад О. С. Широков (Черновцы). Неко-

торые вопросы словообразования в русском языке освещены были в докладах С. С. Волкова (Ленинград) и А. К. Смольской (Одесса). П. П. Плющ (Киев) доложил о «Началах священного языка славян Вячеслава Ганки». Н. В. Павлюк (Одесса) в докладе «Болгаристика в Одесском университете за 100 лет» остановился на роли и значении одесских ученых — В. И. Григоровича, П. С. Биляровского, Б. М. Ляпунова и др. — в изучении болгарского языка, его литературы и культуры. Доклады вызвали оживленные прения, особенно по вопросам развития украинского литературного языка.

В секции литературоведения заслушаны были доклады по проблемам: перевода произведений Т. Г. Шевченко (П. И. Пачовский — Львов, Б. И. Галащук — Одесса, М. Я. Гольберг — Дрогобыч); межславянских литературных связей (В. А. Чичерин — Львов, Б. Я. Барская — Одесса, Н. Х. Копыстьянская — Львов, В. И. Шевчук — Львов и др.); изучения творчества славянских писателей (Г. Д. Вервес — Киев, Б. А. Шайкевич — Одесса, В. О. Захаржевская — Киев и др.).

В работе секции фольклора и этнографии приняли участие более 50 человек, в работе исторической секции — более 70.

На заключительном пленарном заседании участниками славистической конференции была принята развернутая резолюция, в которой, в частности, было отмечено, что, поскольку Одесский университет на протяжении своего существования занимал видное место в изучении вопросов славянского языкознания, следует ходатайствовать перед Министерством высшего образования СССР о восстановлении в Одесском университете кафедры славянской филологии и о возобновлении на филологическом факультете подготовки специалистов-славистов.

Н. И. Букатеви́ч (Одесса)

31 октября — 3 ноября 1961 г. в Риге состоялось VII координационное совещание по лексикографии, проведенное Словарной комиссией Отделения литературы и языка АН СССР совместно с Институтом языка и литературы АН Латв. ССР. Совещание заслушало 13 докладов по вопросам, связанным с толкованием значений слов в толковых словарях национальных языков, и два кратких сообщения. В совещании приняли участие до сорока лексикографов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Вильнюса, Таллина, Баку, Ташкента, Душанбе, Кишинева, Казани, а также большое число латвийских языковедов.

Первым был заслушан доклад доктора филол. наук А. П. Евгеньевой (Ленинград) «Определения в толковых словарях». Докладчик предпочитает в качестве термина пользоваться словом «толкование» значения, поскольку оно более точно выражает сущность обозначаемого. Проследивая

историю составления толковых словарей русского языка, А. П. Евгеньева показала, что она является одновременно и историей выработки и создания различных типов и моделей толкований. Наиболее распространенным типом словаря является словарь современного (по отношению ко времени составления) языка, словарь нормативного характера. Именно этот тип толковых словарей представляется наиболее разработанным в отношении описания лексики. Разнообразные типы и модели толкований, которые более или менее последовательно применяются в различных толковых словарях, можно разбить на несколько групп, в основании выделения которых лежат различные принципы: функциональные особенности различных групп лексики, словопроизводные связи и отношения, отдельные особенности в соотношениях слов и обозначаемых ими предметов, явлений и т. д. действительности. Самым важным и трудным в толковании значений, по мнению А. П. Евгеньевой, представляется установление соотношения между словом и предметом или явлением реальной действительности, между словом и понятием, словом и представлением. Дальнейшего совершенствования толкований, по мнению А. П. Евгеньевой, надо искать на пути выявления различных смысловых связей и отношений (синонимических, антонимических, стилистических и др.).

Вопрос о толковании специальных терминов в филологическом словаре был рассмотрен в докладе канд. филол. наук Ф. П. Сороколетова (Ленинград). Докладчик отметил необходимость давать сжатое, но научно правильное определение терминам, включаемым в словарь, принимая во внимание смысловое содержание определяемого слова-термина и соотношение между специальным и общим значениями слова. Решение проблемы толкования специальных терминов в толковых словарях сводится, по мнению Ф. П. Сороколетова, к установлению принципиального качественного различия между энциклопедическими и филологическими словарями. Если филологический словарь в основу определения термина кладет функции соответствующей реалии, то словарь энциклопедический дает детальную характеристику понятия, обозначающего термин, описывает реалии. Энциклопедический словарь регистрирует все изменения в содержании понятия, вызываемые изменениями в реалии, изменениями функций; филологический же словарь отмечает только изменения в значении слова (термина).

Используя материал имеющихся двух академических толковых словарей русского языка и толкового словаря С. И. Ожегова, канд. филол. наук Т. В. Зайцева (Киев) посвятила свой доклад лексикографической разработке структурно и семантически близких слов в этих словарях. Докладчик указала на разноречивую и непоследовательность, наблюдаемые в словарях при подаче фонетических и морфологических вариантов слов и синонимов. Все три словаря последовательно объеди-

няют в одной статье фонетические варианты, различающиеся ударением, но в отношении иных, тоже фонетических вариантов (номер — нумер, галоши — калоши) такой согласованности нет: они то подаются отдельными статьями, то соотносятся друг с другом отсылками *см. и то же, что....* Еще больший разноречивый наблюдается при подаче так называемых «морфологических вариантов» (а также слов из группы «морфологических параллелизмов», по терминологии докладчика) типа *санаторий — санатория, апельсиновый — апельсиновый* и др., причем иногда наблюдаются расхождения и в определении самого семантического объема слова. В связи с этим заслуживает внимания и вопрос об иллюстрировании различия семантически близких слов примерами атрибутивных словосочетаний. Такие иллюстрации, наряду с удачными, в большинстве случаев не вносят ясности в понимание семантического объема слова. Аналогичное различие необходимо и при толковании синонимов. Установив опорное слово данного синонимического ряда, надо дать ему объективное толкование и объяснить все остальные синонимы, отталкиваясь от содержания этого опорного слова.

Вопросу о размежевании значений слова и их оттенков в толковом словаре был посвящен доклад канд. филол. наук А. А. Бурячка (Киев), использовавшего опыт украинских лексикографов в этой области. Докладчик указал, что правильное решение этой задачи связано со значительными трудностями, заключающимися прежде всего в постоянном смещении значений и употреблений слова при разработке словарных статей. В лексических системах как украинского, так и русского языков отчетливо выделяются два типа значений: 1) наиболее устойчивые прямые значения слова, являющиеся основой всех других значений слова и его употреблений; 2) переносные лексические значения, выступающие лишь в сочетании с определенными словами. Невыразительность семантики последних и зависимость от прямого значения создают значительные трудности при подаче их в словаре. По мнению А. А. Бурячка, о формировании переносного значения на базе образного употребления можно говорить, очевидно, тогда, когда слово, употребленное метафорически, воспринимается, осознается уже не через прямое значение, а непосредственно. Докладчик перечислил ряд условий, от которых зависит развитие переносного значения слова из его образного функционирования. А. А. Бурячок считает, что в качестве «оттенка» можно выделять то переносное значение, фразеологические связи которого сводятся к единичным случаям, которое еще не закрепилось прочно в том или ином синонимическом ряду и смысловая зависимость которого от прямого значения достаточно ощутима.

В докладе канд. филол. наук А. М. Бабкина (Ленинград) «Лексические материалы и их роль при создании филологи-

ческих словарей» показано решающее значение лексических выборок, извлеченных из разнообразных текстов, для всех этапов работы над словарями национального языка: толковыми, фразеологическими, синонимическими и т. п. Как номенклатура словаря (словник), так и смысловая характеристика слов, а в особенности нормализация лексического запаса языка и стилистическая квалификация слов, становятся достоверными и убедительными только в том случае, если они в тексте словарей подкреплены показательными иллюстрациями — оправдательными примерами-цитатами, — способными придать словарю силу непрекаемого авторитета.

Помимо докладов общего характера, на совещании были заслушаны также доклады, связанные с принципами толкования значений слов в толковых словарях отдельных национальных языков. Так, канд. филол. наук М. М. Стенгревиц (Рига) изложила принципы толкования значений слов в «Словаре латышского литературного языка». Основным приемом раскрытия значений слов в этом словаре является описательное, дефинитивное определение, т. е. толкование в собственном смысле. Как дополняющий элемент толкования используются синонимы, которые даются после основного определения значения. Некоторые группы производных слов толкуются отсылочным способом. При толковании слова учитывается вся его семантическая структура, характер отдельных значений многозначного слова. Докладчик остановилась далее на принципах подачи переносных и образно-переносных значений, на толковании оттенков, на особенностях лексических групп с ограниченным употреблением в литературном языке и на связанном с этим вопросе о стилистических пометах и пометах при терминах.

Канд. филол. наук В. Э. Сталтмане (Москва) на материале того же словаря рассмотрела методы и принципы толкования слов с однозначными словообразовательными морфемами (так называемые «типовые толкования»). Основное внимание в докладе было направлено на использование отсылочных толкований при раскрытии семантики производных слов. Некоторые наиболее продуктивные словообразовательные группы слов в словарь не включаются, а толкования однокоренных производных слов сокращаются до минимума. Это препятствует ненужному разрастанию словаря. Особые трудности в применении типовых толкований представляют два случая присоединения к многозначному основному слову словообразовательной морфемы: 1) однозначной и 2) многозначной.

Синонимическое толкование значений слов в словаре литовского языка было рассмотрено в докладе канд. филол. наук А. А. Либерса (Вильнюс), указавшего, что подготавливаемый словарь по своему объему и характеру близок к словарям типа «Thesaurus'a», так как включает не только слова современного литературного языка, но и диалектизмы и слова старолитовских памятников. Лексические синонимы для

толкования слов используются в словаре чаще всего как вспомогательное средство для описательного определения, дополняя его и показывая, что для выражения того же понятия в языке существуют и другие слова. Докладчик перечислил случаи, в которых синонимическому толкованию отдается предпочтение. В толковании слов, различающихся особыми смысловыми или яркими стилистическими (экспрессивными) оттенками, синонимическое толкование не применяется. Не применяется также объяснение слов литературного языка при помощи диалектных, устаревших, жаргонных и других слов. Промежуточный синонимический способ толкования допускается в отдельных случаях.

Кандидаты филол. наук А. П. Кучикскайте и И. П. Паулаускас (Вильнюс) на материале того же словаря охарактеризовали и обобщили некоторые установившиеся типы и формулы толкования бесприставочных и приставочных глаголов. В докладе был сделан вывод, что при толковании производных и смысловых групп глаголов вполне оправдал себя тавтологический способ объяснения. Тавтологические определения отличаются краткостью и ясностью, а также объясняют не только значение, но и указывают на его происхождение или связь слова с другим однокоренным словом. Однако в целом тавтологические определения глаголов в словаре применяются реже, чем обычные описательные определения. При толковании значения приставочного глагола необходимо иметь в виду тесную взаимную связь значения бесприставочного глагола со значением присоединяемой к нему приставки.

Смысловой характеристике слов в макете толкового словаря эстонского языка был посвящен доклад кандидатов филол. наук И. Конт и А. Пикамяэ (Таллин). Составители словаря придерживаются схемы семантического анализа, принятой в советской и новейшей зарубежной лексикографии. Значения слов раскрываются в толковом словаре в основном в кратких филологических толкованиях (как путем описательного толкования, так и синонимического определения), но эстонская инструкция предусматривает несколько более широкое применение элементов энциклопедического определения, чем это принято в толковых словарях русского языка советского времени. Это диктуется отсутствием издания в советское время эстонской энциклопедии, вследствие чего толковый словарь должен в известной степени служить также и справочником более общего характера.

Специфика толкования слов в толковом словаре азербайджанского языка была изложена в докладе канд. филол. наук А. А. Оруджева (Баку). В зависимости от характера лексико-грамматических рядов и тематических групп в словаре выделяется несколько основных типов толкований, применяемых: 1) к различным частям речи, 2) к фразеологическим еди-

нидам, 3) к специальным терминам, 4) к заимствованиям из арабского, персидского и из европейских языков. В отличие от словаря современного русского литературного языка синонимы вводятся в словарь не только как дополнения к толкованию значения, но и как один из способов толкования преимущественно заимствованных слов.

Канд. филол. наук Р. Карелсон (Таллин) познакомил совещание с системой толкований слов в словаре финского языка «Nykysuomen sanakirja», пять томов которого уже вышли, а над шестым — последним — заканчивается работа. По своим принципам это словарь — неисторический. Преобладающим в словаре является описательное толкование, применяемое для объяснения как корневых, так и производных слов и сопровождаемое иногда энциклопедическими сведениями, но для обычных слов указывается лишь сфера употребления, а точного толкования к ним не дается. Поскольку словарь финского языка содержит большое количество специальных терминов, то, в отличие от словаря русского языка, для каждой специальности применяется своя специфическая помета. Словарь финского языка содержит мало цитат, но зато очень большое количество метких и выразительных речений, иногда являющихся прямым продолжением описательного толкования.

Канд. филол. наук К. А. Карулис (Рига) сообщил совещанию итоги своих наблюдений над 47 иностранными толковыми словарями. В рассмотренных словарях наблюдаются очень большие различия как с точки зрения идеологической и политической, так и по филологическому характеру и техническому оформлению толкований значений слов. Для толкования в словарях капиталистических стран характерна буржуазная идеология, особенно ясно проявляющаяся не только в толковании политических и идеологических терминов, но и при анализе общей лексики, в выборе иллюстративного материала. В словарях же стран народной демократии в толкованиях видно положительное влияние советских словарей. По приемам толкования значений рассматриваемые словари делятся на две группы: 1) при раскрытии значений главную роль имеет прямое толкование и 2) главную роль играют другие элементы словарной статьи, особенно иллюстративный материал. По отношению к иллюстративному материалу в иностранных словарях наблюдается большое различие: есть словари, где значение слова раскрывается только цитатами или примерами, но в большинстве словарей цитат нет. Широко применяется в словарях также способ графического (рисуночного) иллюстрирования значений слов. В заключение своего доклада К. А. Карулис внес предложение об издании сборника статей с критическим обзором иностранных толковых словарей и говорил о необходимости составления сравнительного толково-переводного словаря некоторых языков, где

значения слов разных языков толковались бы на одном языке.

В кратком сообщении канд. филол. наук В. П. Соловьева (Кишинев) были изложены основные способы толкования значений в одностомном толковом словаре современного молдавского литературного языка. Помимо аналитического, широко будет использован синонимический способ толкования, способствующий лучшему раскрытию лексического богатства молдавского языка.

Заслушанные на совещании краткие выводы проф. П. Дале (Рига) касались вопроса краткого и подробного определения значений слов в филологических и энциклопедических словарях. По мнению П. Дале, основным способом раскрытия значений слов и терминов в обоих типах словарей является логическое определение.

В прениях по докладам выступило 16 человек, затронувших в своих выступлениях как некоторые общие вопросы теории лексикографии, так и конкретное применение лексикографических принципов в отдельных толковых словарях. Наибольшие споры вызвал вопрос о характере толкования специальных терминов в общих словарях [краткое сообщение П. Дале, выступления Б. В. Горнунга (Москва), Н. И. Фельдмана (Москва), С. Ф. Акабировой (Ташкент) и др.]. Выдвинутая Я. В. Лоя (Рига) и К. Карулис идея создания «двуязычных-объяснительных» словарей не встретила поддержки на совещании; в возражениях им указывали, что лексические системы даже близкородственных языков не могут быть наложены друг на друга. Однако Н. И. Фельдман и Т. В. Зайцева отчасти поддержали эту идею, рекомендуя внесение в двуязычные словари «элементов сравнительности», отображающих специфику лексической системы каждого из двух языков. Н. И. Фельдман считает также необходимым, чтобы составители толковых словарей больше учитывали потребности использующих эти словари переводчиков.

Э. П. Сокол (Рига) говорил о роли словарей как средства пропаганды богатства родного языка и призывал, в связи с докладом А. М. Бабкина, к максимально осторожному и вдумчивому использованию иллюстраций из лучших классических произведений художественной литературы. В отдельных случаях, по мнению Э. П. Сокола, такие иллюстрации используются в словарях неудачно — как примеры стилистически нейтрального употребления слов, не нуждающихся в такой иллюстрации. Эта мысль была поддержана в выступлении И. М. Ошанина (Москва) и в заключительном слове А. М. Бабкина. В. А. Юрик (Рига) настаивал на использовании лексикографами достижений структурной лингвистики, в частности дистрибутивного анализа, ссылаясь на работы Ю. Д. Апресяна. Н. А. Баскаков (Москва) в своем выступлении дал развернутую характеристику работы над толковыми словарями тюркских языков, оха-

рактизовав их достоинства и главнейшие недостатки. И. М. Ошанин говорил о помощи, которую оказывают толковые словари составителям двуязычных словарей.

Словарная работа, ведущаяся в прибалтийских республиках (особенно в Литве и Латвии), получила высокую оценку со стороны делегатов других республик.

На заключительном заседании была принята развернутая резолюция, в которой был констатирован ряд достижений советской лексикографии за период, истекший со времени VI координационного совещания в 1960 г. в г. Фрунзе, а именно: 1) окончание четырехтомного словаря русского литературного языка; 2) начало работы (в Институте русского языка АН СССР) над синонимическим и фразеологическим словарями русского литературного языка; 3) успешную работу над рядом больших толковых словарей: украинского (т.т. 1—3), латышского (т.т. 1—2), литовского (т.т. 6—7), азербайджанского (т.т. 1—2) и словарей других национальных языков СССР; 4) начало работ над толковыми словарями эстонского, узбекского и таджикского языков.

Вместе с тем совещание отметило в резолюции, что как в законченных словарях (вышедших в свет или подготовленных к печати), так и в томах продолжающихся словарей встречаются недостатки, которые сводятся главным образом: 1) к нечеткости разграничения значений слова и их оттенков, к недостаточной четкости в разграничении значения слова и его употребления в отдельных контекстах и, в частности, к неразличению в отдельных случаях переносного значения и образного употребления слова в художественной литературе и ораторской речи; 2) к субъективности в некоторых случаях выбора стилистической пометы, не оправдываемой приводимыми примерами и цитатами; 3) к злоупотреблению иногда синонимическим толкованием значений слов, которое может приводить к логической ошибке *idem per idem*.

Высказав ряд пожеланий по дальнейшему развитию лексикографической работы, совещание особо подчеркнуло необходимость расширения обмена опытом в печати, в частности путем издания материалов совещания в особом сборнике. Было принято также предложение представителей Литов. ССР возбудить ходатайство о переиздании первого словаря литовского языка — «*Dictionarium trium linguarum*» Ширвидаса (1629 г.), имеющего большое значение для исторической лексикологии литовского, латышского и польского языков и для этимологических исследований.

Проведение VIII координационного совещания намечено на IV квартал 1962 г. в Ленинграде, с посвящением его проблеме разных типов толковых словарей одного языка на материале обсуждения вышедших в свет русских толковых словарей: 1) под ред. Д. Н. Ушакова (в четырех томах), 2) С. И. Ожегова (однотомного), 3) т.т.

IV—XIII семнадцатитомного словаря АН СССР, 4) четырехтомного словаря АН СССР.

Н. Н. Уханова (Москва)

18 ноября 1961 г. состоялось заседание Отделения литературы и языка Академии наук СССР, посвященное 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. С докладом «Проблемы стилистики русского языка в трудах М. В. Ломоносова» выступил акад. В. В. Виноградов. В докладе говорится, что деятельность М. В. Ломоносова в разных областях науки и культуры необыкновенно многогранна и глубока. В области филологии Ломоносов — создатель первой большой научной грамматики русского национального литературного языка; зачинатель сравнительно-исторического исследования родственных семей и групп языков, прежде всего славянских; основоположник работ по стилистике русского языка и поэтике русской художественной литературы; автор замечательных трудов по истории языка и речи, по теории прозы и стихосложению, стихотворного мастерства; блестящий лирик, талантливый публицист, историк и организатор научной разработки всей области гуманитарных наук. Докладчик отметил, что хотя историки отечественного языкознания большое внимание уделяли изучению лингвистической деятельности Ломоносова, многое еще остается недостаточно глубоко исследованным.

Свой доклад автор посвятил проблеме понимания Ломоносовым процессов формирования, становления и нормализации системы русского национального языкового выражения. Этот большой и сложный вопрос автор освещает лишь с одной, наименее исследованной точки зрения — историко-стилистической. По мнению В. В. Виноградова, стилистические приемы и задачи лежат в основе всех филологических трудов Ломоносова. Анализ и оценку новаторских исследований Ломоносова в области создания русской стилистики В. В. Виноградов связывает с культурно-историческими потребностями русского общества в XVIII в., с процессами формирования русского национального языка, с центральными задачами развития русской национальной литературы в ту эпоху. В. В. Виноградов глубоко вскрыл процесс формирования общего структурного ядра русского литературного языка, дал картину перехода от двух основных типов древнерусского литературного языка — книжно-славянского и народно-литературного (или литературно обработанного народного) — к системе трех стилей с единым структурным ядром. М. В. Ломоносов, говорил докладчик, с поразительной историческим чутьем, с огромной силой и гениальным даром аналитического распределения языкового материала и его обобщения, объединения по семантическим классам, грамматическим категориям и стилистическим разрядам тщательно изучил и глубоко разъяснил сложные явления этого огромного и важного процесса.

созидания русской общей национально-языковой нормы.

На большом материале в докладе показано, как стилистический принцип определяет все способы изучения Ломоносовым русского языка, а в отдельных случаях стилистическая характеристика языковых явлений обосновывается и историческими соображениями. Для истории русского литературного языка XVIII в. было особенно важно соотносительное изучение вариантов форм и их функционирования в основных стилях языка. Именно так, по мнению докладчика, и были поставлены морфологические проблемы русского литературного языка XVIII в. в «Российской грамматике» Ломоносова. Ломоносов точно и тонко отражает в своих стилистических замечаниях живое употребление форм, указывая на противопоставленность форм высокого и низкого стилей. В. В. Виноградов привел примеры стилистических указаний Ломоносова, направленных не столько к разграничению сферы употребления параллельных форм, сколько к оценке их целесообразности и направленности; примеры стилистических запретов и рекомендаций в ломоносовском синтаксисе, ориентированных на глубокую смысловую содержательность речи как на основу ее общественной ценности и общественного воздействия; примеры тонких наблюдений над принципами русского словорасположения, над стилистическими функциями порядка синтагм в составе предложения.

М. В. Ломоносов знал, что все богатства, все выразительные средства русского языка не вмещаются в границы теории трех стилей. Уже в его теоретических работах, и особенно в писательской практике, выступают тематические, а также экспрессивные разграничения, даже внутри одного и того же произведения; «штиль» получает свою речевую характеристику в зависимости от содержания, состава слов и выражений, от экспрессии конструкций. Тем самым, по мнению В. В. Виноградова, Ломоносов указал пути к преодолению теории трех стилей, к образованию той новой стилистической системы русского литературного языка, утверждение которой принадлежит Пушкину.

В. В. Виноградов остановился на сложных, мало исследованных вопросах о фонологической системе русского литературного языка первой половины XVIII в., о петербургском и московском варианте литературного произношения в XVIII и XIX вв. По мнению докладчика, собрание и публикация исследований и материалов по истории русского литературного произношения является в настоящее время одной из неотложных задач науки о русском языке.

В заключение своего доклада В. В. Виноградов сказал, что никто в отечественной филологии с такой полнотой и с такой глубиной, с такой свободной и всесторонней оценкой и интерпретацией языковых фактов, опирающейся на гениальную интуицию, тонкое художественное

чувство и историческое осмысление тенденций русского литературно-языкового развития до Ломоносова и после него, не разрабатывал проблемы стилистики русского языка. Само собой разумеется, что ломоносовская концепция стилистики во многом обуславливалась и ограничивалась как общим состоянием лингвистики того времени, так и конкретно-историческими задачами образования и развития русского национального литературного языка в ломоносовскую эпоху. Тем не менее многое из тех принципов и тех вопросов, которые были выдвинуты Ломоносовым, сохраняет свой интерес и глубокое научно-теоретическое и культурно-общественное значение и в настоящее время.

Со следующим докладом «Круг литературных интересов М. В. Ломоносова» выступил член-корр. АН СССР П. Н. Берков⁴.

М. А. Бакина, Г. И. Мисьяков (Москва)

С 29 ноября по 2 декабря 1961 г. в Институте русского языка АН СССР прошла организованная сектором структурной лингвистики этого института конференция по вопросам ТМ⁵. В десяти докладах, заслушанных на конференции, были представлены три направления исследований в области ТМ: 1) изучение путей применения ТМ за пределами синтаксиса, в рамках которого он возник; 2) теоретическая разработка некоторых неисследованных проблем ТГ; 3) практическое использование уже существующего аппарата ТМ (с некоторыми уточнениями или модификациями) для решения ряда конкретных вопросов грамматики.

Первое направление было представлено докладами В. Н. Топорова, Вяч. В. Иванова и Ю. Розенцвейга. В докладе В. Н. Топорова «О границах применения трансформационного метода» были рассмотрены возможности применения ТА в синтаксисе и за его пределами. С точки зрения В. Н. Топорова, трансформация в синтаксисе представляет собою преобразование, которое совершается под воздействием особых операторов (отрицания, инверсии, распространения и т. п.) и служит для отождествления и разграничения синтаксических типов. Для каждого ядерного типа, полученного методом НС, определяется полный набор трансформаций, которые позволяют идентифицировать любую синтаксическую структуру в данном языке. При этом трансформации не ограничиваются классом преобразований с сохранением значения.

При переходе от синтаксиса к другим областям языка, например фонологии, по-

⁴ Подробное изложение доклада см. в одном из ближайших номеров ИАН ОЛЯ.

⁵ Условные обозначения: ТМ — трансформационный метод, ТГ — трансформационная грамматика, ТА — трансформационный анализ, ТС — трансформационный синтез, НС — непосредственно составляющие, МП — машинный перевод.

нятие трансформации и ТА не меняется. Меняется лишь понятие оператора. В. Н. Топоров полагает, что трансформацией в фонологии можно считать изменение в манифестации фонемы под влиянием операторов ударения, соседства других фонем, определенной структуры слога и других.

С точки зрения докладчика, развитое им понимание ТА может оказаться плодотворным в области структурной типологии и диахронической лингвистики. Для целей структурной типологии необходимо установить универсальную систему операторов, при помощи которой можно было бы единообразно описать любую конструкцию любого языка. Для целей диахронической лингвистики необходимо фиксировать все трансформы каждой ядерной конструкции. Появление или исчезновение каждого нового трансформы рассматривается как единица времени или шаг в развитии данного языка из языка-источника, общего для нескольких языков. В терминах трансформаций может быть сформулирована мера различия родственных языков и степень удаленности данного языка от языка-источника.

В докладе Вяч. В. И в а н о в а «Некоторые соображения о трансформационной грамматике» было предложено иное понимание ТМ и ТГ. В качестве трансформаций рассматривались лишь такие преобразования разных сочетаний морфем, при которых сохраняется смысл. К преобразованиям такого рода были отнесены и разные виды синонимии (словарной, словообразовательной, синтаксической). Из такого понимания трансформации следует, что лингвистическое описание не может быть исчерпывающим, если оно ограничено изложением формального аппарата ТГ. Необходимо изучение смысла, т. е. изучение внеязыковых ситуаций, каждая из которых может быть описана в языке разными способами.

Если для языка в целом построена ТГ, имеющая вид исчисления, то правила использования языка (т. е. правила описания конкретных внеязыковых ситуаций средствами данного языка) могут быть заданы путем указания того, как базисные предложения соотносятся с элементарными ситуациями. Правила, соотносящие сложные языковые структуры со сложными ситуациями, могут быть автоматически выведены из ТГ и из правил, соотносящих элементарные структуры с элементарными ситуациями. Это принципиально новое положение было центральной мыслью доклада Вяч. В. Иванова.

Значительная часть доклада Вяч. В. Иванова была посвящена рассмотрению в свете изложенной им системы ТГ задач прикладного характера, которые возникают в эстетике, моделировании искусственных языков и обучения языку. Докладчик указал, в частности, что конструирование искусственных базисных языков (содержащих только базисные структуры) и основанного на них трансформационного исчисления может оказаться полезным как аналог или модель естественного процесса

усвоения языка человеком. Дело в том, что обучение человека языку начинается с усвоения элементарных синтаксических структур, соотносящихся с реальными ситуациями. Более сложные структуры получаются из элементарных на основе бессознательно извлеченных из текста правил преобразования.

В докладе «Перевод и трансформация» В. Ю. Розенцвейг поддержал изложенное Вяч. В. Ивановым понимание трансформации. В качестве трансформаций рассматривались не только грамматические преобразования по модели Н. Хомского, но и лексические преобразования типа тех, которые намечены в работах А. К. Жолковского, Н. Н. Леонтьевой, Ю. С. Мартемьянова и Ю. К. Щеглова. В докладе были описаны два различных типа реализации процесса перевода, из которых второй связан с изложенным пониманием трансформации.

Первый тип возможен в тех случаях, когда между единицами двух языков L_1 и L_2 существует взаимнооднозначное соответствие. Тогда процесс перевода является простым перекодированием. Пересечение L_1 и L_2 , включающее взаимнооднозначные соответствия, рассматривается в качестве ядра L_1 и L_2 .

Второй тип имеет место в тех случаях, когда единица перевода, выделенная в L_1 , не входит в ядро L_1 и L_2 . Этот тип отличается от первого тем, что процесс перевода в данном случае складывается из перекодирования (перевода в узком смысле) и различных трансформаций, предшествующих перекодированию в переводимом языке и следующих за перекодированием в переводящем языке.

Второе из упомянутых выше направлений было представлено докладами С. Я. Фиталова, И. И. Ревзина и С. К. Шаумяна. В докладе С. Я. Фиталова «Трансформации в аксиоматических грамматиках» были охарактеризованы две основные задачи, которые возникают при моделировании языковых явлений: 1) изучение классов грамматических моделей и 2) изучение общих методов построения конкретных грамматических моделей определенного класса.

Характер грамматической модели зависит от характера исходной гипотезы о существе языка (ср. «язык — перечислимое множество фраз»; «язык — разрешимое множество фраз» и т. п.). Чем сильнее гипотеза, тем более эффективной и мощной получается модель. Основной целью изучения классов возможных грамматических моделей является формулирование разумной последовательности усиливающих гипотез и изучение получающихся классов моделей (например, с точки зрения их порождающей мощности).

В связи с этим докладчик рассматривает сильную гипотезу о том, что грамматические явления можно моделировать при помощи исчислений НС. Известно, однако, что модель порождения по НС оказывается в некоторых отношениях неудобной и трудно обозримой. Это побудило Н. Хом-

ского ввести класс ТГ, представляющих исчисления, в которых, кроме правил ИС, имеются трансформационные правила. Но трансформационные правила не суживают класс грамматических моделей, а расширяют его, поскольку на них накладываются менее сильные ограничения. В то время как правила порождения по ИС допускают замену только одного символа на каждом шаге синтеза, трансформационные правила допускают одновременную замену сразу всех символов. ТГ оказывается, таким образом, менее содержательной и эффективной, чем грамматика ИС. Чтобы сделать ТГ эффективной, необходимо наложить на форму допустимых трансформаций дополнительные ограничения.

Вторая задача — изучение общих методов построения конкретных грамматических моделей определенного класса — сводится к выработке основных рекомендаций к построению модели выбранного типа. Эти рекомендации представляют собой общую схему процесса построения модели. В этой связи докладчик ссылается на З. Харриса, в работах которого содержатся яркие образцы схем такого рода. Трансформации оказываются весьма полезными при решении этой второй задачи, так как они являются мощным интуитивным аппаратом для построения конкретных грамматических моделей и дают разумную возможность ввести в грамматическое описание элементы семантического описания. С. Я. Фитналов охарактеризовал трансформации как «интуитивный аппарат», поскольку во всех существовавших до сих пор моделях ТГ они не строились, а задавались извне, т. е. интуитивно.

В связи с этим большой интерес вызвал доклад И. И. Ревзина «Трансформационный анализ и трансформационный синтез», в котором трансформации конструировались путем анализа заданного множества отмеченных фраз. И. И. Ревзин предложил аналитическую модель ТГ, которая дополняет описанную Н. Хомским порождающую модель и строится как расширение теоретико-множественной модели О. С. Кулагинной. Исходя из некоторых допущений теоретико-множественной концепции языка, докладчик вполне формально определил отношение трансформируемости на множестве отмеченных фраз. В содержательной интерпретации отношение трансформируемости можно описать следующим образом: две фразы связаны этим отношением, если: 1) каждая из них содержит хотя бы одно неслужебное слово, 2) обе фразы содержат одни и те же лексические морфемы, 3) каждая из двух фраз принадлежит классу фраз с одинаковой грамматической структурой. На основе изложенной в докладе формальной модели И. И. Ревзин доказал ряд теорем для простых языков.

В заключение доклада были высказаны некоторые соображения о значении предложенной аналитической модели для модели порождения. Порождающая модель ТГ в том виде, как она сформулирована Н. Хомским, представляется докладчику

неудовлетворительной, поскольку она предполагает лишь пассивную переработку информации. Это связано с тем, что в модели Н. Хомского никак не учитывается факт системности языка, т. е. упорядоченность единиц на парадигматической оси. Поскольку аналитическая модель, предложенная докладчиком, строится с учетом этого факта, соответствующая модель ТС становится более содержательной и богатой. На этой основе И. И. Ревзин дал принципиальное описание автомата, способного не только перерабатывать информацию, но и упорядочивать ее.

Порождающая модель ТГ, более содержательная, чем у Н. Хомского, была описана и в докладе С. К. Шаумяна «Трансформационная грамматика, теория классов слов и порождающая лингвистическая модель со спаренными генераторами». Докладчик выдвинул положение о том, что при построении ТГ нет необходимости в автономной теории классов слов. Теория классов слов строится внутри ТГ в качестве дополнения к теории порождающего процесса. Каждый класс слов занимает определенную точку ветвления в дереве развертывания предложения по ИС. Допускается, что между классами существует только одно отношение — отношение доминанции (экспликация традиционного понятия подчинения), обладающее свойствами иррефлексивности, асимметричности и транзитивности.

Применение заданных правил развертывания дает 8 ядерных цепочек, каждая из которых содержит только элементарные классы (глагол, существительное, прилагательное, наречие). Каждый из классов, рассмотренный с точки зрения отношения доминанции, характеризуется определенным «доминативным параметром». От ядерных цепочек путем различных трансформаций образуются деривационные предложения. В качестве трансформаций рассматриваются не только описанные Н. Хомским операции над цепочками, но и следующие два вида операций: 1) операция порождения деривационных классов слов посредством отображения классов на другие классы через определенное отношение — доминативный параметр того или иного ядерного класса; 2) операция аппликации, позволяющая включать порожденные таким образом классы в предложение.

Расширенное понятие трансформации вызывает необходимость пересмотреть порождающую модель ТГ. В соответствии с этим вторую часть своего доклада С. К. Шаумян посвятил подробному описанию порождающей лингвистической модели с двумя спаренными генераторами: генератором цепочек символов (предусмотренным и в модели Н. Хомского) и генератором классов символов, способным порождать теоретически бесконечное количество деривационных классов при помощи конечного набора рекурсивных операций.

Третье направление исследований в области ТМ было представлено докладами Т. М. Николаевой, П. А. Соболевой и Т. Н. Молошной. В докладе Т. М. Ни-

колаевой «Трансформационный анализ словосочетаний с прилагательным — управляющим словом в русском языке» были высказаны некоторые общие соображения о ТМ и изложены результаты проведенного ею конкретного исследования. Вслед за Н. Хомским Т. М. Николаева обратила внимание на существующее в области ТМ смещение понятий. Докладчик предложила разграничивать понятие ТГ и более широкое понятие порождающей грамматики. Ее собственная работа примыкает к известным исследованиям Д. Уорфа и З. М. Волоцкой, в которых ТА используется для целей идентификации синтаксических конструкций. ТА указанных в заголовке конструкций, проведенный докладчиком, показал, что многие конструкции, имеющие в первоначальной символической записи тождественный вид, принадлежат различным трансформационным классам. С другой стороны, некоторые конструкции, не совпадающие в первоначальной символической записи, попали в один и тот же трансформационный класс. Оценивая результаты своего исследования, Т. М. Николаева сказала, что использованный в ее работе метод ТА обнаружил существенные недостатки, которые были затем ею кратко охарактеризованы.

Иной путь использования ТА был продемонстрирован в докладе П. А. Соколовой «Трансформационный анализ словообразовательных отношений». В этой работе ТА был применен для определения простого и производного слова в случаях так называемой «невывраженной производности» (конверсия, чередование звуков и ударений, связанные основы). Докладчик исходил из того факта, что слова внутри словообразовательного гнезда распределяются по ступеням производности, образуя определенную иерархию. В ряде случаев фиксации с «прозрачной» морфологической структурой ступень производности слова определяется анализом по НС. Однако в случаях невивраженной производности анализ по НС неприменим. В этих случаях для установления ступени производности используется ТА.

В результате анализа структурно соотношенных синтагм с глаголом и аффиксальным отглагольным существительным в качестве доминирующих элементов устанавливается конечный ряд трансформаций, связывающих глагол и отглагольное существительное на синтаксическом уровне. Данные трансформации подвергаются проверке на беспорных (аффиксальных) случаях, после чего отделяется часть трансформаций, оказавшихся общими для случаев «глагол → имя» и «имя → глагол». Оставшиеся трансформации считаются диагностирующими направление производности «глагол → имя» для случаев невивраженной производности.

Последним докладом в этой серии был доклад Т. Н. Молошной «Грамматические трансформации английского языка». В этом докладе было описано применение ТА при составлении алгоритма МП с английского языка на русский, основан-

ного на анализе предложений по так называемым конфигурациям с их последовательным упрощением. При этом под ТА понимались правила свертывания, аналогичные анализу по НС, а под трансформацией — замена грамматической конфигурации некоторым классом слов (или несколькими классами слов), играющим в предложении ту же синтаксическую роль.

Все конфигурационные трансформации английского языка были разбиты на классы на основе следующих четырех признаков: 1) количество классов слов в трансформации грамматической конфигурации; 2) совпадение или несовпадение состава классов слов трансформации с составом классов слов конфигурации; 3) сохранение или изменение порядка следования классов слов в трансформации по сравнению с их порядком в конфигурации; 4) сохранение или изменение типа предикативной синтагмы. На этой основе было получено 11 типов конфигурационных трансформаций.

Несколько особняком стоял доклад Л. Н. Засориной «Трансформации как метод лингвистического эксперимента». Критически рассмотрев существующую литературу по вопросам ТМ, Л. Н. Засорина пришла к выводу, что ТМ имеет весьма ограниченное значение и полезен главным образом как один из приемов синтаксического экспериментирования.

В разгневшихся на конференции прениях выступили Л. А. Калужнин, Вяч. В. Иванов, С. Я. Фиталов, И. И. Ревзин, Г. С. Цейтин, С. К. Шаумян, В. Ю. Розенцвейг, Л. Н. Засорина, Р. С. Гинзбург и другие.

Ю. Д. Апресян (Москва)

22 ноября 1961 г. в Ленинграде в помещении Большого конференц-зала АН СССР состоялось торжественное заседание Бюро Отделения литературы и языка и Института языкознания АН СССР, посвященное чествованию выдающегося советского ученого-германиста члена-корр. АН СССР В. М. Жирмунского в связи с его 70-летием. Заседание открылось вступительным словом председательствовавшего академика-секретаря Отделения акад. В. В. Виноградова, давшего яркую характеристику многолетней плодотворной научной и педагогической деятельности юбиляра. С большим докладом о литературоведческой деятельности В. М. Жирмунского выступил акад. М. П. Алексеев. О работах юбиляра в области фольклора доложил собранию проф. В. Я. Пропп. На разносторонней деятельности В. М. Жирмунского в области лингвистики подробно остановился в своем докладе проф. С. Д. Кацнельсон.

С теплыми приветствиями юбиляру выступили его многочисленные коллеги, друзья и ученики, а также представители различных научных и общественных организаций. Москвы, Ленинграда, периферийных центров и союзных республик. Были оглашены многочисленные адреса и поздравительные телеграммы юбиляру (среди

них от Президиума АН СССР, от Отделения литературы и языка, Института языкознания, Института русского языка, Института мировой литературы им. А. М. Горького, Института русской литературы, от Московского гос. университета, от Ленинградского гос. университета, от АН союзных республик, от Немецкой Академии наук в Берлине, от Саксонской Академии наук и др.). Юбиларом был получен также приветственный адрес (tabula gratulatorum) от зарубежных ученых, под которым стояли подписи крупнейших филологов 82-х стран мира.

В своем ответном слове член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский сердечно поблагодарил всех выступавших за поздравления и приветствия.

В одном из залов Академии наук была организована выставка многочисленных научных трудов юбиляра по литературоведению, фольклору и лингвистике.

С. А. Миронов (Москва)

27 октября 1961 г. состоялось заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное 60-летию со дня рождения и 30-летию научно-педагогической деятельности ст. научн. сотр. Института, заведующего сектором тюркских языков доктора филол. наук Э. В. Севортяна. С докладом о научной и педагогической деятельности Э. В. Севортяна выступила канд. филол. наук А. А. Коклянова, характеризовавшая юбиляра как последователя крупнейшего советского тюрколога Н. К. Дмитриева, прямого продолжателя идей школы В. В. Радлова и блестящего ее представителя П. М. Мелиоранского. От них Э. В. Севортян унаследовал прежде всего строгость приемов научного исследования и последовательный историзм. Э. В. Севортян, указала А. А. Коклянова, при всей широте своих лингвистических интересов, занят узловыми проблемами грамматического строя тюркских языков. Его основные работы посвящены сложнейшим в теоретическом отношении проблемам соотношения грамматики и лексики, современного состояния частей речи в тюркских языках. Э. В. Севортяну принадлежит первое на русском языке теоретическое исследование фонетической системы турецкого языка, а также разработка ряда вопросов сравнительно-исторической фонетики тюркских языков. Сложные вопросы, отметила А. А. Коклянова, привлекают Э. В. Севортяна в области синтаксиса, а также лексикографии и лексикологии.

Говоря о педагогической деятельности Э. В. Севортяна, А. А. Коклянова упомянула о целой плеяде подготовленных под его руководством кандидатов наук — заведующих секторами и научных сотрудников в республиканских и центральных исследовательских институтах, заведующих кафедрами и преподавателей республиканских и московских вузов. Много труда и сил было

вложено Э. В. Севортяном в Восточное отделение филологического факультета МГУ, где на кафедре тюркской филологии Э. В. Севортян читал свои курсы «Турецкий язык» и «Сравнительная грамматика тюркских языков».

С приветственным словом в адрес юбиляра выступил директор Института языкознания АН СССР зам. академика-секретаря ОЛЯ АН СССР член-корр. АН СССР доктор филол. наук Б. А. Серебряников. Призвав Э. В. Севортяна и впредь способствовать процветанию советской тюркологии, Б. А. Серебряников провозгласил в честь юбиляра здравицу на турецком языке. С приветствиями выступили также ученый секретарь Института языкознания АН СССР канд. филол. наук Ю. С. Елисеев, зам. директора Института русского языка доктор филол. наук С. И. Ожегов, от имени коллектива сектора тюркских языков ст. научн. сотр. канд. филол. наук Н. З. Гаджиева, зам. директора Института восточных языков при МГУ канд. истор. наук Н. Г. Калинин, зам. директора Института национальных школ АПН РСФСР канд. филол. наук Н. З. Бакеева, от коллектива группы по составлению большого турецко-русского словаря тюрко-монгольского сектора ИНА АН СССР научн. сотрудник К. М. Любимов, ст. научн. сотрудник ИНА АН СССР канд. филол. наук Э. Н. Наджишвили. Озыскательной строгой научной школе Э. В. Севортяна и его отеческом внимании к молодым ученым тепло говорил его ученик канд. филол. наук В. Асланов, выступивший с приветствиями от коллектива Института литературы и языка АН Азерб. ССР. О том, что исследования Э. В. Севортяна по теоретическим вопросам тюркского языкознания оказывали и оказывают большое влияние на развитие казахской, татарской и башкирской лингвистики, пишут в своих приветствиях коллективы Научно-исследовательского института педагогических наук Министерства просвещения Казах. ССР, кафедры татарского языка Казанского университета и Института истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. Приветственные адреса Э. В. Севортяну были вручены от коллектива Института языка и литературы АН Узб. ССР и от коллектива Узбекского университета. Поздравительные телеграммы в адрес Э. В. Севортяна прислали акад. А. Зайончковский от коллектива Отделения ориенталистики ПАН, акад. Ю. Немет от коллектива Института языкознания Венгерской АН и вице-президент АН Венгрии акад. Л. Лигети. От имени присутствовавших на заседании выпускников восточного отделения филолог. факультета МГУ выступила с поздравлениями научн. сотр. сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР Л. И. Лебедева.

Г. Б.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. — 1961, 105—106

Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения. — Кишинев, 1961. 96 стр. [Ин-т языка и лит-ры Молдавского филиала АН СССР].

Дослідження і матеріали з української мови. IV. — Київ, 1961. 164 стр.

Историко-филологический журнал. 3—4 (14—15). — Ереван, 1961. 376 стр. [АН Арм. ССР].

Матеріялы для слоўніка народна-дыалектнай мовы. — Мінск, 1960. 200 стр. [Пад рэд. Ф. Янкоўскага].

А. А. Москаленко. Нарис історії української лексикографії. — Київ, 1961. 162 стр.

В. М. Никитин. Морфология современного русского языка. Глагол и наречие. (Учебно-методическое пособие для студентов-заочников). — Рязань, 1961. 127 стр. [Рязан. гос. пед. ин-т]; его же. Обстоятельство как второстепенный член предложения в русском языке в его противопоставлении дополнению. — Рязань, 1961. 142 стр. [«Уч. зап. Рязан. гос. пед. ин-та». XXVII].

Н. Н. Прокопович. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. — М., 1962. 76 стр.

Г. Г. Сантбатталов. Синтаксис сложного предложения башкирского языка. — Уфа, 1961. 298 стр. [на башк. яз.].

Хорезми. Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э. Н. Наджиба. — М., 1961. (АН СССР. Ин-т народов Азии).

Československá rusistika. VI, 4. — Praha, 1961. Стр. 193—260.

EOS. Commentarii Societatis philologiae polonorum. LI, 1. — Wratislaviae — Varsoviae — Cracoviae, 1961. 206 стр. [Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk].

Język polski. XLI, 3—4, 1961. Стр. 161—328.

Revista de psihologie. VI, 4. — [București], 1960. 166 стр.

Språkliga bidrag. Meddelanden från seminarierna för slaviska språk, jämförande språkforskning och finsk-ugriska språk vid Lunds Universitet samt östasiatiska språk vid Göteborgs Universitet. IV, 16. — Lund, 1961. 154 стр.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-

Marx-Universität Leipzig. — 10 (1961). 5. Стр. 683—864. [Als Manuskript gedruckt]. O. Ducháček. Joli — beau. — Paris, 1961. Стр. 263—284. [Отд. отт. из «Le français moderne». 4].

А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям. — Томск, 1961. Стр. 152—189. [Отд. отт. из «Уч. зап. Томск. гос. пед. ин-та». XIX, 2].

J. Filipeš. Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. (Příspěvek k poznání systému v slovní zásobě). — Praha, 1961. 384 стр. [ČAV. Sekce jazyka a literatury. Studie a práce lingvistické. 5].

М. Петер. О некоторых вопросах интонации (на материале русского языка). — Budapest, 1961. Стр. 131—143. [Отд. отт. из «Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philologica. III].

R. Večerka. Syntax aktivních participií v staroslověnině. — Praha, 1961. 178 стр. (Spisy university J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta. 75).

A. Vraciu. Caracterele generale ale limbilor baltice. — Iași, 1959. Стр. 109—130. [Отд. отт. из «Studii și cercetări științifice». Filologie. X, 1—2. (Academia RPR Filiala Iași)]; его же. De la indo-europeană la balto-slavă — inovații morfologice. — Iași, 1959. Стр. 115—123. [Отд. отт. из «Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași» (Științe sociale). V]; его же. 70 de ani de existență a limbii esperanto. — Iași, 1957. Стр. 1—4. [Отд. отт. из «Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași» (Științe sociale). III, 1—2]; его же. Ipoteza unității lingvistice italo-celtice. — Iași, 1960. Стр. 89—114. [Отд. отт. из «Studii și cercetări științifice». Filologie. IX, 1—2. (Academia RPR Filiala Iași)]; его же. Problema comunității lingvistice balto-slave. — București, 1960. Стр. 87—106. [Отд. отт. из «Romanoslavica». IV]; его же. Problema vechilor relații lingvistice balto-slave în discuția celui de-al IV-lea congres internațional al slavistilor. — Iași, 1958. Стр. 151—164. [Отд. отт. из «Studii și cercetări științifice» IX, 1—2. (Academia RPR Filiala Iași)]; его же. Sărbătorea acad. Jan Endzelin la împlinirea vârstei de 85 de ani. — București. 1960. Стр. 345—348. [Отд. отт. из «Romanoslavica». IV].

Р. Чатурведи. Говор р-на Арпы — Аллахабад. 172 стр. [на хинди].

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). О теории поэтической речи	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. Гарибян (Ереван). Еще раз об армянском консонантизме	18
Об общеславянском лингвистическом атласе	24
Б. Н. Головин (Горький). Заметки о грамматическом значении	29
М. Г. Кравченко и Т. В. Строева (Ленинград). К вопросу о сло- ве и словосочетании.	38

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. А. Земская (Москва). Об основных процессах словообразования при- лагательных в русском литературном языке XIX в.	46
В. А. Редькин (Москва). К вопросу о происхождении нового акута	56
М. М. Маковский (Москва). Проблема «географии слов» в древнеан- глийских диалектах.	63
М. В. Раевский (Петрозаводск). Возникновение и становление фонемы /š/ в немецком языке в свете диахронической фонологии	72

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Г. А. Лесский (Москва). О размерах предложений в русской научной и художественной прозе 60-х годов XIX в.	78
--	----

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Из лингвистического наследия Л. В. Щербы	96
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О б з о р ы

П. А. Баранников (Ленинград). Лексическая синонимика языка хинди в освещении индийских лингвистов	102
--	-----

Р е ц е н з и и

Б. А. Успенский (Москва). <i>H. Spang-Hanssen. Probability and struc- tural classification in language description</i>	107
Г. А. Климов (Москва). <i>C. L. Ebeling. Linguistic units</i>	110
В. Н. Топоров (Москва). Две публикации старых балтийских текстов	114

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Р. Ф. Микущ (Закар, Югославия). Второе письмо в редакцию	117
--	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. Халилов, И. Л. Николаев (Душанбе). Разработка вопросов языкознания в Таджикистане.	121
Х. М. Есенов (Алма-Ата). Языкознание в Казахстане	122
Хроникальные заметки	124
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	143

Технический редактор Д. А. Фрейман-Крупенский

Т-02584	Подписано к печати 19.3.1962	Тираж 5940 экз.	Зак. 49
Формат бум. 70×108/16	Печ. л. 12,33	Бум. л. 4 1/2	Уч.-изд. листов 15,7

SOMMAIRE

Articles: V. V. Vinogradov (Moscou). Sur la théorie du langage poétique; **Discussions:** A. S. Garibian (Yerevan). Une fois de plus sur le consonantisme arménien; Sur l'atlas linguistique slave; B. N. Golovine (Gorkij). Remarques sur la signification grammaticale; M. G. Kravčenko, T. V. Strojeva (Lénin-grad). Sur le problème du mot et du groupe de mots; **Matériaux et notices:** E. A. Zemskaja (Moscou). Sur les phénomènes principaux de la formation des adjectifs en russe littéraire du XIX siècle; V. A. Redkine (Moscou). Sur l'origine d'intonation néo-rude; M. M. Makovskij (Moscou). Contribution à l'étude de la «géographie des mots» dans les dialectes vieux anglais; M. V. Rajevskij (Petrozavodsk). Origine et formation de la phonème /s/ en allemand sous le jour de phonologie diachronique; **Linguistique appliquée et mathématique:** G. A. Lesskies (Moscou). Sur la longueur de la phrase dans la prose scientifique et littéraire russe des années soixante du XIX siècle; De l'histoire de la linguistique: Matériaux de l'héritage linguistique de L. V. Šerba; **Critique et bibliographie;** **Lettres à la rédaction:** R. F. Mikuš (Zadar, Yougoslavie). La seconde lettre à la rédaction; **Vie scientifique:** A. Khalilov, I. L. Nikolajev (Doušambé). Le travail linguistique au Tadjikistan; H. M. Yesenov (Alma-Ata). Linguistique au Kazakhstan.

CONTENTS

Articles: V. V. Vinogradov (Moscow). On the theory of poetical speech; **Discussions:** A. S. Garibian (Yerevan). Once more on Armenian consonantism; On the Slavonic linguistic atlas; B. N. Golovin (Gorkij). Remarks on the grammatical meaning; M. G. Kravčenko, T. V. Strojeva (Leningrad). The problem of the word and word-combination; **Materials and notes:** E. A. Zemskaja (Moscow). On the main phenomena of adjective-formation in literary Russian of the XIX century; V. A. Redkin (Moscow). On the origin of the neo-acute intonation; M. M. Makovskij (Moscow). The problem of «word-geography» in Old English dialects; M. V. Rajevskij (Petrozavodsk). The origin and formation of the phoneme /s/ in German in the light of diachronic phonology; **Applied and mathematical linguistics:** G. A. Lesskies (Moscow). On sentence-length in Russian scientific and literary prose in the sixties of the XIX century; **From the history of linguistics:** From L. V. Šerba's linguistic heritage; **Critics and bibliography;** **Letters to the editorial office:** R. F. Mikuš (Zadar, Yugoslavia). A second letter to the editorial office; **Scientific life:** A. Khalilov, I. L. Nikolajev (Dušambe). Work on linguistic problems in Tadjikistan; H. M. Yesenov (Alma-Ata). Linguistics in Kazakhstan.

ПОПРАВКА

На стр. 21, в таблице «Смычные древнеармянского языка» начало второй колонки следует читать:

bh — p ph
dh — t th